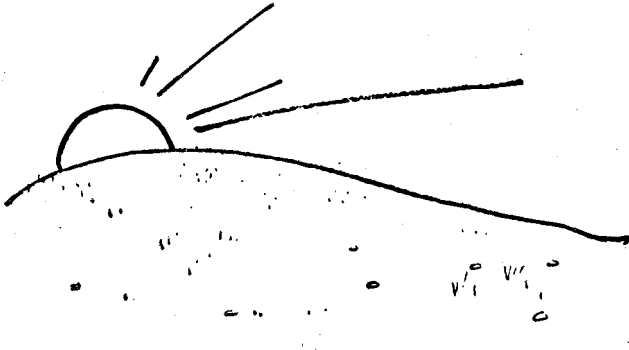




АНТОЛ НАРЯДНІЧОВ

ВЕЧА





АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ

ВЕСНА

РАССКАЗЫ

ПЕРЕВОД С БОЛГАРСКОГО

БИБЛИОТЕКА

Государственное издательство
художественной литературы

УРГАТУ И ДАМЛЮЗ

УНИВЕРСИТЕТИ

КУТУБХОНАСИ

073517

Составление и послесловие

И. ШЕПТУНОВА

Художник

Е. АДАМОВ



ВЕСНА

1

на пришла от дальних родников, позолотила звенья колодезной цепи, склонилась над бадьей и, омыв ясное свое чело, с силой подбросила бадью вверх.

Нетерпеливо постучалась в дверь мельнички — разбудила Михо-мельника. Поднялся Михо. Наскоро накинул на себя обсыпанную мучной пылью одежку, раскурил свою глиняную трубку и пошел вниз, к запруде, потонувшей в зарослях бурьяна.

Пробралась сквозь лозняк и вбежала в деревню. Рано-ранешенько, еще до того, как орехчанки потянулись с коромыслами к Большой чешме. Разнеслось по улицам свежее, теплое ее дыхание. Громко хлопнув калиткой, ворвалась в просторный, ровный двор деда Димо Хайдука. Черный пес, лежавший под навесом, вскочил, погнался за нею, щелкнул зубами. Вскрикнув, перескочила она через плетень на гумно, пробежала в сад и, нагнувшись, обронила по-ребячьи чистые слезы на синие гиацинты и красные иголки. Сливы осыпали русые ее кудри нежной пылью.

3

Походила по гумну — чтоб следы отпечатались. Поцеловала веточки деревьев — и когда рассмеялась сквозь слезы, раскрылись зеленые почки. Взорвалась на крышу сеновала, ухватила за ветку шелковицы и стала раскачиваться — вверх, вниз, вверх, вниз. Затрещала ветка, обломилась, и она упала на крышу. Ударилась, белую ножку подвернула, смахнула черепицу с крыши. Попадала черепица на землю и разбилась на мелкие кусочки.

Потом повернула озорница к домам. Осторожно раздвинула ветви вишен, заслонявших окошки маленькой горенки, и сверкнули на солнце оконные стекла. Затаив дыханье, оглянулась лукаво вокруг и постучалась три раза.

— Илия! Илия! Что не встаешь, соня ты этакий!

А Илия спит себе крепким сном младенца, и чудится ему, что над его головою хлопают-бьются два огромных голубиных крыла.

— Вставай!

Илия цепляется руками за голубиное перышко и поднимается в воздух. Вот он уже летит над землей. Глянул — далеко внизу осталась деревня, и тонюсенькой шелковой нитью вьется речка. Колесом завертелось под ним родное Орехово и потонуло в голубом зареве. Вдруг оторвалось перышко, и он полетел вниз. Вот он уже падает камнем — сейчас убьется! Но чьи-то сильные руки подхватывают его, и он снова летит, снова взмывает к небесам. Вон уже и божье село видать. Петухи поют, лают собаки. А сердце колотится, вот-вот выпрыгнет из груди.

Кто там стучится в окошко? Кличет его. Шепчет чуть слышно:

— Пора, Илия, пора! Солнышко встало... Просыпайся, мой мальчик!

— Эй, Илия! Вставай, что ли! — загудел кто-то басом. — Ишь дурень, спит как убитый!

Илия мигом вскочил на ноги.

2

Поехал Илия в поле пахать. Утро усыпало дорогу бисеринками росистого смеха. Наступишь — и точно живые метнутся капли из-под ног. Сады покачивают ветвями по-над заборами, стряхивают с себя белый пух. Будто кто-то под каждой сливой рассыпал с утра по мешку козьей шерсти.

— В добрый час, Илия! — шепчет ему вслед покривившийся низенький домишко бабы Кынювицы, подмигивая темными своими окошками.

— Эй, подпояску-то подбери, нечего улицу подметать! — важно промолвил белый тополь и загляделся на пламеневшие вдали вершины гор.

Илия смущенно потупился.

— И на дом бабы Кынювицы не смотри, а то выскочит на порог старая колдунья, да как на тебя глянет! А глаз у нее дурной. Поглядит вслед — и непременно лихо за тобой увяжется. Все в этот день пойдет шиворот-навыворот. Либо соха за корни зацепит и сломается, либо вол занеможет, а то еще сторож застанет тебя, когда ты на чужую черешню заберешься.

— Не гляди, не гляди на нее, заколдует.

Волы весело помахивают хвостами, рогами покачивают, не отрывая глаз от синих пашен в дымке утра, от колышущихся всходов...

Колеса поют-заливаются.

Она уже и здесь прошла-поспела. Бегом спустилась по лугу. Разбудила бабочек и ласточек. Раскачала ясь с вороньим гнездом, раскидала старые перышки. Сбежала к реке, отломил ивовую веточку, смастерила дудочку и заиграла. Ду-ду-ду!

А из лесу выпорхнул голубь, закружился над ее головой, задел крылом русые косы — испугать захотел.

— Гу-гу! Гу-гу!

И она помчалась со всех ног. Да как закричит, как заплачет — ручьем слезы льются. Залила пашни своими слезами.

Подошел тут один человечек: сам с ноготок, борода — до полу. Встал перед нею и давай посмеиваться, подтрунивать. Достал из торбы жука, а тот как зажужжит:

— Бр-рррр!

Она и рассмеялась снова.

Да кто ж она такая? Зачем ходит среди нас? Никто ее не видит, а все знают. Всю-то землю взбудоражила. Пришла с утра — и прямо в окно, наклонилась над ним и что-то шепчет на ухо. Он чувствует, как ласково касаются его лица ее русые кудри, и кровь в нем вспыхивает пламенем. Он уже не спит и все слышит. Но притворяется спящим.

— Тс-с! Слушай! Ты слышишь? Я принесла тебе...

Протягивает руку...

Но где это он? Замечтался и проехал свое поле.

— Ба-а-а! Стой!

Илия поворачивает телегу, возвращается. Кусты шиповника, что тянутся вдоль обочины, помирают со смеху.

— Пускай себе смеются!

3

Он впряг волов в соху, затянул ярмо, прихватил притыкой. Обернулся лицом к восходящему солнцу и перекрестился. На целую копралю уж поднялось солнышко. Взял Илия в руки свою копралю и при-свистнул:

— Фю-ю-ю!

Эхо отозвалось и замолкло, затерявшись в жужжании прилежных пчел, сновавших над межами.

По-мужски крепко навалился на рукояти сохи. Земля вздрогнула, заворчала, подалась и распалась на жирные черные комья. Свежий ее запах разнесся вокруг, поползло над широкой бороздой облачко пара.

Илия почуял в руках богатырскую силу. И будто соха в руках огромная, и уже не борозда, а широкая река за ним тянется. Вдоль и поперек вспашет он поле. Уж так вспашет — всем на удивление. К вечеру все поле поднимет.

В сердце запел колокольчик. Еще один... Еще и еще... Целый хор крохотных золотых колокольчиков. Невидимая рука нежно коснулась его лба и указала на юг. Илия оглянулся. Небо пылало. Буйный огонь

охватил землю. Люди кричат, бегут вверх и вниз, к полям, к жилищам, — разносят огонь. А колокольчики звенят все ясней и тревожней. Где же слышал он прежде этот звон? В синие летние ночи, когда вместе со старшим братом гнали овец с Белой скалы? Где-то сейчас его брат? Илия останавливается и, заклонив глаза ладонью, смотрит в сторону Черного холма. Большой дубовый крест врыли там в землю ореховчане. Острой стрелой пронзает сердце всего села этот крест.

Но, батюшки, до чего светло стало! В такой день все черные думы отлетают сами собой и остается только небо, черные крестики повисших в воздухе ласточек, озаренные пламенем села, и разливающиеся песней колокольчики...

4

В полдень Илия распряг волов. Пустил их пастись по нагорным пастбищам, а сам растянулся под грушей и глубоко задумался. О чем он думал? Да ни о чем. Мошкара, словно сетка проливного дождя, застилала глаза.

А волы забрались на самую вершину холма и снизу кажутся двумя огромными белыми птицами. Будто с самого неба сошли. Спустились, чтобы принести благословение и силу земле, что родит хлеба. Два белых посланца. Улетят они — опустеет земля, заплачет нивы, увянет лес.

Как хорошо — ничего не видеть! Не слышать... И ни живой души вокруг. Только ты да две белые птицы...

Стало смеркаться. Огромным черным колесом налетела вечерняя сутолока, пригнула ветви грушевых деревьев в цвету, пробежала по разнежившимся от дневного зноя нивам и исчезла вдали за лазоревыми вершинами Черного холма.

Погнал Илия своих волов вниз по крутой дороге, что вела к селу. Быстро шагают волы. В их глазах — прозрачная тишина вечера. Улыбка весеннего дня притаилась в глубине зрачков.

Шиповник вдоль дороги источает упоительный аромат. С лугов доносится запах богородицной травки. Синее небо бесшумно приникает к земле, и над самой землей зажигаются звезды, крадется луна. Синева обволакивает землю, сумерки заключают ее в свои объятия, точно влюбленный жених молодую невесту. Еще мгновение — и грянет шумный свадебный пир. Забьют в барабаны дятлы, закружатся холмы в буйном хоро. Стройная роща, что стоит поодаль, зашелестит, зашумит:

— Э-гей! Иху-у-у!

А высокий холм подморгнет ей и молодецки закрутит ус. Он ведь такой. Весь день стоит, глаз с нее не сводит.

Но где же село? Вот нечистый попутал! Пропало Орехово, затерялось в праздничном хороводе. Поспешает, отдувается, не хочет отстать от званных гостей, кричит:

— И-ху-у! И-ху-у!

А его никто и не приглашал.

За Миховой мельничкой плывут в сумеречной мгле светлячки — янтарные фонарики. Проедешь вдоль берега, свернешь к лозняку — собаки заляются лаем. Да где же мельница? Куда запропастилась?

Ведь целую вечность ты едешь, Илия! В душе у него — белые птицы, вспаханная нива и звонкая песнь колокольчиков.

Так кто же она? Кто она — та, что прошла повсюду? Незнакомка с чарующими зелеными очами?

Идут за ним двое и тихо шепчутся:

— Куда она ушла?

— В пещеру.

— В волосах ее сиял первоцвет. А в лесу, на полянке, видел? Всюду, где ступила ее нога — расцвели синие пролески.

— У меня голова от нее кружится.

— И я сам не свой.

Безграничное томление разлито в воздухе. Илия оборачивается:

— А где та пещера?

Никого. Полумрак. Померещилось.

Кусты шиповника кивают темными своими цветами.



РОЖЬ.

В один прекрасный день, когда на меже засветятся синие глазки васильков и загорится желтым пламенем рожь, после полудня, в большой омут, что у водяной мельнички деда Пею, придет искупаться лето. Почернелое от знойного ветра, оно бросится вниз и, уйдя с головой в воду, окатит брызгами, зальет смехом ивовые заросли. А немного спустя, освеженное и веселое, оно натянет на себя свою белую рубашку с красной вышивкой, накинёт платье и отправится вверх, на Коминче, — туда, где колосится высокая пшеница. И в горячем воздухе затрепещет голос горлинки, голос нашего родного лета.

Над Узун-площадью аисты расправляют сизые крылья и, вытянув шею, устремляются к старому кладбищу.

Небо прозрачно и бездонно. Солнце весь день печет иссохшую землю нив. За плетнями краснеют сливы, и широколиственные тыквы высовывают свои желтые колокольчики, которые позванивают, убаюканные тихим пением пчел.

Река успокоилась; весь день в ней купается огненный ~~лик~~ солнца. Под каменным мостом из белых ласточкиных гнезд выглядывают маленькие желтые головки прожорливых птенцов.

— Жирр!

Виноградные лозы ревниво прикрывают мое окошко, чтобы не видела я кузнеца Нено. День и ночь Нено кует серпы. Поет его молот, и из низкой, закопченной дверцы то и дело вылетает рой желтых искр — светлячков.

Ах, быть бы мне маленькой, как Гинче, побежала бы я ловить светлячков перед кузницей. Стала бы на пороге и глядела, как смуглый кузнец, засучив рукава, поднимает молот и ударяет им по наковальне, где распластался огненный серп...

Завтра — светлое воскресенье. На площади оставились на ночлег три телеги, нагруженные вилами и паламарками, покрытые рогожей. Отец купит мне новую паламарку, ведь я уже взрослая. А мою пусть возьмет Гинче, когда будет жать. Она ей в самый раз.

Какой жаркий огонь разводят эти рослые лудогорцы¹ в шапках, обшитых галунами! Ночью они разлягутся у костра и будут болтать допоздна. Завтра — большой летний базар. Под вечер, когда народ разойдется по домам, они впрягут в телеги круторогих буйволов, двинутся по старому мосту и сгинут в темноте. Больше мы о них не услышим, больше их не увидим. Из какого далекого края они

¹ Лудогорцы — жители Лудогорья, горной области в северо-восточной Болгарии.

явились? Хотя бы они догадались взять меня с собой! Чтобы и я погуляла по свету. Чтоб посмотрела, как люди живут в далеких краях: какую одежду носят, какие песни поют. Какие слова говорят парни и девушки друг другу, когда встречаются у источника, украшают ли их девушки голову цветами? Уж так надоело мне все сидеть здесь да глядеть на кузницу Нено.

Хорошо бы уйти с лудогорцами в их село! Хорошо бы стать черноокой молодницей с пестрым сокаем на голове! Я ткала бы красные пояса и вязала бы носки узорчатые. И каждый вечер ходила бы к колодцу с расписными ведерками. И ногти я покрашу хной. Боже ты мой, как хороша я тогда буду! Наполню я ведерки, сяду у колодца и буду ждать, чтобы он пришел издалека по длинной дороге. Хотя бы пришел и увел меня от лудогорцев мой Нено, кузнец. Смуглый Нено!

* * *

Да наградит бог деда за то, что он посадил и взрастил деревья в саду. Мне теперь есть куда укрыться и где поплакать.

Как встану утром, заберусь в сад. Солнце поднимается над широким ржаным полем, огромное, окровавленное. Значит, и сегодня будет гореть земля. Пчелы выползают из ульев, жужжат, летают с цветка на цветок. Смешные! Они сговариваются, куда полететь за медом: на луга или на межи. Они точь-в-точь как люди: трудятся каждый день, и это им не в тягость.

Веет холодом и свежестью.

Я протягиваю руки, груди мои напрягаются, рубашка на мне того и гляди лопнет.

Вот я! Что-то трепещет, горит. Как высокая, статная рожь. Ждет хозяина. Сожги меня, хозяин!

Я ведь выросла красивая, здоровая. Словно роза. Словно тополь. Все мне так говорят. Да и работа у меня спорится, и любо мне, когда идет жатва. Эти поля, что дают хлеб и синие васильки, впитали в себя всю радость, все страдания людей; пусть же они отзовутся, затрепещут, затаят дыхание, когда я крикну. Грушевые деревья пусть не шелохнутся, и пусть слушают колосья, наклонив головки. А снопы позади меня пусть вырастают без счета.

Разве он не видит, какая я? Словно уголь, опалил он мое сердце. Его молот поет целый день, забирается ко мне через окошко, стучит по зеркалу, колотит по ведрам — и они звенят, как набат, налетает на миски — и они рассыпаются на тысячи кусков. Какие там серпы наточил он для жатвы? Ну и хорош он в работе! Вот почему я его полюбила. Вчера вечером отец отнес ему серпы — знает ли Нено, который из них мой?

Ох, как тяжело мне иной раз!

Почему я не такая, как другие? Почему не живу, как Кина, дядина дочь, без забот, с беспечальным сердцем? Пусть трое парней бегают за мной, я на всех троих наброшу недоуздок. Только бы не думать так много, не бродить одной вечером по саду как помешанной.

Обезумела я из-за него.

И все потому, что у него сильная рука и железный молот, который говорит со мной целый день. Взял бы

он надо мной власть, словно хищник орел. Чтоб не смела я глаз на него поднять, когда он заговорит. А пройдет он мимо дома, сердце мое чтоб затрепетало, как испуганный птеник.

Не то что Мишо...

Собачонка, а не человек! Дрожит, когда меня видит. Язык у него заплетается; не знает, куда деть руки. Краснеет, как мак.

Ох, не хочу я так!

Хочу загорелого Нено!

Хочу его!

* * *

Месяц — ясный, полный — заглянул ко мне в окно. Этой ночью он повел за собой целую стайку звезд над Черкювскими холмами. Притаился за белыми яблоневыми ветвями и все поглядывает.

Хочет влезть ко мне. Среди ночи, когда все спят.

Пусть влезет, пусть придет ко мне.

Пусть позолотит одеяло и огненной рукой нежно погладит спину котенка, заснувшего на трехногой скамеечке. Пусть наклонится надо мной и посмотрит, как я распустила волосы и обнажила грудь. Я не стыжусь его. Обниму его за шею, вольюсь пересохшими губами в его губы, и мне будет казаться, что это Нено. И я заплачу.

Завтра, когда я буду жать, пусть весь день сладкий мед не сходит с моих губ, а когда я запрокину над головой кувшин, пусть мед разольется по моим жилам.

Был бы месяц моим Нено. Светил бы в мое окошко, чтобы я видела его каждую ночь. Чтобы я ждала вечером, когда он покажется меж ветвей. Я велю ему не шуметь. И тихо ступать, чтобы не разбудить нашего пса — Мечо. Ведь он ночью бросается на людей, как волк. Пусть бесшумно перепрыгнет через плетень и — хоп в отворенное окно. Я протяну руки ему навстречу. Ох, я совсем рехнулась!..

Ведя за собой звезды, как старший жнец своих жниц, плывет ясный месяц над Черкювскими холмами. Всю ночь он будет потихоньку ступать по темным нивам, а когда засмотрится в мое оконце, того и гляди — скатится вниз какая-нибудь звезда. Кто знает, куда она упадет! И она тоже женщина. И она ищет кого-то и вся пылает. А коли месяц не хочет, чтобы девушки попрятались в мягких нивах, — пусть не заглядывает в чужие окна!

Вот об этом-то я и скажу Нено.



СВИНЦОВЫЙ РОДНИК

Ночь покроет нас теплым, темно-синим пологом, по которому рассыплются, как золотые мухи, миллионы звезд. Июльская ночь — влюбленная женщина-невидимка со смуглой мягкой грудью и холодными обнаженными руками. Она идет босая по стерне. Шуршит. Обнимает деревья, в безумном порыве прижимает их к своему сердцу, и те потихоньку тают, как синий дымок над костром. Она ступает по несжатым нивам, спускается по заросшей бурьяном тропинке, взмахивает длинной хворостиной: и начинают звенеть колокольчики стада, возвращающегося в кошару. Она спустится еще ниже, к маленькой будке путевого сторожа и остановится у переезда. Она будет ждать машину с огненными глазами, приложит ухо к рельсам, не идет ли? А когда, обезумев и запыхавшись, словно выпущенный на волю зверь, покажется машина, — ночь помчится впереди нее по белым камешкам железнодорожного пути. Путевой сторож дедушка Ангел, в одних кальсонах, выглянет из сторожки и увидит, как где-то

2 А. Каралийчев

БИБЛИОТЕКА

17

ИЗДАТЕЛЬСТВО УРГАНЧ ДАВЛАТ

УНИВЕРСИТЕТ

позади большого моста ночь, не выдержав, бросится с насыпи и упадет ничком на луга.

Когда мы заснем, она придет на Черный курган и ласково коснется холодной рукой наших лбов, почерневших от лютого солнца.

— Дед Златан!

Хоть бы наш пес заснул и не будил бы меня своим рычаньем. Мне приснится, что меня гладит рука Ганки. Я увижу прямо над собой ее глубокие черные глаза и услышу голос мамы:

— Приходи иногда ко мне на могилу, чтоб я могла на тебя посмотреть!

И мне кажется, что в глазах Ганки светится великая любовь мамы ко мне.

А как хорошо ночью на Черном кургане! Оттуда видна вся широкая Дунайская равнина, исчезающая где-то вдали в звездных просторах. А справа — высокие Черкювские курганы и древний монастырь святого Николы. Своими красными глазами-окошками он следит, заснули ли истомленные трудом и жарой герловцы. Внизу — наша маленькая деревушка, над которой нависла серая мгла, прикрывая ее своими крыльями, как наседка цыплят.

— Ко-ко-ко!

— Кох-кох-кох!

Кругом — крестцы. Они кажутся большими черными птицами с опущенными крыльями, севшими на жнивье. Слева — таинственно шумит лес. Кто знает, какие страшные истории хочет он нам поведать? Ведь он своими глазами видел нож, занесенный убийцей, и его помутневший взгляд. Ведь его мягкое зеленое лоно было обagrено кровью.

Табунщик с шумом проскакал мимо кошары и остановился внизу, у Свинцового родника, где сегодня я застал плачущую Ганку. Напив коня, он понесется вскачь по нивам, и только волосы его будут блестеть на свету, что льет луна, пока он не исчезнет далеко в лугах. И тяжелый топот его коня растает в воздухе, словно горстка черной пыли. Так бывает всегда.

— Дедушка!

— Ау?

— Видел ты нынче Ганку? Как она почернела, а глаза провалились, словно ямы. Глядит на человека и не видит. Встретил я ее у родника, и сердце у меня перевернулось. Она пришла за водой, а сама оперлась о сруб и плачет. Я ей сказал: «Добрый день!» Она не слышит, не глядит на меня. Взяла кувшины и пошла. И так хотелось мне с ней заговорить, а не смог. Вот уже два года, как она гнетет мое сердце, как лютая болезнь. Почему?

— Не знаю, сынок.

— Весной встретила она меня на дороге, остановила. «Монка, говорит, вот ты ходишь в лес, а знаешь ли, где могила твоего старшего брата Андрея?» — «Как не знать!» — «Если я тебе дам одну вещь, отнесешь ему?» — «Отнесу», — ответил я. Наутро я пришел, и она дала мне серебряный крестик, который висел у нее на груди, чтобы я зарыл его у него в головах... Дала и велела сказать ему... Да как разрешится: «Не пускают меня взглянуть на него, Монка!..»

Мне хотелось схватить ее и отнести туда. Но калитка скрипнула, и показалась ее мать. Я погнал коз,

Словно крылья орлиной стаи, взвились сегодня над полем Хаджи Ноя руки жнецов. Черный курган весь принадлежит Хаджи Ною. Жницы пели, целый день голоса их взлетали до неба, но ясный голос Ганки, темноокой сумасбродки, дочери Хаджи Ноя, не прозвенел над застывшими опаленными колосьями. Да и как могла бы она запеть теперь, когда белый свет померк в ее очах? И то сказать: как оглянешься кругом — все то же: нивы, поля, деревья, солнце. Только Андрея нет. Но разве других парней не осталось? Э-эх!

— Андрей? Вот это был человек!..

— Свет на нем не сошелся клином...

— Где тебе с ним равняться.

— Мне? Она еще меня узнает! Я стану гайдуком. Залягу в засаде на дороге, наберу целый казан денег и все раздам беднякам. И имя мое будут повторять во всех концах света!

— Да ведь она чорбаджийская дочь, так тебе ли...

— Люди думают обо мне: ну, кто он такой? Оборванный козий пастушонок; целый день лазает по деревьям, ловит в гнездах диких голубей и плетет верши. Пусть думают! Они еще увидят. Вот возьму да дома и амбары Хаджи Ноя подожгу!

— Не мели вздора!

— Не знаешь ты меня.

— Дом спалить легко, а вот сердце человеческое зажечь — трудно. Поглядел бы я, как это у тебя получилось бы. Андрей, тот молодежь с ума свел. Все его слушались, как верные псы. Вздумай он повести их на Белые берега и скажи им: «Прыгните со скалы

в пропасть», — они бросились бы вниз очертя голову. И ты был в его руках. У человека, который борется за правду, слово твердое, как кремь.

Дедушка Златан прав. Он скитался по белу свету, пока носили ноги и пока видели глаза. Он знает. А я? Все кипит во мне, и я говорю первое, что взбредет в голову. И ношу в сумке ящериц, чтобы пугать ими воловьих пастухов. И, раскрыв рот, гляжу на Ганку, — с братом Андреем тягаться взялся.

— Дедушка!

— Ну чего тебе?

— Неужто из меня ничего не получится?

— Как же! Получится козий пастух.

— Пастух, вот еще! Да я всех коз перережу или разгоню по оврагам, чтобы их задрали волки.

— Ишь ты какой! Вот это Монка!

Я вскочил, схватил свою одежку и пустился вниз. Насмеваются надо мной! Пусть!

— Хватит болтать, завтра встанешь чуть свет, как только наседка соберет цыплят над Черкювским курганом, перевясла навьешь на весь день.

Мне хотелось крикнуть, что не для снопов буду я вить веревки, а для того, чтоб всех перевешать... но я осекся. Не знаю уж, почему я всегда болтаю не то, что надо... И таскаю в сумке ящериц. А кабы мог — медведь носил бы, чтоб старики залязгали зубами от страха, как покажу им одного косматого, ощеренного.

* * *

Вот там, под столетним дубом — свинцовый родник. В эту ночь в него погрузился месяц — полный месяц раскрыл свой огненный глаз и глядит в небо.

Я лягу у родника и буду слушать, как рокошет дуб, слушать, о чем он шепчет. Буду только слушать, потому что стоит мне раскрыть рот, как я начинаю нести чепуху. Вот здесь сегодня стояла Ганка и плакала. Она крепко прижалась горячей белой грудью к сруб, а загорелая рука ее повисла, как надломленная, над водой.

Родник пил ее слезы. Он подстерегал их и пил отчаяние ее черных глаз.

— Приходи иногда на мою могилу...

У мамы тоже были черные глаза. Когда на войне убили отца, она почернела и иссохла, как Ганка.

Высоко над кошарой заснул дед Златан, и в ногах у него дремлет пес. Только поблескивает костер. Когда поздно за полночь головешки наговорятся и сомкнут побелевшие веки, из лесу выйдут трое, чтобы промыть пулевую рану Андрея Карадимова, и будут промывать ее, пока не покраснеет вода. Ганка все будет стоять, оцепенев, над родником. Замолкнет дуб, и повеет мертвящим холодом. Крестцы, похожие на гайдуков с наброшенными на плечи кожухами, снимут перед покойным мохнатые шапки. И как только в деревне запоют первые петухи, трое поднимут мертвеца и отнесут его в могилу, что вырыта не лопатой, а ножом,— прямо посреди леса.

— Пью-пью! — крикнула ночная птица, прошестев в ветвях. Луна притаилась за тучей, как котенок, и замерла от страха. Птица взмыла крыльями над самой землей, взвилась вверх и скрылась. Где-то вдали раздался протяжный зов:

— Пьюууу!

У меня вдруг стало так тяжело на душе! Грудь

стеснила тоска, глаза наполнились слезами. Чего я лишился? Что случилось со мной?

Позади меня застучали шаги. Идут! Дрожь прошла по спине. Идут страшные люди. Не люди — привидения.

Я вскочил.

Никого! Где-то далеко в лесу — таинственный и страшный — раздался вопль черной птицы. Хочет ли она пить или хищник украл у нее птенцов из гнезда? Полная луна плескалась в серебристой воде родника.

А что, если в самом деле придут эти трое с телом брата Андрея на плечах? Сердце готово выскочить у меня из груди...

Я пошел к кошаре.

Закутался в кожу и прикорнул возле деда. Почему я не могу заснуть? Закрыл глаза, а все вижу.

— Дедушка, ты спишь?

— Хрр!

— Дедушка!

— Чего тебе, Монка?

— Скажи, это грех?..

— Какой там еще грех?

— Вчера, когда я проходил мимо могилы брата Андрея, я вырыл Ганкин серебряный крестик и повесил себе на шею. Большой это грех, дедушка, скажи?

— О каком ты крестике болтаешь? Спи лучше! Что это ты бессонный, словно летучая мышь какая!

Я замолчал. На меня глядели черные Ганкины глаза, полные слез.



ЗМЕЙ

*Спросишь меня — я отвечу, Яна:
Ниву спалить я могу,
А в мятном сене целебные травы —
Сено я не зажгу.*

Народная песня.

Поздним вечером, когда на улицах не оставалось ни живой души и месяц скрылся за Белым камнем, те, что живут на верхнем краю села, видели, как с неба скатился большой, с бочонок, огненный шар, лопнул в воздухе и рассыпался тысячью искр. На площади у ваших ворот стало светло, как днем, а стога деда Ноя чуть было не вспыхнули пламенем. Вот оно как, Яна. Змей спустился у самого вашего дома.

— Все врут люди, Никола!

— Нет. Не врут. Вчера вечером, когда шла ты по воду с коромыслом, из-под косынки у тебя выглядывали два ярких георгина, а когда возвращалась обратно — их уже не было. Ты для него оставила цветы у колодца?

— Забыла я их. Вынула из волос, чтоб в колодец не обронить, пока воду набираю, да взгрустнулось мне что-то, вот я о них и позабыла...

— Всю ночь его поджидал, до вторых петухов, и если б он только пришел...

— Зачем ты веришь людской молве?

— Как же не верить? Кого ни встречу, все смотрят на меня, словно заживо хоронят. Да не на такого напали! Покуда голова на плечах держится, не нужно мне ничьей жалости. Скажи правду. Если ты сердцем ко мне остыла, я все брошу. Шапку в охапку — и поминай, как звали.

— Не говори так. Не видалась я с ним. Зря только люди болтают. А коли придет, скажу, что живой не дамся.

— Другой ты стала. Прежде, как бы ни было тяжело у меня на сердце, лишь увижу тебя — враз полегчает. А нынче словно душит что-то. Ночами кто-то трясет меня за плечо и зовет по имени. Встану, зажгу лампу — никого, пусто. Сяду, закурю и сижу так ночь напролет, покуда не заглянет в окошко утренняя звезда и не скользнет по моей одежде. Младшая моя сестренка проснется, примется хлопотать по дому. Ходит и поет, глупенькая. У нее-то на душе легко.

— Никола, Никола мой!

— Коли он такой сильный, отчего не выйдет, отчего не хочет встретиться со мной лицом к лицу? Поглядеть бы на него, померяться силой. Коль увижу, что он сильнее меня, — уйду с дороги.

— Ты ведь его не ищешь.

— Ищу, да ведь он мчится, словно ветер. А ветер разве поймаешь? Запил я с горя. Такое, гляди, учиню, что люди вовек не забудут. Эх, узнать бы мне только, где его логово!

— Говорят, спускается он у Коминче, на нашем поле. Там свил гнездо. Бабка Куна, колдунья, каждое утро, говорят, ему парное молоко носит. Ставит

полную миску под кривой грушей. В полдень, как второй раз туда наведается,— глядь, а миска пуста.

— Трижды я туда ходил. Нету его.

— Его не всяк увидеть может.

— Схожу, попытаюсь еще раз. Всю землю переверну, все как есть обыщу. Узнает, кто я таков.

— Берегись, Никола! Глаза у него мечут молнии.

— А у меня рука быстрее молнии.

* * *

Солнце ударилось о пожелтевшую макушку Черного холма и забилося, затрепетало раненой птицей. Длинная тень груши поползла по склону холма вверх, точно одеялом прикрыла отливающее золотом поле. Неслышно подкралась весенняя ночь, подобрала распушенные волосы, подоткнула юбки и пошла босиком по нивам. Огромные синие глаза ее лучились счастьем. Под белой рубахой дрожала трепетная грудь, жаждущая ласки и любви. Стройные белые ноги чуть слышно шептали что-то травинкам. Перед Коминче она остановилась, вытянула вверх обнаженную руку, и зазвенел протяжный, высокий ее голос:

— Иду! Иду-у-у!

Пролетели голуби.

Никола выпрыг буйволов и пустил их пастись вверх по склону холма. Кто это кричит? Что-то откликнулось и в его душе. Он оперся на копралю, огляделся.

Она прошла полем, исполненная желания и истомы.

— Яна!

Вмиг разверзлась земля, поле вырвалось из-под ног, провалилось куда-то, соха потонула, буйволы вскинулись, точно два гигантских пса, и завыли.

У Коминче, из Яниной нивы вылез Змей, подпоясанный красным кушаком, в черной шапке. Приставил руку ко лбу, глянул вниз. Глаза черные, точно уголья. Нет — глаза у него синие, как летнее небо. А где же его огненные крылья?

Яна идет, утопая в высокой пшенице, а на шее у нее поблескивает иерусалимский перламутровый крестик. К нему идет. Порывисто дышит, высоко вздымается грудь. К нему идет — на свою погибель! Схватит ее змей и унесет в небо.

Чья-то тяжелая рука опускается на плечо Николе.
— Никола!

Никола, очнувшись, проводит по лбу ладонью.

— Чего замечтался? Гони буйволов, запрягай телегу, пора возвращаться — завтра с утра жать пойдем. Повеял ночной ветер. Закачались ветви деревьев.

* * *

— Накажи господь Яну! Это она пшеницу подожгла!

— Хлеба горят! Бегите, гасите скорей!

Дед Иван, кехая, встал на пригорок, стянул с головы старую, обтрепанную шапку и закричал. Голос его — надорванный, зловещий — полетел над селом, ударился о поникшие крыши домов, затрещал ветвями сливовых деревьев, почерневших от плодов, и с размаху ворвался в испуганные души людей. Откуда-то со стороны Осенова луга, точно вырвавшиеся на

волю кони с разметавшейся сбруей, в раскатах грома и блеске молний надвигались страшные тучи.

— Бегите, люди добрые!

— У Коминче горит деда Пею поле, с четырех краев занялось. Языки пламени ползут по земле и с жадностью пожирают все — чудовища ненасытные. А над лесом небо чистое. Господи, как ты можешь спокойно смотреть, когда хлеб горит! Неужто нет у тебя сердца? Ниспошли грозу, низвергни на нас все потоки небесные, спаси хлеба наши!

— Порази господь Яну за то, что прогневала Змея!

Все село, от мала до велика, кинулось вверх по крутому оврагу к Коминче. Похватали, что кому под руку попало — мотыги, лопаты, кирки, топоры. Баба Пена, знахарка, на бегу размахивает прялкой и сыплет проклятиями. Брошенные без пригляда детиски подняли крик, протяжно завyli собаки, взлетели на плетни петухи.

— Огонь спускается вниз, — пропало село!

— Ой, батюшки светы, сердце кровью обливается. Пшеница моя, хлебушек мой... Вчера снова поколотил свою старуху — видать, за то и покарал господь.

— На все воля божья.

— Хоть бы дождь полил!

— Прошлой ночью привиделся мне Змей во сне. Будто вышел он в поле жать, а с ним пятнадцать молодых жниц. Вчера во сне, а нынче наяву жнет Змей проклятый!

— Чтоб у него руки отсохли!

— Молчи!

— Чтоб собаки в клочья его разодрали.

— Молчи, сумасшедший!

— Молчать? Чай, пятеро ртов в доме, чем кормить их буду?

— Камнями!

Обезумев от горя, всклокоченные, с отчаяньем в глазах бежали крестьяне туда, где полыхало огромное зарево. Все ближе и ближе подплывали грохочущие тучи. А пламя стремительно сбегало вниз по оврагу, огонь бушевал в хлебах, и зеленые полосы межей корчились, как раздавленные змеи.

Хлынул проливной дождь.

* * *

Видите вон тот каменный крест над Коминче? Рядом чернеет дикая груша. Издавна помнят ее люди такой — не стареет и плодов не дает. Под той грушей — Янина могила. Когда-то дед Пею, впрягши две пары буйволов, пахал там землю; жал высокие, по самую грудь, хлеба. Когда-то сошлись там в отчаянной схватке Никола, Янин жених, со Змеем. Изрыгнул Змей пламя жаркое — и все вокруг сгорело дотла. И сам сгорел. Внизу, под косогором, журчала чешма дед Пею с пятью каменными корытами. Баба Пеювица подвизывала к груше Янину зыбку, и Змей приходил ее качать. Но с той поры, как сгорела нива, ничья соха не коснулась там земли, а чешма пересохла.



НА ЗОВ МОГИЛЫ

Загрустил-затосковал он по земле, которая семьдесят три года, точно мать родная, кормила его иссохшей своею грудью, а всего более затосковал по могиле Пеню — там она, наверху, на Белом камне, под высоким дубом.

Как хотелось ему повидать ту ниву, в которую, бывало, своею рукой бросал он крупные зерна пшеницы; ту черную пашню, что впитала в себя столько пота его и принесла ему столько радости. Хоть бы еще разок дотронуться до этой земли и унести память о ней в могилу. А то ведь помрет и никогда больше ее не увидит. И стальная коса его не прозвенит над широким лугом. И никогда уж не наметать ему под грушею три ряда копен — чтоб до самого Коминче видно было и чтоб говорили жницы:

— Ишь Пею-то снова выстроил их во фронт, чисто солдаты стоят. Ловок, все ему по плечу.

А ночью, при свете месяца, возил он снопы — вторые петухи пропеть не успеют, а он уж пускает волов пасться.

Куда ушли те годы?

Вся жизнь, словно один трудовой день, укатилась огромным, тяжелым колесом куда-то за села и нивы. Поломало колесо ветви яблоньки, которую еще его дед посадил на пасеке, примяло высокую рожь, разрушило старый его домишко, да и Пею тоже оно переехало. И укатилось неизвестно куда.

Встав поутру, дед Пею взял свою клюку, проковылял через двор, добрал до колодца, вымыл холодной водою глаза, повернулся лицом к стогам, озаренным первыми трепетными лучами солнца, и перекрестился. Его сухие бескровные губы прошептали что-то. Медленно двинулся старик через гумно, наклонился и толкнул калитку садика. Вошел, обвел взглядом ульи, перед летками которых кишели рои пчел, и повернул к вишням. Стянул с головы старенькую выцветшую шапку и присел на еще сырую от росы траву. В полуотворенную садовую калитку просунул белую морду Московец, пес его, и перескочил порожек. Улегся в ногах своего старого хозяина, вытянул шею и блаженно потерся мордой о мягкую траву.

Пчелы пели в ветвях вишни, этой весною особенно обильно увешанных плодами. Дед Пею заслушался. Достал глиняную свою трубочку, но не закурил — вспомнил, что пчелы не любят табачного дыма. Поглядел на пчелиные ульи и глубоко задумался... Скользнул взглядом по островерхим соломенным домикам этих крохотных крылатых тружениц и унесся куда-то далеко-далеко, где он уж давно не бывал. И совершенно явственно услышал звонкий женский голос:

— Пейчо-о! Ступай, нарви молочая в саду!

И увидел, как мать, высокая темноглазая женщина, в подоткнутой юбке, толкнув тяжелую дубовую дверь, входит в комнату с коромыслом на плече.

Старик погрузился в воспоминания...

В те времена тут стоял ветхий домишко... О-хо-хо... Как давно это было... Прогнивший, источенный червем, но такой родной, такой милый сердцу...

Над головой Пею кружили, собирая мед, пчелы, жужжали о чем-то на своем пленительном языке.

— Жу-у, жу-жу, жу-у...

...На улице гомонят соседские ребятишки; поют, взгромоздясь на плетни, петухи и хлопают сильными своими крыльями; грохочут телеги, полные винограда. В садах опадают персики — спелые, мягкие. Чуть надавить — синеют, на кожеце проступают прозрачные капельки. Дом в ту пору был маленький и робко прятался в ветвях высоких акаций. Сюда, на стену амбара, выходило окошко горницы. Яблоньку посадил еще дед его — в тот день, когда родился первый внук. Дед Пею помнит, как росло деревце вместе с ним, как тянулось к небу, прикрывая своею тенью весь пчельник. На чердаке амбара соорудили голубятню. Завели голубей — белых, сизых. По утрам голуби радостно взмывали ввысь и, купаясь в синеве летнего неба, роняли с крыльев капли расплавленного солнца.

Вот выходит из дому высокая полногрудая женщина с деревянной миской в руке, бросает по двору кукурузные зерна.

— Гули, гули, гули!

Голуби слетаются к ней, с жадностью набрасываются на корм. Набьют себе зоб и стремительно

уносятся куда-то в молочный туман, разостлавший белые свои холсты на верхушках прибрежных ив.

Совсем иным был тогда мир. Необъятным и властным. Так казалось ему, потому что сам он тогда был мал. Люди все сильные, рослые. Поля огромные — проведут борозду, так и за час до конца не добраться. Хлеба рождались тучные, леса стояли дремучие, темные, а в Каиновом логу бродили стада диких кабанов, вытаптывавших налившуюся зерном кукурузу.

— Жу-у, жу-жу...

Пчелы переговариваются на своем языке, проворно снуют в улья и обратно, не зная устали. Собирают мед. Всю жизнь собирают, не щадя ног. Рук-то у них нету.

Где-то пропели петухи.

Дед Пею протер глаза, взглянул на небо и поднялся, кряхтя.

— Ох-хо-хо!

Пес нежился на солнышке, тихонько отмахиваясь тяжелой своей лапой от мошкары. Зеленый дятел настойчиво долбил клювом засохшую ветку шелковицы.

— Да, пора мне, пора... Кончилась жизнь...

И вдруг ему стало мучительно жалко расставаться со всем этим: с пчелами, с разрушенным домом, с нивой, собакой, с русокосой Ганкой, которая каждый вечер приносит ему колодезной водицы, чтоб он варил похлебку жнецам. Старик оперся на палку и, охваченный волнением, крепко стиснул ее в руке.

— Всю положить ее в гроб. Пускай нас вместе зароят. Кто знает — может, там понадобится.

Кто-то окликнул его...

Синеет вдали Белый Камень. На вершине его высится столетний дуб. Под тем дубом — могила Пеню.

— Иду! Иду!

А по дороге он пройдет мимо полей, остановится, постоит напоследок, посмотрит. Выросла пшеница. Налилось зерно. Тянутся вверх колосья. Шелестят. Кому доведется убирать их в этом году? Эх, кабы отпустил господь Пеню на землю, только чтоб сжать да отмолотиться. Ох-хо-хо! Воротить бы прежние годочки! Сверкает на солнце черная земля. Падают с дерева желтые груши. Звонко поют жницы. А он стоит под деревом и смотрит — ряды жнецов уходят все дальше и дальше. Пеню вяжет снопы. Снопы усеяли все вокруг — точно стадо овец разбрелось по полю.

Идет дед Пею межою, пошатываясь на больных, непослушных ногах. Позади плетется, опустив голову, пес.

— Иду! Иду-у!

На том свете Пеню встретит его и спросит:

— Что же ты забыл меня, отец? Сестра каждую субботу приходила. Приносила воды и мяты. Днем-то мне не грустно. Гляжу с высоты. Вижу — идут люди в поле. Скотина, вижу, пасется. А вот ночью остаюсь я один-одинешенек. Только дуб надо мною. Да в лунном свете колышутся тени — ищут кого-то.

Помяни мое слово, отец, встану я из могилы. Созову и живых и мертвых, поведаю им, как зашлось криком дитя в утробе матери, как расступилась земля, чтоб поглотить тысячи трупов. И заплачут люди. Потекут реки слез, как текли тогда потоки крови.

— Верно, сынок, грешно убивать! Дитя от отца оторвать — что сердце у него вынуть. Господи, научи добру этот грешный мир!

Вот и дотащился он до могилы сына.

Семь месяцев минуло с того дня. Рухнул юноша наземь, точно подрубленное топором дерево, полное свежих соков. Ушел из жизни раньше времени.

Дед Пею снял шапку.

— Вот он я, сынок.

Здесь он, его Пеню. Здесь зарыт его сын. А так и кажется, раскидает он землю и поднимется сейчас — высокий, сильный. А глаза совсем как у матери...

Встанет и скажет:

— Загубили меня, отец, злые вороги...

И вспыхнут огнем его черные очи.

— Тут ли ты, Пеню?.. Ох, устал, моченьки нету...

Старик опустился на землю, и, сошурившись, стал смотреть на деревянный крест, где висели увядшие настурции и букетик мяты. Рука его печально и нежно гладила могильный холм.

— Зачем зовешь меня каждый день?

Где-то за холмами раздался протяжный, тоскующий голос. Не то песня, не то рыданье. Кто-то ходит, склонясь над колосьями, ищет потерянный клад... Старый дуб взмахнул ветвями — зашелестел. Деревья с полей, что раскинулись напротив, словно тронулись с места — пошли искать кого-то. Тронулся с места Белый Камень, могильный холм и сам дед Пею...

— Куда мы идем?

Из ржи выскочил заяц и, собравшись с силами, перемахнул через все поле. Потом остановился на

меже, насторожил уши и вдруг исчез, словно провалился сквозь землю.

А голос из-под земли — все страшней и ближе.

— Это ты, Пеню? Здравствуй, сынок. Мать-то день-деньской бродит по холмам, ищет тебя — совсем ума лишилась, горемычная. Скитается словно потерянная. Крошки в рот не берет. В омуты заглядывает, рубаху твою в руки возьмет и плачет над нею. Сердце у нее слабое. Сказали ей, что ты на ярмарку уехал. Поднялась утречком пораньше и пошла к Осеням тебе навстречу. К вечеру только ее отыскал. Стоит на холме — дожидается.

Идет Пеню — ишь загорел как! Коса на плече, в глазах — сила молодецкая. У колодца — стайка девчат. Гремят ведрами, задираются.

А он только скажет: «Вечер добрый», — и мимо пройдет. Идет и о чем-то думает. И далеко-далеко его думы. И нет ему дела, что молодые девушки — точно снежинки, только о том и мечтают, как бы растаять в жарких мужских объятиях.

— Постой, Пеню!

Куда там!.. Он мир перестроить задумал.

Вот встречу его, загляну в глаза и спрошу:

— Как нынче?

— Скосил.

— Неужто всю?

— Ну да.

Видали, какой? Такому все нипочем. Трава острой его косы боится, а люди — острого языка: всем в глаза правду режет.

Снова зашелестел дуб.

— Зачем звал меня, сынок? Ноют мои косточки,

еле добрался сюда. Но не мог я уйти, не попрощавшись с тобой. Кто знает, свидимся ли на том свете?

Ты у нас был точно сокол. Белый сокол с крепкими стальными крылами, отливавшими синевой. Высоко в небе летал ты, сынок, а тень скользила по земле. Пуля сразила тебя,— чья пуля? Кто они были, твои вороги?..

Дед Пею потер рукою лоб, стараясь что-то понять... Нет, не сумел... За спиной его тяжело прогромыхало колесо прожитой жизни. Задрожала, заколыхалась земля. Цыплята разбежались кто куда, под плетни, под заборы. Яблонька застонала и рухнула на землю. Занялись огнем нивы.

Весь мир сгорит, и новый народится. Другие люди будут пахать поля. Новые песни будут петь на посиделках. О господи, подари мне еще дни, чтоб увидеть, дождаться...

— За что, сынок, сложили вы свои головы?

Молчит могила.

Силится дед Пею понять и не может. Тьма застилает глаза.

Кто ж это снова кличет его?

Она прошла за акациями, что растут на пчельнике, и позвала его. Это она, его мать, которую турки — давно это было — убили в ущелье, на дороге в Гюрлек. Вот она идет ему навстречу, рукава засучены, в волосах белая веточка черешни.

— Пейчо-о-о! Где же ты, сыночек?

— Иду, мама, иду!..

Старик уронил голову, прислонился к кресту и тихонько заснул.



МОНЕТКА

Погодай мне!

Два черных горящих глаза жаждают проникнуть в тайну. Дед Гено умеет видеть сквозь годы, сквозь горы и доли, сквозь моря-океаны. Он может предсказать, куда лежит твой путь-дорога и как ты пройдешь по ней — на быстром коне промчишься или проковыляешь на хромоногом осле.

Два юных глаза смотрят на него с мольбой.

Ярче запылал костер, рассыпались золотые искры, встревоженно затрепетали ветви старой ивы, изогнувшей свой стан над чешмой. Закачались узкие черные листочки в прозрачной воде каменного корыта.

Вечер опустился на Беленскую равнину. С той стороны, где потонуло солнце, выкатилась на бархат небезолотая звездочка — словно монетка, сорвавшаяся с лунного мониста. Малютки-кузнечики застрекотали в задремавших колосьях. На большаке, что ведет к степям Добруджи, мелькнула белая шаль и узорчатый платок, в который был завернут ребенок; послышался детский голосок, черноволосая головенка

высунулась, выпучила глазки. Прогромыхала пустая телега, мерно качаясь проплыли спины белорогих волов. А вскоре и волны, и широкая белая дорога потонули в мягких волнах колышущихся хлебов. Пригнулись потемневшие вершины Балкан. Притаились, попрятались куда-то леса и горы. Улеглись, прикорнули деревья на мягкой постели хлебов. Остался над полем лишь тихий зеленоватый туман. А посреди поля — склоненная над обомшелой чешмою ветла и лужайка, где горит яркий костер. Вокруг костра лежат вповалку усталые от долгого пути жницы. Все спят глубоким, беззаботным сном. Только двое не сводят глаз с вечерней звезды, начавшей свое странствие по черному небу, слушают тихий говор колосьев, и глаза у них светятся сладостной грустью. Они наказывают бессонной звезде — скиталице, чтоб, проплывая в полудночную пору над родным их селом, над горою, опустилась бы пониже к пастбищу. Там ночуют смуглые, черноволосые табунщики. Пусть разбудит их и скажет: жницы шлют вам низкий поклон!

У костра, прикрывшись расшитой абой, полулежит, посасывая трубочку, дед Гено, их старшой. Перед ним стоит на коленях Вела, самая молоденькая из жниц. Ей еще никогда не доводилось бывать в чужой стороне, все ей в диковинку, ни сон, ни усталость не берут неугомонную. Босиком, разметав по ветру косы, как легкая серна бежала она впереди всех. Взырала с оставшиеся с незапамятных времен придорожные курганы, чтоб с высоты поглядеть на деревни и бескрайние нивы, озаренные золотой улыбкой лета. А случится ей на рассвете увидеть аиста, степенно шагающего по камешкам, то и дело обмакивая в

лужицу свой клюв, и радости ее нет конца. Аисты ведь никогда не залетали в их края.

В ту ночь дед Гено согласился ей погадать.

Она стояла на коленях, протянув вперед руку, и ждала, точно годовалый ягненок в Егорьев день, когда поутру пастух отворяет овчарню и останавливает на нем свой взгляд. Ждет белый ягненок и не знает, взвалит ли его хозяин на плечи, чтоб отдать на заклание, или же выпустит в чисто поле резвиться.

Вела затаила дыхание, а старик, не выпуская из рта ореховой своей трубочки, то подергивает бровью, то щурится, дотрагиваясь до загорелой ее ладони и сосредоточенно думая о чем-то, делает вид, что читает Велину судьбу.

— Что написано мне на роду? Скажи!

— Погоди...

— Какой ты, право... Не томи душу, скажи!

— Не забегай вперед, касатка. Дай лучше всмотреться. Ведь это не книгу читать, а судьбу человеческую. Погоди, не вертись, егоза, а то ни слова от меня не услышишь. Дай-ка погляжу, какие у тебя глаза. Так... Черные. Ух, до чего черные и жгучие, огнем горят,— еле слышно, словно про себя, прошептал старик. И глубоко вздохнул. Потом помолчал, подумал и снова заговорил:

— Так-то вот... А всему причиной — монетка.

— Какая монетка, дядя Гено?

— Маленькая серебряная монетка.

— А где она?

— У тебя на груди, Велчо! В ней твоё счастье. В счастливый час родилась ты на свет, владеешь

этой монеткой и через нее получишь великое счастье. Кто надел ее тебе на шею? Покойная мать?

— Да, мама. Ты помнишь ее?

— Еще бы. Как не помнить! Ведь она, можно сказать...

— Что?

— Ничего... Было время, эту монетку носила на груди моя матушка. Как-то осенью пахал мой дед на Белом берегу и наткнулся на эту монетку. Сверкнула в борозде серебряная денежка. Отнес он ее попу Петко — ты о нем не слыхивала, дело было еще в туретчину, — а тот посмотрел и говорит: «Береги ее! Великое ты счастье нашел!» И вот носила эту монетку моя бабка, а перед смертью отдала моей матери. Сестер у нас не было, и отдала ее мать младшему из сыновей — Колю, отцу твоему.

Все гуще и плотней становилась синева ночи, и на усиках колосьев, склонившихся над девичьими головами, заблестали прозрачные зёрнышки росы.

— Уснули?

— Спят.

Старик, точно воевода ряды своих воинов, обвел взглядом спящих девушек, которых завтра он чем свет поведет в Добруджу — пшеницу жать. Сладким сном спали жницы, полуоткрыв обветренные губы. Красноватые отблески костра заливали мягким светом загорелые лица и упругие груди.

— А ты почему не спишь?

— Не спится что-то... Скажи, а много на свете таких монеток, как моя?

— Нету таких больше. Одна-единственная на всей земле. И завидую я тому, кто ее носит.

— Почему?

— Потому, что я ее потерял...

Вела положила голову ему на колени.

— Скажи, дядя, а мама моя красивая была?

— Красивая? Да краше ее на всем свете не было.

У старика перехватило горло, глаза оживились — мелькнул в них отблеск прежнего огня — того, что когда-то горел и уж никогда больше не вспыхнет. Никогда.

— А я похожа на нее? — снова спросила Вела.

— На мать-то?

Старик наклонился к ее лицу, и на него повеяло горячим дыханием юности. По телу пробежала дрожь: она! Как две капли воды похожа на мать...

— Велчо...

И захотелось ему все рассказать ей... Здесь, на том самом месте.

— Моя жизнь, дитяtko, под гору катится. И матери твоей давно уже нет... Она никогда тебе обо мне не рассказывала?

— Нет, дядя.

— Нет? И хорошо сделала. Она вообще-то была молчальница. И тогда тоже словом не обмолвилась... Сколько воды с той поры утекло, чего только не случилось, а я ту ночь так помню, словно все это только вчера было.

— Что? Что было-то?

— А то... Вот у этой самой чешмы. Запомни ее. Ты молода — может, доведется еще когда мимо пройти. Вот здесь, у чешмы, я все и потерял. Стал монастырской крысы бедней. Вот под этой старой ветлой.

Вишь, как согнулась. Чай, и не помнит, сколько лет на свете прожила. А в ту пору и она была молодая. Гибкие ветви покачивались на ветру и пели. А вокруг Беленская равнина горела-переливалась желтым колосом. Все мне чудится, что тогда и колосья словно бы выше были. Разотрешь колос в ладони, а зерна — большие, с орех величиной. Вдоль межей крупная, как виноград, ежевика. Ешь — не хочу!

Он помолчал.

— Смотри, девонька, коли случится тебе еще когда побывать тут, не пройди мимо, остановись и молви: «Хороший был человек!»

— Кто?

— Да я.

— Ты ведь мне что-то рассказать хотел?

— Нет, ничего. Спи.

Старик погладил ее по голове и, устремив глаза во тьму ночи, задумался...

...В тот вечер вывели они с Колю двух вороных коней. Он так и видит их: блестят черные, как смоль, бока. Вскочили братья на коней. Старший весел, глаза горят. А младшему и невдомек, что к чему. Плетью взмахнуть не успели, как у него конь принялся бить левым копытом о землю. А это дурной знак. Коли конь забил левым копытом, возвращайся обратно — пути не будет.

Едут Гено и Колю по полю. Плывет над ними месяц ясный, падают и тонут в хлебах звезды.

Спрашивает Колю:

— Куда мы едем, брат?

— Девушку красть из Черкюва.

— Какую девушку?

- Отгадай.
- Скажи, где дом ее?
- Против церкви, большой такой.
- Рада Вылюва?
- Она.

Колю вдруг натянул поводья и повернул коня.

— Стой, брат! Вернемся лучше назад.

Засмеялся Гено:

— Что, трусил? Ну и пусть, она ждет меня у околицы, я и сам управлюсь... Ночь на исходе, не задерживай!..

Он обернулся и посмотрел на младшего брата. Поволчьи, словно раскаленные угли, горели у того глаза. Правая рука теребила гриву коня.

— Поехали!

Гено тронул коня, но и сотни шагов не проехал, как младший, бешено промчавшись мимо, крикнул:

— Быстрей!

— Вот так-то лучше!..

Костер угасал. Темнее стало на лужайке. Потемнела ива, растворились во мраке загорелые лица спящих девушек. Дед Гено долго ворошил головешкой гаснущие уголья. Вела закрыла глаза, уснула. Хотелось старику шепотом поведать ей, что было дальше, но так он и не решился. Наклонился над ней и долго-долго всматривался в ее лицо. Кто знает, какие ей видятся сны?

Зашуршала листьями ветла, и в памяти вновь всплыло былое.

Когда возвращались братья назад, она — Велина покойная мать — лежала перекинутаая через его седло. Остановились они на этой самой поляне. Взмылен-

ные, покрытые белой пеной кони дрожали. Пустили их пастись. Колю пошел вслед за ними по освещенной луной поляне и вскоре исчез из виду, а Гено остался с ней. Он хорошо помнит, какой была она в ту ночь — пугливая, трепещущая, сердце стучит, в глазах — мерцающий свет далеких звезд. Он сел подле нее и ласково провел рукою по ее лбу. Горячий, пылающий лоб, словно она долго простояла у раскаленной печи. Молодая ветла укрыла их своей густой тенью. Гено не знал, что сказать девушке. Она станет его женой, а что ей сказать — он не знает. Легонько обнял ее, склонил голову ей на грудь и тут что-то холодное обожгло его висок. Коснулся пальцами ее мониста: черные бусинки, а между ними — монетка. Вгляделся и вздрогнул: монетка его матери! Что-то оборвалось у него в груди.

— Откуда она у тебя? — спросил.

А она — ни слова.

— Скажи, кто ее тебе подарил?

Вместо ответа девушка порывисто бросилась к нему, обвила его шею руками, обдала, опьянила горячим своим дыханием. И он позабыл обо всем. Никогда еще не горела таким огнем душа. Он прижался к влажным, свежим губам девушки и, уступив сладостной усталости, погрузился в упоительный сон.

А когда проснулся, протянул к ней руку — не было ее рядом! Он вскочил на ноги, огляделся: вокруг — никого. Тень ветлы стала короче, месяц спустился к Балканам, вода в чешме громко, тревожно журчала, звала — словно птенец, потерявший мать. Он не мог понять, что произошло. Конь его, высоко задрав

морду, громко фыркал и вглядывался куда-то вдаль. А братнего коня нету. И Колю нету, и девушки.

Убежали!

Словно обезумев, огляделся он вокруг. И увидел над бассейном чешмы, на белом камне, гроздь черной ежевики. Кто-то сорвал ее и забыл.

Он взревел, как раненое животное. Так взревел, что небо раскололось надвое. Схватился за кинжал, рывком вытащил его из ножен, замахнулся, бросился бежать и кинул его на дорогу. Потом наклонился над ним. В неверном свете месяца сверкает сталь наточенного клинка и кружит ему голову. Он рухнул наземь, стал судорожно царапать землю руками. Зубами впился. Стал грызть ее, кусать.

В себя пришел лишь тогда, когда зарумянилась на востоке заря. Глаза залиты слезами, словно идет с материнской могилы. Перед ним купались в солнечном свете колосья, пламенели поля, а за ними, в той стороне, где лежало родное село, вздымалось в небо синее облачко дыма. Он не поехал в ту сторону, а, вскочив верхом, помчал своего коня через поля, через густую пшеницу, к Дунаю. К вечеру доскакал до Рушука, продал коня и, переправившись на другой берег, ушел в Румынию.

Старик вздохнул. Перед глазами потянулись чередой долгие годы скитаний на чужбине. И, перебирая ворох минувших лет, он старался отыскать в нем хоть один нежный взгляд. Неужто за столько лет он так никого и не встретил? Никого! Наглухо захлопнулось его сердце.

Вернулся он в родное село спустя девять лет. Громким лаем встретил его старый пес у порога

отчего дома. Кинулся к нему, узнал и замер, широко раскрыв глаза. Под шелковицей взлохмаченная черноглазая девчушка набирала в подол камешки. Она удивленно уставилась на него.

— Это была ты, Велчо!

Ее отец поцеловал у него руку, и он все простил. Как не простить родному брату?

Дед Гено снова наклонился над сладко спавшей Велой, укрыл ее своей курткой и прилег рядом.

Черное небо низко нависло над ним. А маленькая золотая монетка сорвалась с прекраснейшего на свете мониста и медленно покатилась к неведомым далям.



СЛЕПОЙ ГУСЛАР

Его нарекли Тилилеем, а крестьяне делиорманского¹ села Орлица звали его Талеем. У Талея была ореховая гусли и умелая рука, которая целых пять лет водила смычком, веселя души орличан, но глаза Талея были незрячими. Он различал шум орлиных крыльев, когда орел описывал в небе круги, но как выглядит эта птица — не знал. По ночам Тилилей сидел на траве под стрехой полуразрушенной Хаджиевой мельницы, а беспокойная чешма пела ему старинную, всеми забытую, бесконечную песню, — донельзя жалостную. Где-то далеко, в умолкшем поле, блеял заблудившийся ягненок, а над головой слепого шуршали ветви. Время от времени он поднимал свои невидящие глаза вверх, к звездному рою и полной луне. Запоздалый жнец, перекинув серп через плечо, медленно спускался по белой тропинке к чешме, наполнял водой бутылку из тыквы и, глядя на слепого прояснившимися от спокойствия летнего вечера глазами, спрашивал его:

¹ Делиорман — турецкое название Лудогорья, горной области в северо-восточной Болгарии.

— Что ты высматриваешь там вверху, Талей?

— Звезды.

— Да разве ты их видишь?

— Не вижу, но слышу. Всю ночь они плывут и поют, но их голос не похож на человеческий.

— А какой же он?

— Какой — не умею объяснить, но он прекрасен. Сердце мое млеет, когда я его слышу. Говорят, что звезды падают с неба, как падают зрелые груши, срываемые ветром. Я их не вижу, но слышу. А когда одна из них стукнется о землю, все другие начинают стонать. И как стонут и плачут! Я не могу уснуть целую ночь.

— Ты не можешь уснуть, Талей, потому, что не устаешь. Кабы вязал ты, как я, снопы от зари до зари, да кабы сморила тебя работа, ты бы как убитый за-спнул. Не только пения звезд и сверчков не слыхал бы, а хоть пушка у тебя над ухом стреляй, и то бы не про-снулся. Разве не так?

— Ну, а если я и пойду в поле,— отвечал слепец,— что мне там делать, когда я и колосьев не увижу? Только мешать жнецам да хлеб топтать.

— А кто ж тебе говорит туда идти? Знай свою гуслу!

Но Талей жаждал увидеть белый свет.

Никто в Орлице не знал, откуда пришел слепой гуслар. Лет пять тому назад, в родительскую субботу, бабушка Тиша, которая прислуживала в старенькой церкви, вышла на рассвете из дома и направилась к площади, чтобы ударить в бѣло. На площади она увидела пришельца-чужака. Одежка на нем была старенькая, на плече висела кожаная торба, а в

торбе — гусла. Старуха подошла к нему, оглядела, откашлялась и спросила:

— Кто ты такой?

Незнакомец ответил:

— Я Тилилей.

— Какой еще Тилилей?

— Тилилей, слепой.

— Откуда идешь?

— Иду из тьмы.

— Из тьмы? Батюшки, из какой такой тьмы?

А зачем пожаловал?

Слепой ничего не ответил. Бабушка Тиша пошла ударила в бйло, прибрала церковь, принесла воды, подмела весь двор и, вернувшись, увидела слепого на том же месте. Он сидел на камне, погруженный в свои мысли. Бабушка Тиша спросила:

— Ты кого-нибудь ждешь?

— Никого. Пришел к вам. Вчера, как проходил мимо хлебов, спросил у жнецов, есть ли где поблизости мост. А они мне: почему не идешь на Орлицкий, ваш то есть, мост. А много по нему проходит народа?

— Ну еще бы! Как же не много! Орлица да девять окрестных сел. На всей равнине нет другого моста.

— Отведи меня туда, бабонька.

Бабушка Тиша взяла слепого за руку и повела. Талей прошел по высокому длинному мосту. В воздухе гулко раздавался стук его шагов: казалось, они падают в прозрачную воду и тонут, как камни, в глубине. Он перешел на другую сторону, туда, где раскинулись поля, уселся слева под вербой, на которой свил гнездо аист, и оперся спиной о ее потрескавшийся

ствол. Да так здесь и остался. Остался на дни, месяцы, годы.

Первую ночь он провел под вербой, низко склонившей свои ветви. В гнезде наверху маленькие аистята допоздна бормотали что-то на своем птичьем языке, словно дождевые капли падали в застоявшийся пруд, и сердце слепого взволнованно билось. Наутро, когда роса омыла гнездо, а лучи солнца залили загорелое лицо пришельца, он вынул свою гуслу из кожаной торбы и провел смычком по струнам. И тогда замолкли аистята. Мимо ехали орличане в телегах; некоторые останавливались, чтобы послушать музыканта, затем спускались вниз и исчезали в золотой дали, дивясь, откуда мог к ним попасть гуслар. А слепец играл, но то была не просто песня: это его душа металась во мраке и просилась на волю, на белый свет.

Вечером добрая бабушка Тиша принесла ему в подоле ломти хлеба, лепешку и немного сладкой кутьи, которой намазала сверху лепешку. Накормив Тилилея, она спросила его:

— Где же ты спать будешь?

— Да мне и тут хорошо.

— Этак нельзя, иди за мной. Гляди, там внизу в ивняке белеет дымовая труба. Это заброшенная Хаджиева мельница. Давеча я как подумала о тебе, так и решила, что тебе там будет хорошо. Человек должен иметь кров. А то не ровен час дождь пойдет. Коли промокнешь, у какого огня обогреешь свои кости?

Талей ответил:

— Моя шкура привыкла... Но раз уж ты приглашаешь...

И он пошел за ней вдоль берега по холодному песку. Дорога вилась меж кустов вербы, из тонких прутьев которой орличане плетут корзины для винограда и плетенки для соломы. Наконец они добрались до мельницы. Бабушка Тиша остановила слепого.

— Вон там напротив, под той грушей, что раскинула ветви крестом, есть чешма. Туда пойдешь, когда захочешь напиться. На этом вот опрокинутом жернове, коли встанешь раненько, можешь сидеть да греться на солнышке. А теперь я отведу тебя в твою комнатку.

Когда они вошли в нее, Талей начал ощупывать облупившиеся выбеленные стены.

— Да чего ты стенки пробуешь? — укорила его старуха. — Тебе тут будет тепло. Ты это узнаешь зимой, когда разведешь огонь. Подожди, я принесу тебе свою старую чергу. Надумала тебе ее отдать. Другой у меня нет. Стара я стала, не могу больше ткать.

И Талей зажил в заброшенной мельнице, укрываясь ночью чергой бабушки Тиши, а днем сидя под кривой вербой с аистовым гнездом на ветвях и не выпуская из рук гуслы. Рука слепого, которая так хорошо умела водить по струнам, никогда не протягивалась за милостыней. Но если, отправляясь утром на работу, какой-нибудь орличанин вынимал из сумы свежее выпеченный хлеб, завернутый в пестрый платок, и, отломив кусок, клал его перед слепым — он от него не отказывался. И когда по вечерам жнецы приносили ему спелые, мягкие груши или желтые персики, он утолял ими жажду. Мало-помалу орличане привыкли к нему, вслушивались в его песни и уносили их с собой

в поле, словно в благодарность певцу. А Талей начал узнавать людей, и телеги, и скот. По походке, по голосам, по бубенчикам. Он выучил их имена, и когда крестьяне, возвращаясь после работы с поля, говорили: «Добрый вечер, Талей!» — он отвечал им, называя каждого по имени. Вот какой человек был слепой. Его поддразнивали, с ним шутили, иной раз случалось — беззлобно насмехались над ним, но он не обижался.

Как-то раз после Петрова дня, в первое же лето, когда на пышных созревших нивах зажелтели крестцы, словно куропатки расселись на поле, орличане стали развязывать свои кошель и опускать монеты в отверстие гуслы. И тогда в душе слепого ожила тоска по той самой дорогой его сердцу женщине, что исчезла во мраке.

...Он был тогда еще совсем маленький и жил на краю деревни вдвоем с матерью. Она уходила каждый день на работу к чужим людям, а его оставляла дома. Однажды летним утром она, как всегда, ушла, но не вернулась. Слепой мальчик ждал до полуночи, прислушивался к дыханию животных и людей, прикладывая ухо к земле, чтобы уловить ее шаги, но ничего не услышал. Охваченный страхом, он выскочил на улицу, протянул руки и начал ощупывать темноту. Но куда исчезла мать — он увидеть не мог, ведь он был слепой!

Девять лет бродил Тилилей по селам, расспрашивая людей и камни, птиц и деревья на всем своем бесконечном пути. Никто не знал, куда она скрылась. Тогда слепой вернулся в свою ветхую избенку, снял со стены отцовскую ореховую гуслу и пошел с ней по

деревням, сочиняя свои незатейливые песни и находя в них забвение.

И только когда зазвенели в гусле серебряные монетки, ожила его старая тоска, и ему страстно захотелось, чтобы его обвили мягкие материнские руки. Прошлой весной бабушка Тиша, выходя встречать ягнят, чтобы они не разбегались по чужим улицам, посоветовала ему, как ни туго ему придется, но поднакопить хоть немного денег. Где-то далеко, в чужих краях, есть, говорят, источник для слепых глаз. Кто омоется его водой — прозреет. Но течет он на краю света. Пешком туда не добраться. Вот если бы Талей мог собрать побольше денег, чтобы купить себе лошадь или даже билет на железную дорогу... А уж если он прозреет, то сможет обойти всю землю вдоль и поперек и найдет свою мать!

Каждое воскресенье ночью гуслар шел в поле и зарывал под камень то, что скопил. Иногда он целую ночь простаивал над кучкой денег, перебирал их пальцами, считал и подсчитывал. Прикипели они к его сердцу, и сколько раз, когда он вот так перебирал монеты, ему чудилось, что за спиной у него дышит молодой красавец конь, готовый пуститься в путь.

Так прошло четыре лета.

На пятое — земля подарила орличанам небывалый урожай. Склоняли шею колосья, ломились ветви яблонь и груш, голоса ягнят оживляли поляны, а во дворах загомосились стайки цыплят. Посветлели от радости лица крестьян. Но все это не кончилось добром. Однажды вечером, за два дня до начала жатвы, выпал град и побил чудесные всходы, все до последнего колоска. Когда страшная туча налетела на

самое село, Талей спрятался под мост и долго прислушивался к тому, как падают с неба орехи. Но того, что произошло,— он не понял. Туча отшумела, ушла, и выглянуло ясное солнышко. Оно нежно и осторожно ласкало израненную землю, и слепец, согретый неведомой радостью, вытащил свою гуслу и провел смычком по струнам, которые незадолго перед тем сами звенели, словно отвечая грозovým раскатам. Кругом все вымерло. Поля, еще недавно такие желтые, сейчас чернели, будто только что вспаханные, будто еще не засеянные. Хлеба не стало. Но Талей не видел этой беды.

Он заиграл звонкую песню и прислушался, не взмахнут ли аисты крыльями над его головой. Но они не взмахнули. Меж тем на мост взошел один орличанин, спешивший к побитому градом полю. Качая головой, он бормотал что-то себе под нос. Услышав звуки Талеевой гуслы, он бросился к нему словно ужаленный и замахал руками:

— Ах ты неблагодарный! Пять лет мы кормим тебя словно дворового пса, а ты вон, оказывается, какой! Когда у нас сердце разрывается от страданий, ты веселишься, наигрываешь рученицу, да? Не стыдно тебе! Взгляни, у твоих ног лежат убитые птенчики, а тебе и это нипочем! Да что у тебя, сердца нет, что ли? Убирайся сейчас же с наших глаз, туда, откуда пришел! Если на рассвете ты еще будешь здесь, мы проводим тебя камнями, чтоб попомнил ты орличан!

И разгневанный старик, вырвав у слепого гуслу, что было силы хватил ею о кривую вербу.

Талей окаменел. Да так и остался сидеть, не шевелясь, до вечера, а когда над Орлицей спустилась

ночь, он поднялся и начал ощупывать землю. Кусок за куском собрал он свою гуслу. Шаря по земле, он наткнулся на что-то мягкое — это был убитый градом аистенок. Слепой выпрямился, вытер рукавом глаза и пошел в поле. Отыскал свой камень, вытащил из-под него монетки, собранные за все пять лет, пересыпал их горстями в торбу и вернулся в село.

Посреди площади, где когда-то в родительскую субботу его нашла бабушка Тиша, он высыпал все, что дарили ему орличане в свои счастливые дни. В лунном свете монеты сверкнули как слезинки. Село спало глубоким сном, и слепой слышал, как время от времени вздрагивали во сне сломанные крылья Орлицы. Гуслар покинул ее с тяжело раненным сердцем, и один, без гуслы в руках, исчез во мраке, откуда пришел пять лет назад.



НАДЕЖДА ДЕДУШКИ БОЖИЛА

На улице разыгралась вьюга. Она замела снегом мирно спавшее село, завывая, словно одинокий пес, тоскливо и протяжно. Под ее ударами трещали ветви деревьев.

— А ну-ка, вставай да ступай себе! Полночь миновала. Тут тебе не постоялый двор. Ишь расселся у печки! Развалился, словно барин, и в голову ему не придет, что давно пора восвояси.

— Погоди, Пешо, позволь еще посидеть, пока руки согреются. Продрог я.

Дедушка Божил протянул свои старческие руки к раскрытой печке, в которой угли уже прогорели и оставалась только кучка теплой золы. Он дрожал всем телом.

Пешо приоткрыл дверь корчмы.

— Ух ты, ну и вьюга! Так и сыплет. Сугробы наметет — в человеческий рост. А в твоём дворе, дед Божил, этой ночью, пожалуй, волки в чехарду играть будут — ведь у тебя и плетня порядочного нету. Как увидишь их, хватай головню и выходи навстречу. Не бойся, волки от огня бегут, как черт от ладана.

— Да где же в моем доме огня взять, сынок? Хоть убейся, щепки не сыщешь. Нет у меня дровишек, Пешо, нету...

— И сроду не будет, коли за ум не возьмешься. Ох, и чудной же ты человек! Отчего ты ту штуку не продашь? Знаешь, сколько деньжат тебе бы за нее отсыпали!

— Не могу с ней расстаться,— сказал дедушка Божил.

— Опять свое завел! Расстаться не может. Старый, небось девять десятков за спиной, а такое плетешь, словно маленький. Всю родню схоронил — об них бы тебе и горевать, а тут пустяковина какая-то, так он, вишь, расстаться не может. На что она тебе? На тот свет, что ль, с собой унесешь? Думаешь, тебе с ней в могиле теплее будет? Гляди, выюга какая разыгралась. Поди, продай ее завтра в Ореховице. Там в торговых рядах есть золотых дел мастер. Он как раз такие вещи покупает. И богат же он! Такому надави на глотку — изо рта золотые посыплутся! Отдашь ему эту штуку, он тебе полную шапку денег насыплет. Как пройдешься по базару, да как купишь себе добрый тулуп и справные сапоги на толстой подметке, чтоб ноги не промокали! Посмотри ты на себя! Ходишь в драных царвулях, даже портянок нет, обмотал ноги каким-то рваньем. Да что там царвули, рубаха-то есть у тебя? Голое тело видать. Людей стыдно. Послушай моего совета — и заживешь, как человек. Ну, плохо ли тебе будет?

— Да нет, верно ты все говоришь, но, скажем, надумай я сейчас идти — как я по такому снегу доберусь в Ореховицу?

— По железной дороге. Для того хорошие люди ее и выдумали.

— А денег где взять? Кто это пустит на чугунок без денег?

— Пустое. Денег я одолжу, только решайся. Дам займы левов двадцать пять. Отчего не дать? Я тебя знаю, ты на чужое не позаришься. Вернешься — отдашь. А на обратную дорогу за деньгами дело не станет — к тому времени у тебя кошелек распухнет.

Дедушка Божил встал. Надел свою потертую ватную куртку с заплатами из мешковины на локтях и пошел к выходу.

— Ну, так как? — спросил Пешо, провожая его до дверей. — Завтра, живы будем, — в дорогу, а?

— Да вот поразмыслию ночку, а завтра посмотрим. Если и это отдать, что ж тогда останется у меня на белом свете?..

Выюга поглотила сгорбленного, съежившегося от холода старика, а Пешо закрыл дверь, подпер ее топором, задул свечу и прошел в тепло натопленную комнату, где спали его домашние.

А дедушка Божил еще долго пробирался сквозь снежную бурю, пока добрался до дому. Войдя, стряхнул с себя снег. Протянув в темноте руку, ощупью добрался до печки, сел и задумался. И задремал у холодного очага. Думы, перевалив через грядущие лет, перенесли его в былое. Вот он в далеком селе, над которым светит багровая луна и дует теплый осенний ветер. Идет он по улице, сворачивает к площади и, дойдя до нее, останавливается как вкопанный. Перед ним виселица из свежеструганных бревен, а на ней человек — рослый, плечистый, с длинными усами, в

серой посконной рубахе. В ногах повешенного валяется его черная шапка, а на шапке светится золотом лев — повстанческая кокарда.

«Отец,— глухо прошептал старик, задрожав,— это я, твой Божил».

И увидел себя дедушка Божил таким, каким он был в тот день.

Босоногий мальчишка, перепрыгнув через садовый плетень, останавливается перед повешенным и застывает, впившись в него взглядом. Потом, не помня себя от ужаса, ребенок бросается обнимать и целовать ноги мертвеца:

«Отец, это я, твой Божил, ответь мне!»

Но мертвый не отвечает. Тогда мальчишка испуганно оглядывается, хватая отцовскую шапку и исчезает во тьме ночи.

Дедушка Божил залился слезами. Потом отер их рукавом и затих. Ветер налетал на ветхий домишко, парусом надувал бумагу, которой вместо стекол были заделаны окна. Над деревней носились крики, вой. Словно кто-то звал на помощь, словно где-то били в набат...

На другой день, проснувшись и посмотрев в окно, он увидел, что снегу намело — не пройти. Зима разыгралась не на шутку.

— Эх, был бы у меня тулуп, сапоги, да воз дровишек! — вздохнул он. — Развел бы огонь, скинул бы сапоги, расстелил бы за печкой тулуп да как залег бы! Э-э-эх! Огонь трещит, искры по трубе летят, а я себе полеживаю в тепле да потягиваюсь... Пешо прав. Надо ехать сегодня. Если не поехать, он может пойти на попятную. Скажет: «Все, не будет тебе больше

хлеба!» Правда, они уговорились так: покуда старик жив, Пешо его кормит, а как помрет, Пешо достанутся дом и участок дедушки Божила. Да ведь кто его, собаку, знает: вдруг что втемяшится в голову, возьмет и скажет — нету тебе хлеба!

И дедушка Божил решился. Он встал, пошел в чулан, достал из-за пояса ключи, отпер сундук, нащупал кокарду и задрожал...

Пешо отсчитал ему двадцать пять левов на билет и сказал на прощанье:

— Смотри не забудь себе шарф купить — шерстяной, да помягче, чтоб уши закутать. А мне купи газету. Почитаю, что нового творится на белом свете. Душа истосковалась по новостям. Не по мне она, эта жизнь в медвежьем углу. Видно, так уж на роду написано.

К полудню дедушка Божил уже стоял в Ореховице перед лавкой ювелира. Он долго отряхивал снег с шарвулей и наконец нерешительно постучал.

Ему отворил сам хозяин, с толстой золотой цепью на животе, в блестящих, со скрипом башмаках. На пальцах у него сверкали бриллианты.

— Что тебе? — спросил ювелир.

— Я пришел, чтоб...

— Чтобы что? Уж не подарок ли задумал купить к рождеству?

— Нет. Хочу продать одну вещь.

— Какую же?

— Одну старинную кокарду. Когда мы с турками бились, я носил ее на шапке. Ведь я из отряда капитана деда Николы, которого убили у села Колибы. Слышал о таком? Да знаешь, конечно, — песню еще про

него сложили. Вот из его отряда. Знаменосцем у него был. Был бы жив Пеню из Лясковца, отчаянная голова, тот бы тебе порассказал обо мне. С тех боевых дней и осталась у меня эта кокарда. А еще раньше носил ее мой отец, Иван Божилов, старый повстанец. Турки повесили его посреди села. Ты, верно, слышал о нем. Отец он мне. От него и досталась мне эта кокарда.

— Зачем же ты ее продаешь? — спросил ювелир.

— Нужда заставила, сынок, бедность наша. Вконец нищета заела. Как снег выпал, ни разу огня в печи не разжигал. Прошлый год присоветовали добрые люди послать царю прошение. Сообщить ему, значит, кто такой есть дедушка Божил, мы то есть, пожаловаться на нищету нашу, описать про кокарду, может, выйдет мне какая пенсия.

— Ну и что, послал прошение?

— Известно, послал. Пятнадцать левов взял с меня адвокат.

— Ну а царь?

— Ничего. Больно нужно ему, что у какого-то там дедушки Божила из Опыка рубахи и той нету, да от стужи зуб на зуб не попадает!

— Ну, давай посмотрим на твою кокарду.

Старик полез за пазуху, достал узелок, бережно развязал его и осторожно протянул ювелиру маленького желтого льва. Лапы у льва почернели от времени, а глаз пробит гвоздем.

Ювелир надел очки, осмотрел кокарду с одной стороны, с другой, постучал по ней пальцем и сказал:

— Ошибся ты, дед.

— Как так?

— Вообще она не золотая, твоя кокарда.

— Это как же? — опешил старик.

— А так. Не золотая, говорю. Просто кусок жести. Обыкновенная побрякушка.

— Да ты что? Быть того не может!

— Гроша ломаного не стоит. Выбрось ты ее на помойку. Зря только тащился в такую даль, на билет тратился. Ты из какой деревни-то?

Дедушка Божил ничего не ответил. Он вдруг часто-часто заморгал, взял свою кокарду, снова завязал ее в платок, как что-то бесконечно дорогое, сунул платок за пазуху и вышел.

Хозяин лавки засмеялся ему вслед:

— Что же ты не спросил у себя в деревне кого-нибудь, кто хоть раз в жизни золото видел, а прямо потащился в такую стужу в город...

Долго стоял на улице бедный старик, глядел на высокие снежные сугробы, и горе потоком заливало его душу. Вот оно, оказывается, как! Кокарда — единственное, что осталось у него после смерти стольких близких людей, последняя его радость и надежда — не стоила, выходит, ломаного гроша. Побрякушка. Как это такая кокарда может быть побрякушкой...

И так как денег на обратную дорогу у старика не было, он двинулся домой пешком. Вышел в открытое поле, прошел немного, но дорога вдруг исчезла. Вьюга замела. Куда идти? Нащупал старик ногой тропку в глубоком снегу, сделал несколько шагов, устал и присел перевести дух.

Пока он отдыхал, злая вьюга мела, кружила вокруг и замела его снегом...



ВИХРЬ

Прошлой осенью я отправился в тот суровый бессолнечный край, где, по словам народного певца, зимой ветры дуют с такой силой, что выкорчевывают деревья, а летом чабаны играют на тонких самшитовых свирелях и милуются с самодивами. Я устал и всей душой рвался к влажной тишине старого леса, солнечным горным полянам, теплому парному молоку, надоенному от овец, возвращающихся в кошару с набухшим выменем. Целый день — словно соловьиная песнь — стоял у меня в ушах звон колокольчика, привязанного к шее моего мула. Мы переваливали через холмы, карабкались наверх, спускались вниз, пока наконец не очутились на крутой каменистой тропинке. Камни посыпались из-под ног и забарабанили по монастырской стене. Задохаясь от жажды, мул ускорил шаги, вошел в бурливую реку и, вытянув черную морду, погрузился в воду по колени. Я спрыгнул на берег, сбросил с плеч мешок и подошел к двум монастырским работникам, стоявшим, словно стражи, у открытых ворот. Небритые, босоногие, вооруженные огромными дубинами и ножами,

заткнутыми за пояс, они походили на разбойников, сбежавших из дружины атамана Кудеяра, после того как ими было пролито немало христианской крови,— о чем рассказывает русский народный певец. Они нехотя протянули мне руку, пробормотали что-то вроде приветствия и расступились. Я вошел в просторный монастырский двор, вымощенный белыми плитками и заросший травой. Сюда выходили помещения для заезжих и кельи когда-то живших здесь монахов. Теперь они зияли как пещеры. Стены потрескались, одна лестница обвалилась; уцелели только наивные образы, созданные художником, водившим по стенам своей неумелой кистью. Казалось даже, что краска не успела обсохнуть. Я направился к притулившейся рядом церквушке, похожей на старую, усталую птицу, опустившую крылья. Отодвинул щеколду. Дверь заскрипела. Вслед за мной хлынул мягкий, желтый свет, омывший иконы в пыльном иконостасе и распятие из ствола липы, на котором Христос в отчаянии раскинул руки. Перед алтарными вратами, увитыми синими резными виноградными гроздьями, я увидел полочку, а на ней глиняные чашки: их было с десяток. Я обернулся к двум косматым архангелам, которые стояли в дверях, с любопытством за мной наблюдая, и спросил у них, что это за чашки.

— Чашки как чашки! — ответил один из них. — В алтаре их целый сундук. Там же и мощи святых апостолов заперты. У нас тут, барин, пустыня: ни доктора, ни лекарств. Когда кто из горцев спускается сюда за святой водой для больного, мы омываем два-три ребра из апостольского скелета и водичку из-под них наливаем в чашку. Больной выпьет апостольской воды, и —

если ему на роду написано выздороветь — он поправится, а коли суждено умереть — умрет.

Я заглянул в монастырскую кухню. Голый до пояса, черноволосый печенег с маленькими, мигающими глазами, вспотевший, босой, вынимал лопатой из печи большие хлебы с растрескавшейся коркой и бросал их прямо на землю. Кухня была полна ими.

— Для кого весь этот хлеб?

Потный человек ответил:

— Мы печем хлеб для деда Вылчана.

— Что это за дед Вылчан, который съедает столько хлеба, что его хватило бы на целый полк?

— Он — чабан наш, монастырский. Прилепился там, в глубине гор. А мы печем ему хлеб. Не подумай только, что это все на один день.

— А где игумен?

— Он в келье напротив, читает.

Я поднялся по скрипучей, покосившейся лестнице и постучал в дверь. Стукнул второй, третий раз. Никто не отозвался. Я заглянул в замочную скважину. За столом, подперев голову рукой, сидел странный человек: седые волосы растрепаны, ряса порвана на плече. Взгляд мутный, блуждающий. Худые желтые пальцы перелистывают толстую книгу, страниц на тысячу. «Мертвые сибирские просторы»? «Декамерон»? Восковая свеча на столе догорала. Но мысли игумена витали в ином мире. Меня предупредили, что у него не все дома. Он был заточен сюда за какое-то таинственное прегрешение. Когда я постучал в дверь еще более настойчиво, он отмахнулся и сделал знак рукой, чтобы я убирался прочь.

Я повернул назад и спустился вниз по лестнице.

— Какого черта понадобилось мне в этом полуразрушенном монастыре? Хороша будет ночь, проведенная в обществе этих двух разбойников с ножами и сумасшедшего затворника! Не лучше ли уйти отсюда по добру-поздорову и переночевать где-нибудь в лесу? Пусть всю ночь баюкает меня шелест дубовых листьев. И пока я не сомкну глаз, на меня будут глядеть высокие звезды горного края.

Солнце садилось. Поручив мула заботам батраков, я велел им меня не ждать. Потом, сунув в карман кусок мяса и ломоть хлеба, я пошел берегом реки против течения. Вступил под тень старых разросшихся деревьев с потрескавшейся корой и замшелыми стволами. Прошел мимо темно-зеленых полянок, усыпанных лютиками и розовыми астрами. Мне вспомнилось житие основателя монастыря. «Когда я пришел сюда, людей здесь не было, а только звери и дебри непроходимые». Я устал, напился воды из речки, которая становилась все уже, и вышел наконец на светлую, просторную поляну. Горный вечерний ветер колыхал высокую траву. Надо мной широко раскинулось небо. Вот здесь я и переночую. Я собрал сухие ветви, разложил костер, низал ломтики мяса на палочку и стал вертеть ее над углями. Потом нарвал дубовых листьев и положил на них горячие, румяные куски.

— Э-э-й! А вот и я! — крикнул кто-то позади меня.

Я обернулся.

— Кто ты?

— Я. Дед Вылчан.

— Как раз вовремя пришел! Присаживайся, закусим. А где же твоё стадо?

— Я послал Найденыша, чтобы он загнал овец в кошару, а сам пошел поискать, не найдется ли где грибков. Целый мешок набрал, их тут полным-полно.— Старик нагнулся, оперся рукой о землю и, крикнув, опустился на траву.

Лицо у него было загорелое, руки заскорузли, грудь обнажена, а лицо шелушилось от горного солнца, словно печеная картофелина.

— Сколько уж времени не брал я в рот скоромного,— сказал он и, взяв кусок мяса, с удовольствием принялся его жевать.

Вечер выбрался из речной долины и пополз вверх. Первые звезды затрепетали в небе, как светлячки. Дед Вылчан бросил на угли три гриба.

— Погоди, сейчас я тебя угощу печеными грибами да брынзой.

Он порывлся в своем мешке, вытащил миску, но, сняв крышку, махнул рукой и ударил себя по лбу.

— Ах ты господи, я ведь сам ее съел, да совсем и позабыл.

Он сконфузился и виновато взглянул на меня, словно собака, ожидающая наказания от хозяина.

— Где ты ночуешь? — спросил он меня.— Приходи ко мне в овчарню. Свежего молочка согрею.

У овчарни нас встретил огромный пес с высокими стройными ногами, ржаво-серебристой шерстью, острыми ушами и опущенным мохнатым хвостом. Увидев меня, пес зарычал, но дед Вылчан на него прикрикнул. Пес поджал хвост и тихонько отошел в сторону.

— Где же Найденыш? — спросил я.

— Да это и есть Найденыш. Я собаку так зову.

Это он пригнал мне сегодня стадо. Сказать тебе правду, мой Найденыш не собака, а настоящий волк.

Старик вошел в шалаш, разворошил золу в очаге и вытащил два горячих уголька. Принес их в ладонях, положил на землю, набросал сверху щепок и стал раздувать. Перед шалашом вспыхнул костер.

— Садись к огню, а я сейчас надою молочка.

После ужина я узнал всю историю деда Вылчана. Сам он житель равнины. И вдруг вихрь — медвяный, сладкий — завертел его, поднял высоко в небо и кружил до тех пор, пока он не упал сюда, в эту горную глушь.

— Раз в три недели спускаюсь в монастырь за харчами. А Найденыш остается здесь и стережет овец. Он мне заместо сына. Что ни поручу, все исполняет. Он был еще слепой, когда четыре года тому назад я принес его в овчарню. Нашел я его в волчьем логове, а рядом лежали его мертвые братья. Он скулил и мотал головой, живой был, значит. Волчицу где-то убили. А детеныши ее остались сиротами и перемерли. Выжил только он один. Как-никак, а живая душа, стало мне его жалко. Взял я его и окрестил Найденышем. Научил его лакать молоко из глиняной миски. Позже стал кормить хлебом. А мяса никогда не давал. Года через два вырос мой волк — сильный, красавец. Собаки удирают от него, как ошпаренные, волки зимою сердито воют и вертятся вокруг овчарни, а внутрь влезть не смеют. Я сплю мертвым сном. Никто меня не разбудит, и ни о чем я не тревожусь: Найденыш лежит перед овчарней и стережет. В день даю я ему по ломтю хлеба и головке брынзы. Он для меня все равно что человек. В прошлом году, когда я был в мона-

стыре, повар Станойко мне говорит: «Прогони ты этого волка, дедушка Вылчан. Он еще когда-нибудь ночью загубит твое стадо!» А ты как думаешь, неужто мой Найденыш может опять стать волком?

Когда мы легли спать, Вылчан снова вернулся к этому разговору:

— Стадо мое по обету я отказал монастырю. Видал ты когда-нибудь, как посреди поля торчит одинокое дерево? Рядом ни пня, ни колючки. Только и осталось у него, что тень. Так и я. Было у меня два сына, оба пали на бранном поле. И хозяйка моя с горя ушла вслед за ними. Тогда-то меня словно подхватил вихрь. Продам я землю, куплю овец. Пригнал их сюда. Остановился в монастырском лесу. Очень мне нравится здешняя вода. Пахнет кореньями и дикой геранью. Ключ внизу, шагах в двадцати. Мы с Найденышем протоптали туда дорожку...

Я долго глядел в небо, на Млечный Путь, и мерцание звезд отзывалось в моей душе, а лес шумел, будто хотел рассказать мне что-то сокровенное. Заснул я поздно. А когда проснулся, солнце уже стояло высоко в небе. В овчарне — никого. Дед Вылчан оставил мне полведерка молока и горку брынзы в деревянной миске. Я прислушался, не звенит ли колокольчик, но лес молчал. Промыв глаза ключевой водой, я спустился к монастырю.

* * *

Этой осенью меня снова поманил голос гор. И колокольчик на шее мула вновь встревоженно зазвенел по крутым тропинкам. В монастыре я нашел запусте-

ние. Два монастырских работника в Димитров день ограбили какого-то паломника, а сами удрали. Заточенный игумен лежал больной. Уродливо зияли выломанные двери келий. Целую зиму по ним гулял ветер. Кровля на левом флигеле провалилась. Печенег сидел во дворе на плитах и, широко раскинув ноги, штопал свои штаны большущей иглой. Он попросил у меня покурить, а на мой вопрос о дедушке Вылчане ответил:

— Плох он. Совсем истаял за лето. Не жилец он на этом свете.

Я отправился в овчарню. Пока я дошел, ночь уже спустилась баюкать птичек в их гнездах, а горы таинственно шумели. Звезды мигали над загнанным в кошару стадом. Дед Вылчан встретил меня, и я увидел, как он сторбился, осунулся, глаза у него запали. Я пожал его дрожащую руку. Мы сели у огня и закурили.

— Где Найденыш? — спросил я, обводя глазами овчарню. Нигде не было видно рослого овечьего стража.

— Бог да упокоит Найденыша! — покачал головой пастух, и глаза его наполнились прозрачными старческими слезами.

— Околел он, что ли?

— Не околел, я его убил. В меня вселился дьявол, лишил меня ума, вот я и поднял на него руку. Теперь-то я понял, кто из нас двоих был зверем.

— Как это так?

— Сейчас расскажу. Этот проклятый монастырский повар вбил мне в голову, чтобы я остерегался Найденыша, потому что он, мол, рано или поздно опять превратится в волка. Я взял да и купил зимой

ружье. Десять овец за него отдал. Раз как-то встал я поутру и отправился в монастырь за харчами. Снегу навалило — по самую грудь. Вскинул я ружье за плечи и бреду — еле себе тропку пробиваю. А как только я вошел в монастырскую кухню и отряхнул с шапки снег, на пороге показался этот сумасшедший монах.

— Прогони,— кричит,— своего волка из овчарни! Сегодня ночью я видел во сне, что все твои овцы передушены. Лежат в овчарне на земле одна подле другой, а снег весь в крови!

Я ничего ему не сказал. Взвалил на спину мешок с хлебом и тронулся в путь. Возле скита, гляжу, навстречу мне идет Найденыш, шатается, будто пьяный. Когда он подошел ближе, я оцепенел: морда, уши у него в крови, и даже лапы красные.

— Погубил волк мое стадо! — пронеслось у меня в голове.— Погубил мою душу!

Я уронил мешок. А окровавленный Найденыш идет, пошатываясь, мне навстречу и хвостом машет. Потемнело у меня в глазах, я поднял ружье и — бац, бац! — двумя пулями его уложил. Не оглядываясь на него, бросился в овчарню, прибежал туда, братец ты мой, и что же я увидел? Перед кошарой лежит громадный, с осла, волк с перегрызенным горлом, а овцы невредимы. К лесу ведут кровавые волчьи следы. Тут я понял: два волка напали на овчарню, и Найденыш встретил их как верный солдат. Одному он перегрыз глотку, другого ранил, и тот удрал в горы. Обесиленный, Найденыш поспешил мне навстречу похвалиться своей победой...

Сердце у меня разрывалось на части. Я спустился к скиту и уж ласкал Найденыша, ласкал... Потом

взвалил себе на спину и унес. Похоронил его, как человека, высоко над шалашом. Протоптал стезжку к его могиле... Как только ударят заморозки, я спущусь вниз и отдам овец монастырю. Пусть возьмут — к чему мне они? Чувствую я, что этой зимой господь бог приберет мою душеньку. Стосковался я по сыновьям, моим соколикам, и по доброй моей хозяйшке. Уж сколько лет дожидаются они меня в земле...

Старик умолк. Я долго глядел на звезды и думал о вихре, который подхватил деда Вылчана, поднял его до небес и снова сбросил вниз, в горы.



ЧЕРНЫЙ ЛОМОТЬ

Нету, нету больше моей землицы! — с тоскою проговорил дед Адам, следя взглядом за землемерами.

Молодой учитель, босиком, закатав штаны, шагал по влажному от росы полю, а за ним, поскрипывая, ползла железная рулетка. Кривица — толстый, самодовольный хозяин паровой мельницы в Асенове — крикнул:

— Ты правильно отмеряй-то, учитель! Ошибся ты, сбился! Больно уж много у тебя получается. Не слишком ли глубоко руку в мой карман запускаешь? Ну-ка, пройдем еще разок.

Кривица, пыхтя, нагнулся, ухватил другой конец рулетки. Металлическая лента поползла по засохшей земле, шипя, точно утка, защищающая свой желторотый выводок. Кривица тоже вошел в хлеба. И потонул в них — только голова поплыла над колосьями, как тыква по зеленой глади реки.

Дед Адам безнадежно махнул рукой и отошел в сторонку, к меже — глаза б его не глядели! Уселся под грушей, вытащил из кармана платок и стал вытирать

лоб, по которому годы проложили глубокие борозды. Шумели высокие хлеба, и старик неслышно забормотал:

— В последний раз нынче сел я отдохнуть в твоей тени, старая груша. Тут, к твоим ветвям, привязывала когда-то мать мою зыбку. Тут вязал снопы мой отец и складывал их в копны. Он носил белые холщовые штаны и белую рубаху. Лицо обгорелое, как жаристая хлебная корка, брови выгорели. На его паламарке был выдолблен глубокий крест. На этом поле и я вязал снопы, за семью жницами поспевал, заслушавшись песен Латинки, дочки деда Ангел-Ямалии. Как она пела, озорница! Когда поженились мы, первым долгом сюда пришли, кукурузу сеять. Я пахал, а она шла следом, в руке мешок с семенами, опускала в борозду зерно за зерном. Красивая была женщина, носила шерстяной расшитый пояс с перламутровыми пряжками, на каждой пряжке вычеканен конь — скачут друг дружке навстречу. И мы в те времена молодые были, горячие, точно буйные кони. Смело мчались по жизни, ничто не в силах было нас остановить. Куда подевались, куда ускакали те кони? Поглотило их время, точно хищный зверь. На той самой ветке, что качала меня, висели и люльки трех моих сынов. На полях Фракии без времени полегли двое из них, остался у меня теперь лишь меньшей, самый любимый...

Старик полез за пазуху и достал оттуда сложенный листок бумаги, завернутый в носовой платок. Развернул его и стал по слогам разбирать написанное.

«...Тут чужая сторона. Никто на тебя и не взглянет, никто куском хлеба не поделится. Поскорей пришли,

отец, денег. Ты пишешь, что нету у тебя и банк не дает ссуды. Так продай большое поле! Кривица купит. Я писал ему. Он рад купить, только бы ты дал согласие. Ты должен сейчас помочь мне. Дай мне возможность доучиться. А о завтрашнем дне не тревожься. Когда окончу курс и стану врачом — поселюсь в каком-нибудь городе, на побережье. Возьму к себе и тебя и маму. Чтоб могли вы отдохнуть на старости лет. Ты будешь читать газеты, попивать кофе и ходить на рынок за свежей рыбой. Вот и вся твоя будет работа. А мама будет нянчить внучонка и петь ему песенки — так, как только она одна умеет...»

«Доктор Петко Адамов. Деда Адама меньшей, что ль? Уж этот дед Адам! Сказал: «Последнюю рубаху с себя сниму, а выведу сына в люди, выучу!»

И выучил.

Вот как будут говорить люди, а дед Адам только ходи да нос задирай.

— Твоя правда, дед Адам. Точь-в-точь двадцать семь декаров и три ара. А мне, как на глаз прикинул, вроде показалось меньше. Беру и землю, и хлеб на корню, — сказал Кривица, сворачивая рулетку и алчно оглядывая буйные хлеба, почтительно, как молодуха свекору, кланявшиеся ветру.

— Нет, хлеб не продам. Я его сеял, я и собираю. Что же это — уж и хлебушко тоже у меня отнять надумал, — разволновался дед Адам.

— Дело твое. А только иначе земля мне без надобности. Подумай, дед Адам! Хорошенько подумай. Чтоб потом не говорил: обманул, мол, меня Кривица. Как же так? Я денежки выкладываю, сына твоего в доктора вывожу.

— Нету больше у меня землицы! — сокрушенно произнес дед Адам и поднялся на ноги. Отряхнув приставшую землю, глубоко вздохнул и медленно зашагал к селу.

* * *

У доктора Петко Адамова — собственный дом в прекраснейшем из городов Черноморского побережья; сад, где растут черешни, груши, розы и кактусы; жена — изящная дама с руками, словно выточенными из слоновой кости, и ногтями цвета граната. Она посиживает в саду, вдыхает соленый морской воздух и тоскует. Доктор безумно занят. Сей молодой человек, возвратясь из Европы, растолкал локтями толпу старых медиков и проложил себе дорогу. Со всей округи тянутся к нему хворые крестьяне с изможденными лицами и лихорадочным блеском глаз, в толстенных грубошерстных штанах даже в самые жаркие дни, с заветной бумажкой в пятьдесят левов, тщательно завязанной в носовой платок. Доктор — член всех благотворительных обществ. Председатель местного хорового кружка. Руководит клубом трезвенников. Выступает с проникновенными докладами от имени женского кружка «Герань», секретарем которого является его супруга. Сей молодой человек быстро поднимается вверх по общественной лестнице. И совсем забыл о двух стариках, которые последнюю рубаху с себя сняли, чтобы дать ему образование. Высоко взлетел молодой человек. Повесил на двери блестящую табличку, где черными буквами выведено: «Доктор Петко Адамов».

«Любезный сынок наш Петко! Четыре годочка ожидали мы с матерью, что ты пригласишь нас к себе, чтоб приехали мы поглядеть, как ты живешь да порадовались на тебя и твою красавицу женушку. Почему ты так поступаешь, сынок? Почему забыл нас? Знал бы ты, как худо нам живется. Ох, и худо! Ведь что было у меня хорошей земли, то продал я Кривице, и остался я теперь как дерево без корней. Такие подошли дни, что в амбаре хоть шаром покати. Сердце разрывается, как подумаю, до чего мы дожили. Летом прошлый год пришлось продать и огородик в Росене, где мать, бывало, сажала понемножку и фасоли, и лучку, и гороху, и огурчиков. Продали, ничего не поделишь — на хлеб денег не было. Купил у Кривицы пять мер пшеницы, наполовину с куколью. Помололи ее, спрятали в ларь и замок повесили. По нашим расчетам дотянем до зимы. А там — хоть снег жуй. Мать, Петко, каждый день слезы льет. В пятницу, не говоря ни слова, пешком в город отправилась. К тебе надумала в гости. Шла, шла, дошла до монастыря Святой Троицы, а дальше идти уж мочи нету. Привез ее обратнo Маслинка — тот, что возит подсолнух на маслобойню. Подсадил ее к себе на подводу и денег не взял. Теперь уж нам понятно, Петко, что ты нас к себе не возьмешь. Одна надежда на бога — авось смилостивится над нами и скажет: «Идите ко мне, дед Адам и баба Латинка, будет вам горе мыкать на этом свете». Прежде ты хоть немного денег присылал, а в этот год ничего. Слух идет, ты стал богатым человеком. Не

найдется ли там какого местечка и для меня? Может, замолвишь словечко в общине — не возьмут ли меня в дворники — за одни харчи бы согласился... Я-то еще держусь, а вот мать от нужды и заботы вовсе извелась...»

* * *

Какой-то человек — худой, в резиновых царвулях, подпоясанный красным фракийским кушаком, запыленный, небритый, вошел в кабинет доктора Адамова. Доктор просматривал в это время рукопись последнего своего доклада, озаглавленного «Хлеб наш насущный». Он рассеянно пробежал глазами странички рукописи, а мысли его были прикованы к кухне, где шипели в жиру именинные цыплята.

— Тебе что? — спросил доктор, не оборачиваясь.

— Из деревни мы, господин доктор, привез вот гостинец вам от бабушки Латинки и деда Адама.

Гость пошарил в своем мешке и вытащил оттуда маленький узелок.

— Ах, мои родители все-таки вспомнили, что у них есть сын? Как они там?

— Хорошо, господин Адамов. Уж куда лучше.

— Конечно, хорошо. Чистый воздух, солнце, свежие яички, масло, брынза. А письма не прислали?

— Было письмо, но дед Адам нагнал меня у са-мой околицы и взял назад. «Дай, говорит, письмо сю-да, а отвези, говорит, моему Петко, доктору, ломоть хлеба, который мы с его матерью едим».

— И это все? — спросил доктор, принимая узелок.

— Все. Счастливо оставаться, господин доктор. Прощенья просим!

Когда крестьянин вышел из кабинета, доктор Адамов развязал узелок и увидел там ломоть хлеба, выпеченного руками его матери.

— Да они смеются надо мной! Это не хлеб. Это кусок глины!

Доктор Адамов рассердился, в гневе схватил ломоть и швырнул в открытое окно. Два воробушка, копошившихся в золотистом песке садовой аллеи, подскочили к брошенному ломтю, клюнули разок и тут же улетели прочь.

Спустя полчаса молодой доктор в белоснежном чесучевом пиджаке вышел в сад. Нагнулся, поднял ломоть хлеба и стал пристально его разглядывать. Чья-то невидимая рука стиснула ему горло, начала душить.



РОСЕНСКИЙ КАМЕННЫЙ МОСТ

Как бы мне дознаться, мама, висит ли еще на мне тот грех?

— Да ты о чем, сынок?..

— Эх, мама, не знаешь ты...

— Три года ты уже лежишь. Три лета тянулись одно за другим, как длинный караван; прошли под твоим окном, заглядывали к тебе. Пели молодые дрозды на вишне. Три раза паливались ягоды черным соком. А ты не сорвал ни одной. Трижды на гумне поднимались высокие копны... Неужто тебе опостылел белый свет? Неужели не хочется тебе выйти на солнышко, посмотреть на деревья и поля, на красивый мост? Посмотреть, как расцвели девушки? Три лета ты лежишь неподвижно.

— Ах, мама, не мил мне уже белый свет!

— Что ты, сынок!

Лампада заливает красным светом лицо больного. Сидящая у постели сына старая женщина тихонько поглаживает его руку. И не знает, как лучше расспросить его. По щеке матери медленно ползет слеза. За окном мягко дышит светлая ночь. Вдруг зашелестят

деревья, будто кто-то шепчется над черными плетнями. Тихо качаются ветви. Выглядывают сквозь их густую листву белые трубы, словно хотят увидеть, спит ли окутанный мраком мир. Серый котенок смотрит в окно удивленными глазами.

— Помнишь, мама...

— Что, сынок?

— Как начал я строить Росенский мост... Было лето. Милка подарила мне белую рубашку с красной вышивкой. Я так радовался этой рубашке!

— Помню, как будто это было вчера. В то лето тебе исполнилось двадцать два — в самый раз жениться.

— Все меня дразнили, что я, мол, не смогу связать Черкювское поле с селом, пойти против реки, осилить ее, опоясать каменным поясом и укротить, как молодую жену. А я знал, что смогу. Семь лет ходил я с отцом по чужим краям, ставил людям дома. Научился камень класть, и стало мне это дело сподручно. Отец поглядывал на меня весело. Как-то раз спустились мы к реке, чтобы срубить старый тополь, — помнишь его? Сели на берегу. Внизу бежала и пела быстрая, шальная Росица. А вербы наклоняли темные верхушки к самой воде, чтобы испытать прохлады.

Отец сказал:

— Слушай, Манол, то, чего не смог я, сделаешь ты. Вот на этом месте. Соединишь два берега, свяжешь два мира. Там, на той стороне, растут хлеба. Дай людям мост — пусть они пройдут по нему и убегут свой хлеб.

На старом тополе пела птаха. Я слушал дивную ее песню и спросил отца:

— А смогу я построить для них мост?

— Сможешь. Запомни хорошенько,— здесь самое подходящее место. Мост пусть будет большой, каменный, с четырьмя сводами. Покличь мастеров из Фракии, чтобы они тесали камень. В помощь собери крестьян. И ничего не бойся. Будут тебя помнить, пока свет стоит. Доброе дело сделаешь.

Вверху пела пташка, и крылья ее казались серебряными. С них стекали светлые капельки. Я сидел и думал: и не скажи мне об этом отец, все равно я его построил бы. Во-он он передо мной — ох, какой мост! Я увидел его, мама, таким, какой построил. Как обруч, опоясал он реку. А она, хитрая желтая змейка, выбивается из-под него, вьется, вытягивает свое сверкающее тело и кидается, освобожденная, буйная, вниз к синим холмам. И услышал я, как загрохотали большие, тяжелые телеги, как глухо задребезжали их грядки и закивали головами круторогие делиорманские буйволы.

— Запомни, что я тебе еще скажу,— услышал я отцовский голос,— когда начнешь строить мост, замуруй в него тень того, кто тебе дороже всех.

Я вздрогнул.

— А кто мне дороже всех?

— Сам знаешь.

Больной умолк. Оконце лизнуло желтое лунное пламя. Смеясь, кинулись наперегонки упавшие на белую улицу тени. Ночь, расстелив серебряное покрывало, посеребрила все кругом. Вдали, на темной равнине, невидимый посланец бродил по полям и расспрашивал нивы, хотят ли они пить, чтоб напоить их назавтра.

И поля ему отвечали.

— Отец ушел в лучший мир, а меня оставил одного строить мост. Знал я, как его строить, да не знал, должен ли принести я жертву, человека загубить. Кто на это ответит? А весна меж тем послала аистов оповестить всех, что она приближается. Появились лохматые, загорелые каменотесы и начали стучать и долбить. Я принялся за работу. Было мне и хорошо и страшно. Не легко, мама, загубить человека. Как на это пойти? Кого замуровать? Близился назначенный день. Вскопали мы оба берега. Я ходил как потерянный, думал и вовсе ума решусь... Как-то раз вечером пошел на отцовскую могилу. Упал на нее, начал руками раскапывать землю.

— Скажи, кого? Ведь ты знаешь.

Но могила молчала. Разве заговорит когда сырая земля?

Я вернулся домой и задремал лишь на заре. Мне приснился отец. Он спускался с горы. Был, как всегда: с широким красным поясом, на плечи наброшена домотканая куртка, а в правой руке — белый орел. Остановился отец на высоком берегу Росицы и крикнул мне:

— Смотри хорошенько, куда сядет орел, когда я его выпущу. Он покажет тебе, кого замуровать. Не бойся, сынок!

Он поднял птицу и выпустил ее. Орел взмахнул белыми крыльями и взвился в небо. Описал три больших круга над селом, стал опускаться и вдруг пропал, будто сброшенный вниз камень. Я не видел, куда он опустился. А отец поглядел на меня, покачал головой и пошел к реке. Перед ним предстал мой мост, и он перешел на другую сторону. Там он остановился, огля-

дел мост с одного конца до другого и махнул рукой.
Я услышал:

— Пора!

Я вздрогнул и вскочил. Надо мной стояла ты, мама, и говорила: «Пора, Манол, уже светает. Телеги уж давно двинулись. Вставай! Мастера стучат».

Я вышел из дому, но побрел не к мосту, а дал крюк ко двору деда Ноя, чтобы повидать Милку и все ей рассказать. Вдруг да мне станет легче. Но когда я подошел к их дому и поднял глаза, я так и замер. В Милкином саду на ореховом дереве сидел белый орел. Точь-в-точь такой, как тот, которого выпустил отец. У меня потемнело в глазах, зашумело в ушах. Я бросился на кладбище, к могиле отца, чтоб отыскать его, кости его вырыть, спросить, как мог он указать на Милку. Мой родной отец! Или ему меня не жалко? Вздор! — что можно спросить с мертвеца?!

На мосту пели каменотесы. Рёсица уносила слова песни, шумела.

Они и знать ничего не хотят. Поют и строят. Перебрасывают камни набрякшими, огромными, как лопаты, руками. Они вмуруют в камни свою чудесную песню. Хорошо им! А я? Кого замурую я?

Я сел на могильный холмик и нашел глазами Милкин орех. По небу несло светлое облачко. Казалось, чья-то светлая душа купается в лучах утренней зари. Когда вечером я увижу Милку, как взгляну я ей в глаза, что скажу?

Я склонился перед почерневшим крестом. Из глаз моих полились слезы. Я забылся...

Внизу на дороге я увидел клубы желтой пыли, услышал звон колокольчиков и громкие крики. Потя-

нулись возы со снопами — и конца им нет. А в первой телеге, мама, наверху, на шесте, сидит пташечка, та самая, что пела на тополе, — и клюет зерно. Доехав до реки, телеги остановились на берегу, но никто их не распрягал. Они ждали.

Кого ждали?

Я встал. Протер глаза, провел рукой по лбу: нет никого. Только внизу строят мост и перекликаются между собой каменотесы.

Я решил: пусть будет так, как мне суждено.

Вечером к источнику пришла моя Милка, наклонилась, чтобы наполнить медные ведра: странно блеснули ее сережки, когда я измерял ее длинную, черную тень.

Только месяц нас видел...

В ветвях зачирикала птичка. Котенок наострил уши и одним прыжком вскочил на оконце. Его глаза глядели в ночь, но ничего не видели. Больному мерещилось, что это все та же пташка. Все она у него в голове. Все ему слышится медовый голос колокольчика, который звенел на старом тополе, пока его не срубили. По ночам она прилетает и чирикает. Вот опять прилетела. Притаилась в темных листьях вишни. На оконце бьет лапкой серый котенок. Мать сидит, смотрит на сына и не верит. Как у него хватило духа погубить Милку?

— Пропади пропадом проклятый мост! Пусть буря его унесет!

Манол вскинул глаза на мать. Мягко посмотрел на нее и сказал:

— Зачем проклинаешь, мама? Ведь это я сам решил построить мост, — это я отдал ее, я накрепко запер в камень...

— Великий грех совершил ты, сынок!

Прояснились глаза мастера.

— А помнишь, мама, день, когда мы закончили мост? Это было в воскресенье. Какая гульба, какая радость! Из девяти сел собрались люди, чтобы отпраздновать открытие Росенского моста. Привели целую ватагу ребятишек, поглядеть на мост. Два чабана с Балкан, что пасли стада на Железном лугу, надули свои волюнки. Помнишь их? Один из них, тот, что с черными глазами, сватался к нашей Куне, а ты не захотела отдать ее чужим людям, в дальние края. А на той стороне, на полянке кипели казаны: девять яловых коров зарезали крестьяне. Внизу широко раскинулось Черкувское поле: и оно радовалось. Ласточки играли над нивами. Поле ждало пахарей — чтоб пришли они, да чтоб гикнули и врезали глубоко в землю старые грушевые сохи. А девушки наши чтоб засучили рукава, да замелькали у них в руках связки колосьев. Старики осматривали мост, стучали по нему палками, шупали холодный камень, говорили:

— Рука Манола сотворила чудо!

А какое это было чудо — знал я один.

Все веселились. Поднимая глиняные чаши и расписные баклаги, пили задравные тосты. Я молчал и не мог пить. Только глядел на толпу. Когда же волюнки завели рученицу, вскочили все, и стар и млад, и пустились в пляс. И завертелись в буйном хоро. Кто-то крикнул:

— Гей, а мастера-то забыли! Сюда мастера, пусть и он с нами попляшет.

Но еще не успела закончиться первая рученица, волюнки смолкли. Люди стихли, расступились, давая

дорогу. Я обернулся назад, мама, и вижу: несут покойника.

Ты знаешь, кого несли.

Я пошел на кладбище, чтобы бросить горсть земли,— да будет она легка Милке,— а когда вернулся, у моста продолжалось веселье, кружились хоро. Поднял баклагу и я, пил, пил и напился. И пустился плясать хоро. До полуночи веселились.

Развели костры, чтобы нам было светлее. Как черные огоньки горели глаза наших девушек. Я исходил тоской и буйным весельем. Думал: перестану о ней жалеть. Забуду Милку. Пьян я был, да простится мне это!

Ночью, когда пропели первые петухи, гуляки отравились спать. Всех разморило. Но я не лег. Сел на камень. Меня одолели тяжкие мысли, а о чем я думал, и сам не знаю. Сидел я так, и вдруг слышу, чей-то голос зовет меня из мрака:

— Мано-о-о-л!

А может, мне это показалось и никто меня не звал.

Я вскочил и побежал на голос, прямо в ночь. Месяц заливал поля желтой водой. Сколько я бродил, не знаю,— так глубоко я задумался. И вдруг вижу: на кургане среди поля стоит нагая женщина с распущенными черными волосами до пят.

Она пришла слева — видно было, как примяты хлеба. Откуда она пришла? Никто ее не слышал, никто не видел. Вокруг широкое поле, зачарованное пеньем кузнечиков, светом звезд. Кто знает, может это я был зачарован? Я пошел к ней, не спуская с нее глаз. Она ждала меня. И снова я услышал:

— Мано-о-о-л!

Где-то жалобно залаяли собаки. «Они задрали голову к месяцу и скулят, сами не зная почему,— мелькнуло у меня в голове.— Не знают». Я остановился, чтобы посмотреть на нее. И задрожал. Задрожали, заходили ходуном нивы. Кто эта женщина? Где я ее видел? Почему такими родными показались мне, мама, ее темные глаза, когда я в них гляделся? Она ласково вскинула их на меня и пошла мне навстречу. Она была красивая и белая. Никогда еще я не видел нагой женщины. Ее черные волосы вились и шелестели. Глаза обжигали меня. Нивы вдруг потемнели, а она протянула ко мне обнаженные руки.

— Как давно я тебя жду!

И как только она заговорила, я узнал ее: Милка!

Я вскрикнул. Нет, не вскрикнул. Мне стало страшно. Я бросился назад по полям, она за мной.

— Почему ты убегаешь, Манол? Мы же с тобой сегодня обручились. Разве ты не видел, сколько пришло людей из всех сел? Поздравить нас пришли! Сыграли свадьбу.

И я услышал, как она весело рассмеялась. Так смеялась она всегда. Помнишь, мама, Милку, дочь деда Ноя?

Я упал.

Ее мягкие волосы душили меня...

Глиняная лампадка мигнула и погасла. Месяц скрылся за вишневым деревом. Старуха мать гладила лоб больного и тихо плакала. Котенок гонялся за тенями на белой улице. И где-то вдалеке ходил по полям невидимый посланец облаков и спрашивал у

хлебных колосьев, нужна ли им вода. И колосья ему отвечали.

— Обещай мне, мама, как пойдешь в субботу на кладбище, загляни на ее могилку. Попозже, когда все разойдутся. Скажи ей: вот уже три года течет Росица и омывает большие камни моста, что я построил. Разве не смыла еще она мой грех? Спроси, мама, она тебе ответит, прощен я или нет.



ЛЖИВЫЙ МИР

Так говорил Момчил:

— Стань передо мною, Бойка, дай насмотреться на тебя, возьми на руки сыночка нашего Дамянчо, хочу порадоваться на него глядячи. Улыбнись, маленький мой юнак, дай взглянуть на перламутровые твои зубки. Вон они! Люли-люли-люленьки! Ишь как смеется! Нет, ты погляди только! Птенчик мой родненький! Вернусь из Одрина, привезу ему соболью шапочку и желтые сапожки, чтоб по снегу бегать. Три месяца... К этому времени мой сынок ходить начнет. Подъеду к дому — ты выбежишь мне навстречу, а мальчонка — впереди тебя. Смотри за ним хорошенько, Бойка!

— А мне какой привезешь подарок из Одринграда?

— Тебе? Ну, тебя-то уж я не забуду. Куплю ожерелье жемчужное, чтоб каждая бусинка точно капля росы сверкала у тебя на шее.

— Только ожерелье?

— Чеканный пояс тебе куплю, чистого серебра. Я знаю в Одрине одного золотых дел мастера, в

темной улочке, возле мечети Султана Селима. Он делает серебряные пряжки, чеканит на них летящих птиц. Крылья раскинут, машут, словно живые.

— А еще что?

— Привезу тебе еще один дар — в седле.

— Какой?

— Не скажу.

— Скажи, Момчил, — взмолилась Бойка, капризно надув губки и подходя ближе к его коню.

— Ладно, скажу, только на ухо. Подойди-ка еще поближе!

Бойка приблизилась. Момчил приник губами к мягким ее волосам, сладкий комок подкатил к горлу. И шутливо прошептал:

— Самого Момчила тебе привезу.

Молодая женщина рассмеялась громко, звонко и безмятежно. Заколыхался стройный стан. Смех рассыпался точно золотые пшеничные зернышки, брошенные щедрой рукой сеятеля. Она взметнула свои длинные золотистые ресницы, и из-под них глянули подернутые поволокой дивные золотисто-зеленые глаза. Глаза эти кружили голову, волновали кровь.

Сердце Момчила отозвалось, откликнулось.

— Я здесь, я ваше, — ответило оно золотисто-зеленым очам.

И всадник, счастливый, протянул обе руки, чтобы обнять жену. Но конь под ним дернулся, вскинул голову, вздыбился и высек из булыжника сноп искр. Бойка в испуге отпрянула.

— Осторожней, раздавишь.

Момчил вздохнул.

— Товарищи мои, должно, уже перевалили через

Мержанов холм, овечьих колокольчиков больше не слышно. Пора и мне в путь, а не хочется. Так хорошо с тобой! Прощай, женушка!

— Прощай, Момчил, в добрый час! Твой друг Иван тоже едет сегодня?

Момчил исподлобья взглянул на нее.

— Второй раз о нем спрашиваешь. Нет, не едет он сегодня. Чорбаджийские сынки тяжелы на подъем. Тетка твоя Златарка захворала. Иван остается еще денька на два, нагонит нас потом, по дороге во Фракию. Но отчего у тебя нынче все Иван на языке?

— Не хочу, чтоб ты один ехал лесами — там разбойников полно. Не хочу, чтоб ночь застала тебя одного у татар.

— А что такого, если и застанет? Иван, что ли, будет мне защитой? В татарском селе есть у меня дружок — еще с тех времен, когда мы с отцом там бывали. Готов за меня и в огонь и в воду. Его хозяйка умеет гадать: и по руке, и на кофейной гуще. Как по писанному все читает: и что было, и что будет. На обратном пути приглашу их к нам погостить. Прошлый год, как проезжал я там, рассказывал им о тебе. Очень хотят повидать тебя. Непременно приглашу их к нам в гости.

— Кого?

— Татар.

— Очень они мне нужны. Не желаю я, чтоб иноверцы переступали мой порог. Еще чего вздумал, татар приводить!

«Иван тоже не любит татар», — мелькнуло в голове у Момчила.

— Дай-ка руку! — сказал он.

Бойка протянула руку. Широкий рукав рубахи сбежал к плечу, обнажив руку — белую и нежную. Момчилу нестерпимо захотелось погладить ее, но он сдержался.

— Слушай, что я тебе скажу. Пойдешь проводить тетку, не надевай того елека из тонкой материи, в обтяжку, который я привез тебе прошлой весной; не надевай золотого мониста и не прищуривай глаз, если Иван станет на тебя поглядывать.

— Почему такой наказ?

— Потому что ты красивая.

— А что в этом плохого? — попробовала отшутиться Бойка.

— Загорится он.

— Кто?

— Иван. Я его знаю — не устоит.

— Но меня ты тоже знаешь.

— Знаю, потому и говорю.

— Что ты хочешь этим сказать? — с укором глянула на него Бойка. В зеленых глазах вспыхнул огонь. — Господи, и не грех тебе? — И две слезинки, две изумрудные дождевые капельки сверкнули на ее ресницах. — Так-то ты прощаешься со мной! В долгий путь отправляешься, а сам норовишь побольней уколоть, — проговорила она сквозь слезы. — Почему б тебе не остаться еще на день? Оставайся, покуда не уедет Иван!

Момчил стал нежно гладить ее мягкие волосы, наклонился с седла, коснулся ее лба губами, вдохнул ее теплое дыханье и вытер ладонью слезы, струившиеся по смуглым щекам жены.

— Не сердись, не сердись на меня, — проговорил

он,— ты ведь знаешь, как я боюсь тебя потерять. До свиданья, голубка!

Он тронул коня, выехал в отворенные ворота, поскакал вверх по извилистой каменистой улочке и исчез за тенистыми кронами придорожных деревьев. Две птички, вспугнутые топотом его коня, выпорхнули из листвы и взвились в небо. Бойка с ребенком на руках стояла в воротах до тех пор, пока не высохли на ее щеках слезы. Потом повернулась и легкой походкой пошла к дому. Но прежде чем ступить на крыльцо, протянула руку через ограду палисадника, сорвала красный алтей и прикрепила цветок к волосам.

* * *

Над татарской деревней кровавый рог молодого месяца лил трепещущий свет на стройные скирды пшеницы, выстроившиеся на чисто выметенном гумне златодольского татарина. Момчилова отара заполнила весь двор, мирно улеглись у ворот черные овчарки, фыркал привязанный посередине двора, под грушей, конь. Все спали: работники татарина — под скирдами, возле молотилок, а утомленные долгой дорогой Момчиловы товарищи — в душной, несмотря на распахнутые окна и двери, избе. Спали уморившиеся в долгом переходе овцы, спали куры на ветвях груши — издали они казались огромными черными плодами. Один лишь Момчил не спал. Он лежал на крыльце и смотрел на плетень, огораживавший гумно — там, над воротами, белели насаженные на колья два черепа с пустыми глазницами. Сердце щемила тоска: воротись назад, воротись!

А Момчил беззвучно шептал:

— Я так люблю тебя! Но твое сердце — что пташка. Ускользает оно от меня. Вспорхнет мне на плечо, глянет дивным взглядом, всколыхнет мое сердце, душу перевернет. Начнет щебетать — я стою, онемев, слушаю, а вокруг разливаются медовые струи, гонит облака весенний ветерок. Рука моя жаждет приласкать тебя, пересохшие губы ищут твоих свежих уст. Протягиваю к тебе руки, но не успеваю коснуться, как ты улетаешь — вот уж и исчезла в чаще дней и лет. Только трепет листьев да капли росы, что соскальзывают с раздвинутых ветвей, говорят о том, что ты там. Но где же ты?

А Бойка смеется в ответ. О, ее смех!

— Что ты выдумываешь? Здесь я, обними меня покрепче! У тебя большие, сильные руки, а ты не смеешь схватить меня и так сжать в объятиях, чтоб голова пошла кругом, чтоб в глазах потемнело. Боишься. От чего ты боишься?

— Боюсь, потому что знаю: потеряю тебя.

— Ничего ты не знаешь. И уж коли на то пошло, у меня больше причин бояться: в Одрине полным-полно белолицых ханум, а ты красив и молод...

Момчил приподнялся. Он обидел ее на прощанье. Бойка, верно, лежит сейчас, уткнувшись лицом в подушку, и плачет. Его жена как листочек осины: трепещет от малейшего дуновения ветерка. И чуть что — слезы рекой. Вернуться, стереть ее слезы, сегодня же ночью, сейчас же! Он обнимет ее крепко-крепко, чтоб голова закружилась... Момчил встал. Сошел с крыльца, глянул вверх, на далекие крохотные светлячки

звезд, отыскал Наседку¹. Только-только выплыла она со своим выводком на небо. Разбежались цыплятки по звездному полю, зерна клюют. Не пройдет денница и половины своего небесного пути, как он уже доскачет до дому. А покуда квочка созовет своих птенцов и уйдет за горизонт, он уже снова вернется сюда, еще до рассвета. Никто и не догадается, где он был. А если, паче чаяния, запоздает — что ж, подождут, не разбегутся же его овцы.

Он торопливо отвязал коня, повел его между спящих овец. Овцы зашевелились. Колокольчик звякнул спросонок и тут же затих, вновь погрузившись в сон. Момчил отпер ворота. Неслышно отодвинул деревянный засов, вывел коня. Притворил за собой ворота и взлетел в седло. Раздался топот копыт. Момчил скакал через холмы, через глухие, темные долины и колдовские лесные поляны, посеребренные светом месяца и звезд — домой, домой, отереть слезы любимой...

Когда остановился он у ворот своего дома в безмятежно спавшем среднегорском городке, взмыленный конь его шатался и хрипел. Вокруг царило безмолвие. Только какой-то кузнечик сонно стрекотал в виноградных лозах, распластавших свою тень над половиной двора. Сквозь лозы пробивался слабый, приглушенный свет: в Бойкином окошке горел огонь.

Момчил тяжело перепрыгнул через ограду. Большой белый пес ринулся к нему, залаял, но, узнав хозяина, сразу умолк. Остановился перед ним, радостно завил хвостом, стал ласкаться. Момчил прошел под темными виноградными лозами, с шумом взбежал на

¹ Так в народе называют созвездие Плеяды.

крыльцо, громко постучал в дверь. Никто не отозвался. Он ударил кулаком второй раз, третий.

— Кто там? — долетел сквозь замочную скважину испуганный голос Бойки.

— Это я, Бойка.

* * *

Дверь распахнулась, и Момчил вошел в дом. Перед ним стояла Бойка. Глаза ее затуманены страхом, усталостью и чем-то еще — он хорошо знал, чем... Сердце Момчила обожгло недобрым огнем. Черные ее, мягкие волосы в беспорядке — точно только что скошенное сено. Мужская рука перепутала эти пряди. На плече еще виднеются два красных пятнышка. Отчего не закроет она плеча? Эта женщина так истомлена и так прекрасна! Она вскочила с постели, вспугнутая ударами кулака в дверь. Идет ему навстречу. И по ее губам даже скользит призывная улыбка.

— Отчего ты вернулся?

Момчил задрожал. Он теряет ее. Еще мгновение — и он начнет кричать, крушить и рушить все вокруг. Но в тот самый миг, когда рука его поднялась для удара, в соседней комнате раздался нежный голосок разбуженного ребенка. Этот голос остановил его, умирил кровь, — как ласковое материнское увещанье. Разорвал черную пелену, застилавшую очи — так весеннее солнце разрывает дождевую тучу.

— Я приехал увидеть сына, — отвечал он. — Вечером, когда приехали мы в татарское село, старая татарка погадала мне на кофейной гуще. «Этой ночью, — сказала она, — вспыхнет в доме твоим огонь, займется все твоё добро. Скажи, спасай невинную душу мла-

денца!» Сказав эти слова, она бросила чашу оземь и разбила ее вдребезги, дабы не сбылось предсказание.

— И поэтому ты оставил и отару и пастухов? Поверил какой-то полоумной старухе. Ну и смешной же ты, Момчил! Погляди — и дом твой цел, и я...

Она потянулась, чтобы обнять его, но снова раздался голосок Дамянчо из колыбели. Момчил отстранил жену:

— Ступай, погляди, что с ребенком.

Бойка словно только того и ждала. Побежала назад, в комнату. Рубаха ее прошуршала.

Момчил продолжал стоять посреди комнаты. Поднял руку, отер со лба горячий пот, смахнул с глаз какую-то пелену, которая все еще мешала ему отчетливо разглядеть его собственное жилище, и бросил взгляд на очаг. Видно было, что с вечера там пылал сильный огонь. Толстый слой прогоревшего угля поблескивал точно горстка золотых монет. Его жена кого-то угощала. А теперь лишь недвижный белый пепел лежит на углях. В беспорядке свалена посуда. Пир окончен, огонь угас. Дверь в комнату напротив чуть притворена. Там Бойка кормит любимое его дитя. Его сына. Яркий свет падает на деревянный буковый порожек. Свеча в комнате почти догорела. Отчего не погасили они свечу, когда легли?

Он шагнул вперед. Толкнул дверь и прежде всего увидел постель. Разворочена. Одна подушка упала на пол и на ней явственно виден отпечаток тяжелой ноги. Так, во всяком случае, показалось Момчилу. Бойка сидит у колыбели спиной к нему. Кормит ребенка. Какая нежная, заботливая мать. А ночь глухая. Ни звука кругом. Лишь далекий крик петуха, тщетно пытающе-

гося расколоть плотную тишину ночи, да сладкое по-сапывание Дамянчо, сосущего теплую материнскую грудь. И ничего больше. Из-под откинутого одеяла видны серебряные ножны острого пастушьего кинжала. Этот кинжал Момчил когда-то привез из Одрина. Купил у одного чеканщика в подарок своему другу Ивану. Какой тонкой работы ножны у этого обоюдо-острого клинка! Вьется по ним стебель цветка, бутоны набухли — ну совсем как живые, готовы вот-вот распуститься. И на самом верху — бутон. Но какой цветок распустится — не понять, и это-то и есть самое удивительное.

— Положи ребенка и позови Ивана из той комнаты, — бросил Момчил. Голос его прозвучал глухо, словно откуда-то издалека. Глухой этот голос сковал женщину, словно льдом.

Она опустила — не опустила, уронила ребенка в колыбель и выпрямилась, — белая как полотно. Попыталась солгать:

— Что ты говоришь? Зачем Ивану быть в той комнате?

— Не знаю, зачем он сюда пришел, ступай позови, пускай сам скажет, — все тем же голосом ответил Момчил.

Бойка закусила губу. Шатаясь, покорно пошла к двери в горницу и распахнула ее. Свет хлынул в темную комнату и озарил усталые ковры, лавки, вышитые подушки, потемневшие от времени картины на стенах, низкие трехногие табуреты. У окна неподвижно, точно окаменев, стоял Иван. Без шапки. В вышитой рубахе, в расшитой серебром арнаутской абе с золотыми в два ряда пуговицами, круглыми как спелые

виноградины. Опоясан голубым кушаком. Разодет по-праздничному. Момчил подошел к нему. Впился взглядом в стройный ряд золотых пуговиц на его абе.

— Зачем ты пришел в мой дом среди ночи?

Молчал Иван.

— Зачем, точно вор, проник среди ночи в мой дом? — повторил Момчил.

— За Бойкой пришел.

— За Бойкой? Мать у тебя помирает, и ты пришел за Бойкой, чтоб она попрощалась со своей теткой. Это ты хорошо сделал. Садись.

— Тороплюсь.

— Не торопись. Я тоже хочу повидать бабушку Златарку, тетку моей жены. Вчера вечером, когда проезжал темным лесом, все о бабушке Златарке думал. Забыл, уезжая, попросить ее — коли повстречает на том свете моего отца, пусть передаст ему, что я живу хорошо. Новый дом себе выстроил. Жену нашел пригожую, домовитую, верную. Богатого приданого она не принесла, но зато родила мне сына — дороже всех сокровищ. Пускай отец в могиле за меня порадует.

Иван смотрел на него, совсем уже сбитый с толку.

— Садись. Так что я хотел тебе сказать? Вчера перед отъездом наточил я свой клинок. Надобно всегда иметь при себе оружие, потому что в наших краях полно разбойников. А ты свой кинжал наточил? Берегись, Иван, берегись!

Рука Ивана рванулась к поясу. Охватила его тревога. А Момчил задумался. Сгорбил он — словно камнем придавили его тяжкие думы. И вдруг ощутил нестерпимую жажду. Губы пересохла, потрескались.

— Погоди, выпьем по глотку вина. Сперва выпьем, а уж потом пойдем. В последний раз выпьем с тобой. Когда встанем из-за стола, все уже проснутся в селе, но никто не увидит, как мы выходили из этого дома. Все вместе выйдем. Бойка, нацеди жбан вина из бочонка. И подай сюда, а то я сгорю от жажды. Говорил ведь тебе: пожар полыхает...

Бойка бесшумно выскользнула из комнаты.

— Какая темень! — лихорадочно говорил Момчил. — Месяц взошел на небе, но он мертвый, не светит. И свеча в той комнате догорает. Отчего ж померк в этом доме свет? Слышишь? Старые грешники отдают богу душу и как пропоют третьи петухи, кто-то улетит ввысь, покинет этот лживый, лживый мир... Но зачем я говорю тебе это?

Он умолк. Подпер голову обеими руками — она стала такой тяжелой и словно готова скатиться с плеч.

Так же бесшумно, как вышла, босиком, на цыпочках вошла Бойка и поставила перед ними жбан с темным пенистым вином. Принесла стаканы. Момчил зачерпнул вина, поставил перед Иваном чарку. Наполнил другую и поднял ее, не чокаясь с гостем, не пожелав здоровья. Обернулся к жене. Она стояла, не сводя с него глаз, расширившихся от темного, животного страха. Лишь теперь заметил он, что она стоит перед ним и посторонним женщиной в одной рубахе. Его бросило в жар.

— Пей! — закричал он Ивану, и голос его заполнил всю комнату. — Видишь, какое темное вино? Точно кровь старого буйвола!

Он засмеялся, и страшен, дик был его смех.

Иван поднял чарку, пригубил вино и хотел было встать.

— Погоди, куда ты? Нас с тобой ждет еще одно дело. Хочу спросить тебя кое о чем. Ты человек умный. Весь в отца. Отец у тебя пьет кофей с самим Одринским пашой, и счету нет его отарам. Дай мне добрый совет. Ведь не даром же говорят, что друг познается в беде.

— Какого ты ждешь от меня совета? — спросил Иван, все еще не в силах понять, знает Момчил или не знает.

— Слушай. Была у меня хорошая нива. Купил я ее. Отдал за нее все, что имел. Вспахал я эту ниву, и принесла она мне видимо-невидимо густого, тонкого проса. Обнес я ту ниву высоким-невидимо плетнем и все лето стерег от потравы, точно зеницу ока берег. Росла на той ниве ветвистая груша, на той груше — гнездо, а в гнезде день и ночь щебетала золотоголовая пташка. День и ночь... Ходил я по своей ниве, слушал как зачарованный свою пташку, и не было на свете человека счастливей меня. Точно в сказке текла моя жизнь. Но однажды ночью, когда просо мое созрело, пришел я к моей ниве и знаешь, кого там застал? Быка застал! Ходит бык и топчет мою ниву, просо мое пожирает. Скажи, вот ты умный человек, что мне делать? Сжать ли то просо или того быка заколоть?

Заметался Иван точно рыба в неводе, что накинул на него Момчил. Он все понял. Лицом к лицу встала перед ним обнаженная правда, и он не выдержал.

— Коли убьешь быка, — ответил он, — другой бык повадится твою ниву топтать. Хочешь моего совета? Скажу — надо просо сжать!

— Просо?! — взревел Момчил и вскочил на ноги. Раскатами грома гремел его голос, зловещими молниями сверкали глаза. — Ты хочешь, чтобы я просо сжал? А знаешь ли ты этому просу цену? Видишь теперь, — обернулся он к Бойке, — с каким человеком ты спала эту ночь? Я пушинке не давал на тебя упасть, а он тебя толкает под нож, лишь бы собственную шкуру спасти! Нет, Иван, я так думаю: верней всего будет и быка заколоть, и просо сжать. Разом за все рассчитаться. И не мешкая. Нынче же ночью!

Глаза его налились кровью. Толкнув дверь ногой, он вошел в соседнюю комнату. Наклонился, поднял с кровати Иванов клинок. Вытащил его из ножен. В этой сверкающей полоске стали увидел он свое спасение — как моряк, стоя на палубе тонущего корабля, видит спасение в мелькнувшей вдали полоске берега. Обернулся Момчил, Иван стоял у стены — бледный, словно мертвец. Бойка по-прежнему не сводила с мужа обезумевших глаз. Глаза эти молили: пощады! Пощады? А разве вы пощадили меня, когда... Дом зашатался... Затрещали стены, потолок обрушился, пол ушел из-под ног. Вино из жбана разлилось лужей крови на пестром ковре, потекло к двери, обагрило порог. Не вино это — кровь человеческая!

Он выпустил ножны из рук. Они упали, громко звякнув о железную подкову, приколоченную на счастье у порога горницы. Звон разбудил спавшего в колыбели ребенка. Мальчик спросонья захныкал, заскулил, как котенок. Момчил вздрогнул. Остановился. Заглянул глубоко в собственное сердце. И какой-то внутренний голос сказал ему:

— Оставь, не безумствуй! Подумай о невинном

младенце, что лежит в колыбели. Как переступит он труп матери, когда вырастет и придет ему пора выйти к людям? Побежит жизни навстречу, споткнется о него, упадет и разобьет нежную свою головку. А когда поцелует отцовскую руку, на губах его навеки останутся пятна крови. Будь другом мне, Момчил, послушай меня!

Рука Момчила еще сжимала кинжал, но он уже сдался.

— Хорошо,— ответил он голосу сердца,— я слушаю тебя.

Выпустил из рук кинжал и глухо проговорил:

— Убирайтесь оба из моего дома!

Иван, как безумный, смотрел на него, не веря своим ушам.

— Вон! — в ярости крикнул Момчил.

Ночной гость и Бойка неслышно проскользнули мимо него и исчезли. Дом опустел. Момчил прошел в соседнюю комнату и упал на колени перед колыбелью сына. Наклонился над ребенком. Завидя отца, мальчик приоткрыл крохотный свой ротик, сверкнули два перламутровых зубика. Протянул ручки, пытаясь поймать длинные отцовские усы.

Момчил нежно погладил сына.

— Только ты у меня остался! — промолвил он. Горестный комок подкатил к самому горлу. Крупные, чистые слезы хлынули из глаз и залили счастливое личико Дамянчо.



ИВАН КРАЛЕВ

они ехали из Мержанова в санях, запряженных белыми конями, увешанных звонкими бубенцами. Скрипач держал вожжи, рядом с ним сидела его юная невеста. Позади них — два усатых здоровяка с добрыми синими глазами, оба в мохнатых шапках — мержановские пастухи — Горан и Петко, братья невесты.

Стремительно мчались кони, пели, заливались бубенцы — словно птицы в белом весеннем саду. Невеста обеими руками держалась за правую руку своего жениха, в дом которого ехала невенчанная, а братья-богатыри подталкивали друг друга локтями и добродушно посмеивались. Любо им было, что едут они в санях, запряженных белыми конями, что едут они в Кладницу, куда издавна не ступала нога ни одного жителя Мержанова, и что сестренка их выходит замуж за такого славного скрипача, как Иван Кралев. Девушка думала о незнакомом свекре, который встретит их во дворе своего дома, радостный, улыбающийся; о подарках, которыми он одарит ее, и о высоком

памятнике на площади, как раз напротив ворот девушки Кралю.

За ними по мягкому снегу тянулся след двух полозьев. Это были первые следы, проложенные за шестьдесят лет между двумя враждующими селами — Мержановом и Кладницей. Когда-то, много лет тому назад, широкая, наезженная дорога соединяла оба села. Вереницы людей и телег проходили по той дороге. Осенью, в канун Димитрова дня, жители Мержанова доверху нагружали запряженные буйволами телеги большими кулями с овечьим сыром и маслом, мешками с яблоками, всевозможными изделиями из дерева (Мержаново славится своими дремучими лесами) да ехали менять на золотое зерно из кладницких закромов. Жители Кладницы привечали их как родных, в дом зазывали, поили, кормили, радовались. Белыми зимними ночами кладницкие парни верхом отправлялись красть мержанских девушек, прекрасных, точно лесные русалки. И родственные узы, связывавшие эти села, год от году становились все крепче и крепче. Так было когда-то, до того страшного летнего дня, когда в Кладнице посреди площади насадили на кол голову воеводы Стояна Кралева, а вокруг, словно снопы на току, свалили трупы сотни его юнаков. В то самое лето узы, соединявшие села, вдруг разом оборвались, и дорога между ними опустела, поросла травой. Ни души не видно было больше на этой некогда оживленной дороге. Подошла вторая весна, ливни размыли ее, и стала она похожа на открытую рану. Прошли ливни третьей весны, и рана сделалась еще шире, еще глубже. Рана эта зияла и ширилась целых шестьдесят лет, покуда не превра-

тилась в глубокий, сухой овраг. По краю этого оврага и неслись сейчас вихрем, запряженные белыми конями, легкие сани с женихом и невестой.

Подъезжая к Кладнице, Иван Кралев взмахнул кнутом и гикнул, братья невесты тоже весело закричали, а девушка привстала, чтобы взглянуть на село, которое должно было стать для нее родным. Окруженное со всех сторон крутыми скалами, лежало оно, как в гнезде, на снежной пуховой постели. Сердечко ее забилося. Вдруг, словно из-под земли, перед самими конскими мордами вырос высокий, статный человек в солдатской папахе, с ружьем за плечами, схватил коней по уздцы и остановил сани:

— Стой! Куда?

Он метнул на девушку свирепый волчий взгляд. Та смутилась, беспомощно оглянулась и села.

Удивленно спросил Иван Кралев:

— Зачем ты остановил мои сани, Караметак? Прочь с дороги, дай проехать!

— Из Мержанова они?

— А хотя бы и так — тебе что за дело?

— С этими людьми ты в Кладницу не въедешь, — ответил человек с волчьими глазами.

— Кто тебе сказал, что не въеду? — тихо произнес скрипач. Голос его дрогнул. Он замахнулся кнутом, чтобы хлестнуть Караметака по голове, но рука замерла в воздухе: в этот самый миг на деревенской церкви ударил колокол. Пастухи скинули шапки, залились лаем деревенские собаки, и откуда ни возьмись выскочила на околицу тьма-тьмушая народу, человек сто — мужчины, женщины, дети. Они столпились вокруг саней, преградили дорогу.

Снег почернел от людей. Раздались возгласы:

— Не бывать тому, не пустим невесту из Мержанова! Вези обратно!

— В уме ли ты, Иван? Как взбрело тебе в голову привезти в село это вражье семя!

— Нешто мало в Кладнице пригожих девушек!

— Слушайте, православные! Если эта женщина войдет в наше село, огнем выжжет наши поля, градом побьет посевы, чума поразит детей наших — помните мое слово! Можно ли нарушить, втоптать в грязь клятву народную, можно ли, я вас спрашиваю?

— Нет! — закричала в ответ толпа.

— Кто преступит народную клятву — того вон из села!

— Господь все видит, все знает, не простит он, коли нарушим мы свою клятву!

Молчал жених. Молчал Иван Кралев. Молчал скрипач, целых десять лет игравший для этих людей на свадьбах, хоро и посиделках, щедро, от всего сердца, отдавая им самое драгоценное, что может дать людям музыкант — свои песни. Смотрел он на них и не узнавал. Неужто это те самые люди, что украдкой смахивали слезу при звуках грустных старинных песен? Неужто это они, украсив себя цветами, весело и лихо отплясывали под его скрипку праздничное хоро? Нет, не они это!

Тихо падал мелкий снежок и засыпал разъяренных людей, белых коней, свадебные сани. В белоснежном свадебном уборе утопала впереди Кладница, а Мержанова и не видать, словно в снегу растаяло.

И когда понял он, что нет среди этих людей ни одного близкого ему человека, который раздвинул бы

толпу и освободил для него дорогу, Иван обернулся назад и сказал:

— Дайте топор!

Голос его был все так же тих и взволнован. Один из пастухов нагнулся и подал ему топор. Крепко стиснула топорище рука, привыкшая дотоле держать только смычок. Поднялся Иван Кралев, выпрыгнул из саней.

— Слезайте и идите за мной, я проложу вам дорогу! — обернулся он к своим спутникам и погладил по щеке невесту, которая со страху была ни жива ни мертва. — Не бойся, любушка, не бойся! Они одумаются.

Он поднял топор над головой и закричал страшным голосом — никогда не видели кладненцы таким своего скрипача.

— А ну, прочь с дороги! В куски изрублю всякого, кто попадется мне под руку! Будете знать, как останавливать свадебные сани... Выходи! Погляжу я, кто посмеет встать мне поперек дороги!

Толпа дрогнула. Дети и женщины испуганно закричали, мужчины отступили назад. Путь был свободен. Но тут навстречу Ивану вышел его отец, староста Кладницы, и сказал:

— Я!

Иван застыл, словно громом пораженный.

Спросил его дед Кралю:

— Иван, Иван, что же ты делаешь? В уме ли ты? Ну, руби меня! Руби, коли хочешь пройти!

Скрипач недвижно стоял, занеся топор над головой родного отца. А тот положил ему на плечи свои негнувшиеся старческие руки и старался заглянуть сыну в глаза. И когда взгляды их встретились, страш-

ная пелена, затмившая белый свет, вдруг упала с глаз Ивана. Конь за его спиной замотал головой, отряхивая снег, и, ударившись друг о друга, зазвенели два медных бубенчика.

Старик знал, как любит его сын.

— Опустит топор! — тихо приказал он. — Слышь, опусти!

Иван покорился и бросил себе под ноги тяжелый топор — грозу вековых Мержановских лесов.

— А теперь послушай, я расскажу тебе о том дне, когда турки учинили резню в Кладнице. Ты послушай сперва мой сказ, а уж там поступай как знаешь. Бабка твоя когда-то рассказывала тебе о том, да ты, видно, запамятовал. А не дело, сынок, забывать про это. Ты позабыл, а вот эти люди — не забыли. За что ты на них злобишься? И не только злобишься, а вон с топором на них пошел. Как же ты мог? Дома у нас, Иван, в большом расписном сундуке, на самом дне спрятана потемневшая уже от времени повстанческая кокарда — золотой лев. Видал ты его? Я тебе показывал. Знаешь, кто носил его на шапке? Это все, что осталось от деда твоего, славного повстанца, Стояна Кралева. Ты его помнить не можешь, потому что, когда ты родился, над его могилой вот уже тридцать пять весен расцветала ветвистая яблоня. Орел был отец мой, Стоян Кралев, богатырь! Как живого вижу его: стоит на камне посреди площади, с обнаженной саблей в руке и держит речь перед своей дружиной. На голове белая шапка, на шапке — павлинье перо, а надо лбом — золотой лев сверкает. Как лев защищал Стоян Кралев со своими побратимами большой каменный мост через Тунджу. Три дня и три ночи

сдерживали они натиск башибузуков, и даже птице не пролететь было к взбунтовавшимся селам... Ты не думай, Иван, что родной отец не понимает тебя. Раз уж полюбил ты эту девушку из Мержанова — вези ее в Кладницу. Я тебе отец, я понимаю тебя и разрешаю. Но я, староста села, дед Кралю, не могу этого позволить. Убей меня, изруби на куски, перешагни через мой труп — только тогда войдешь ты в село. И она пусть переступит через меня, и братья ее в мохнатых шапках — хоть все Мержаново приводи! Но даже если зарубишь меня, я и мертвый встану, чтобы не дать тебе осквернить память Стояна Кралева, воеводы, отца моего! Потому что ведомо тебе, кто его загубил. Рассказывали тебе, как башибузуки со всех сторон осадили наше село, как обрушили на него огонь и каменья. Пули градом сыпались на крыши домов, но наши юнаки яростно защищали родное гнездо. Девять дней держалась Кладница. Видишь вон те белые скалы? Замечал ты, как чернеют они осенью, когда тучей сядет на них воронье? Так почернели они тогда от полчищ башибузуков. Оставляя за собой ограбленные, залитые кровью, выжженные села, со всех сторон стекались они сюда, к Кладнице, точили кривые свои сабли и ждали, когда обессилит Стоян Кралев и выкинет белый флаг. Но Стоян Кралев не поднял белого флага, не сдал села. Загубил наше село изменник из Мержанова. Он привел башибузуков к родникам, которые давали воду чешмам Кладницы. Погубил нас кровопийца, подучивший башибузуков в пору нестерпимого зноя отвести воду и уморить изнывавших от жажды в осажденном селе малых ребятишек, перепуганных женщин,

древних старух и уставших от битвы воинов. Не смеешь ты, Иван, приводить к нам в село эту девушку. Не смеешь! В ту ночь, после резни, принесли мы клятву и крест целовали на том, что не уйти живому ни одному мержановцу, который осмелится ступить в наше село. Страшная то была ночь! Горит багровое небо, горят люди, горят поля, горят богатые села. До сих пор я чую запах пороха. Все, что у нас было, пожгли дотла. И на площади — там, где теперь братская могила и яблоня — свалили они друг на дружку тела ста павших в бою юнаков, а поверх той горы насадили на кол голову моего отца. Страшная то была гора! Как вспомнишь, сердце обливается кровью... Зачем терзаешь меня, сын? Но ты не осквернишь святой могилы. Мой сын не сделает этого. Скажи, ведь не сделает?

Скрипач смотрел, как в волненье размахивает перед ним руками отец, как утирает слезы и иступленно, весь дрожа, молит его. Долго раздумывал он, прежде чем ехать в Мержаново — знал, что все село ополчится против него. Но села он не боялся. Надевался на отца. Неужто старик в конце концов не поймет его и не распахнет перед свадебными санями ворот села? Но когда отец встал перед ним, заступив дорогу, словно земля разверзлась у него под ногами, словно скала на него обрушилась и в ссадинах, в крови выбрался из-под груды камней Иван.

— Прости меня, отец, — глухо сказал он. Голос его, казалось, доносился с того света, его невозможно было узнать. — Пусть и люди из Мержанова простят меня... Поезжайте с миром, Горан и Петко, возьмите свою сестру и возвращайтесь к себе в село. Она моло-

дая, красивая, честь ее незапятнанна, вековавшей она не останется.

Иван Кралев протянул к ним руки в знак прощанья. Он весь дрожал. Рука его коснулась мягких, как шелк, волос златоокой девушки, и пальцы затрепетали, замерла рука. Брызнули из глаз слезы. Скрипач отер глаза рукавом, и они сразу стали сухими.

— Простите меня и вы, побратимы мои добрые из Мержанова, виноват я, велика моя вина, нанес обиду вашему дому. До смертного часа не прошу себе этого.

Братья подняли на руки помертвевшую от горя невесту, усадили в сани. Петко повернул коней, хлестнул кнутом. Бубенцы жалобно вскрикнули, как воробышки, на которых ринулась с неба хищная птица.

Снег, успевший заровнять первые следы от полозьев, торопился замести свежий след. Словно ничего никогда и не было.

Толпа потянулась к селу. Иван шел вместе с односельчанами, но мысли его были не здесь, не с ними. Ничего не видел перед собой горестный жених, ничего не слышал, безмолвная тишина опустилась на землю, и молча ступал он по рыхлому снегу.

Вдруг перед ним встала какая-то старая женщина:

— Зачем же ты, сынок, отправился по вражьим селам жену искать? Мало разве невест у нас в селе? Погляди до чего хороши наши девушки, ровно пионы в цвету. Что тебе не выбрать среди них цветок, не украсить дом деда Кралю?

Она показала на стайку девушек, которые, шушукаясь, поглядывали на него.

И впрямь, до чего хороши девушки в Кладнице! Румяные, как пионы. Но Ивану не по сердцу были пионы.

— Сыграй нам хорошо, Иван, спляшем! Будет печалиться — нынче небось праздник господен! — крикнула одна из девушек.

— Сыграй, сыграй, Иван! Подумаешь, велика беда, нет здесь ее, зато мы — вот они! — откликнулась другая.

— Не тужи, скрипач, не тужи!

— Сходите кто-нибудь ко мне домой за скрипкой, — проговорил Иван. Он был как во сне. На сердце — холод. — Принесите скрипку! — повторил он и вновь погрузился в глухое безмолвие. Как сразу опустел мир. Ни единого близкого человека. Одинока душа человеческая. Сиротой бродит она по свету, словно слепец, вытянув перед собой руки, пробираясь на ощупь во тьме, ищет родные объятия и не может найти. Кто откроет перед нею дверь своего дома, кто приютит ее, застигнутую ночью в чужом, далеком селе?

Он заиграл. Ринулись в вихревое хоро люди. И сразу заулыбались. И в веселой пляске позабыли горе-тоску, втоптали ее в снег, на душе полегчало, сердца раскрылись для радости. Заглушая звуки скрипки, лихо гикнули парни, завели задорную заводную девушки. Улыбнулся Иван Кравец.

Незаметно подкрались сумерки. Мрак окутал заснеженное село. Хорошо постепенно редело, и вечерняя мгла проглатывала людей одного за другим. И когда скрипач остался один, он перестал играть и долго смотрел на тусклые желтые глазницы деревенских домов, прикорнувших под снегом. Он сел прямо в снег, положил на колено верную свою подругу, ореховую скрипку, легонько провел смычком. И тогда снова заговорила златоокая девушка, чей

прозрачный чарующий голос навсегда запал в душу скрипача — с той первой встречи у мержановского родничка.

— Не ты ли тот самый Иван Кралеv, скрипач, про которого люди рассказывают, будто приворожил он луну и она по ночам сходит с неба над Кладницей, светит в его горнице, сидит у него в головах и целует в лоб, когда он засыпает? Это ты, стоит лишь тебе захотеть, можешь заставить и деревья и скалы пуститься в пляс? Это ты унес ключи от сердец всех чернооких кладничанок? Ты, внук Стояна Кралева, воеводы?

— Да, я Иван Кралеv, скрипач. По сердцу я тебе?

— По сердцу. Какая красивая прядь спадает на твой лоб. Дотронься до моих волос. Видишь, какие мягкие? Мягче травы, по которой бродит в горах стадо моих братьев.

И парень, никогда в жизни не прикасавшийся ни к одной девушке, обнял ее и сразу понял, как дорога она ему, и кровь в нем закипела.

Ночь была нежная, тихая. Луна заглядывала через его плечo, ласкала ее лоб. Глаза у нее были желтые, как бусины янтарных четок. Точно ребенок в зыбке, неумолчно лопотал о чем-то сам с собой родник.

А когда что-то зашуршало неподалеку и скрипач вскочил на коня, этот голос наказал ему:

— Нынче ночью смотри, не привораживай луну. Обещаешь?

— Обещаю.

— Поклянись!

Поехал Иван. Примолкшая широкая равнина раскинулась перед ним. Далеко, за потемневшими вер-

шинами гор, проглянули летние звезды... Смычок трепетно льнул к струнам, и они звенели точно весенняя капель, точно бубенцы на санях, свадебных санях, запряженных белыми конями...

Он играл и играл... И вдруг почувствовал за спиной чье-то теплое дыхание. Почудилось ему, что рядом, в темноте, стоит отец. Да это он, дед Кралю, гладит его голову морщинистой своей рукой и говорит:

— Вставай, Иван, беги! Догони сани, верни невесту. Худо мы сделали, сынок, что не пустили тебя в село. Вставай!

Иван вскакивает, бросает скрипку в снег и мчится словно вихрь. Бежит по снежной поляне, проваливаясь по пояс в сугробы, перескакивая, словно заяц, через кустарник. Вот перевалил он первый холм, взбегает на второй. Настигает сани у самой околицы. Останавливает их. Девушка бросается к нему, обнимает. Горячие слезы жгут опаленную студеным ветром щеку скрипача. Застыли в изумлении Горан и Петко.

— Что смотрите? Поворачивайте сани обратно!

Зимняя ночь. Притих, притаился в ложбинках ветер. Светит печальная луна. Поют бубенцы. Спит Кладница безмятежным сном, неслышно скользят по улицам села сани.

— Вон памятник повстанцу Стояну Кралеву! — показывает Иван.

Девушка смотрит во все глаза.

Широко распахиваются ворота во двор деда Кралю. С непокрытой головой встречает старик свадебные сани. Протягивает руку для поцелуя сначала невесте, потом Ивану. Но кто эта женщина, что стоит позади него? Да ведь это Кралевица, мать Ивана.

Зачем она здесь, на свадьбе,— ведь она умерла два года назад! Иван спрыгивает с саней и бежит к матери.

— Посмотри, мама, какую невестку я привел тебе! Еле-еле догнал сани, из сил выбился. Что же ты плачешь, мама?

— От радости, сынок, от радости, голубь мой.

— А кому тот золотой, что у тебя в руках? Кому ты его подаришь?

— Невесте твоей, сынок.

— Родная ты моя!

Иван обнимает мать, и холод сковывает его сердце.

Каменный воевода сходит со своей плиты и направляется к свадебным саням. Девушка, вскрикнув, бросается прочь. Метнулась было к дому, но каменный человек тяжелой поступью следует за ней. Иван стремительно кидается наперерез воеводе и заносит топор. Ох, этот топор!..

Глухо заплакала скрипка. Одна струна, напрягши последние свои силы, застонала и лопнула. Оба конца ее завились туго-туго — точно девичий локон...

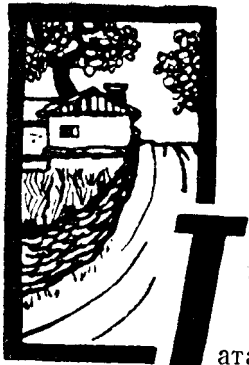
Скрипач долго тер снегом лоб и, придя в себя, собравшись с мыслями, зашагал вниз — туда, где мерцал в окошке тусклый свет. Он вошел в корчму. Трактирщик поднялся ему навстречу. Иван Кралев снял шапку, чтобы отряхнуть ее от снега.

— Что это, Иван? Голова-то у тебя седая! Прядь надо лбом белая-белая, как снег!

Улыбнулся поседевший юноша и сказал:

— Ничего.

А голос его звучал глухо, словно с того света.



ХАН ТАТАР

атары прискакали на вороных конях.

Уже созревали черешни. Молодые женщины и девушки с лукошками в руках взбирались на деревья. Ребятишки целыми пригоршнями запихивали в рот спелые ягоды. Струйки алого сока стекали по их щекам. Наливались под летним солнцем хлеба. На холмах, словно желтые облака, колыхались в зное поля пшеницы. Звенели удары молота в сельской кузнице. Криворукий кузнец Данаил отбивал серпы. Старики чинили телеги, готовясь возить снопы, а старики нарезали ранние груши и раскладывали их на плетенных из лозняка щитах сушить — на случай, если кто захворает. В неподвижном воздухе повис зной.

Черная и грозная орда поначалу выросла у церкви ошешчан, над Данаиловым виноградником. У испещренного старинными письменами покосившегося каменного креста, где на Петров день крестьяне колют яловых овец и дряхлых баранов и пьют густое красное вино, появился всадник — низкорослый, с длинным острым копьём, в одежде из шкур, с барабаном, с золоченым рогом на шее. Его раско-

сые глаза впились острым, хищным взглядом в Ореш и застыли. Через мгновение на холм вылетело еще двадцать всадников. Черной тучей заслонили небо — синее, как глаза славянина. Тряхнули копьями. Подул тихий летний ветерок. Колыхнул бунчук высоко над их головами. Всадники татараторили о чем-то между собой быстро, нетерпеливо и так же неожиданно, как и появились, отступили назад и исчезли в густом лесу в долине — охотничьих владениях боярина Дамяна. С черешни, что отбрасывала прохладную тень на Данаилов виноградник, соскочила высокая худенькая девушка в белой рубаше, с желтыми, как осенняя листва, волосами, в пестром шерстяном переднике. Она подхватила с земли свое лукошко, перепрыгнула через низкий плетень из терновника и охнула: в ногу вонзилась колючка. Проворно нагнувшись, вытащила ее и побежала вниз, перелетела по узким мосткам через реку и свернула в глухую деревенскую улочку. Синяя, как фиалка, бабочка испуганно забила крылышкам над мостками, метнулась к воде, под ветви ив и полетела к синему пруду, что у Дамяновой мельницы. Там, у пруда, сгорбленная женщина растилала на камнях для просушки белые как снег рубашки. Мельница не работала. Вскоре слева показался всадник. Низко припав к взлохмаченной гриве коня, он понесся к винограднику, перемахнул через плетень, метнулся вниз по белеющему между корневищами лоз склону и с маху влетел в пшеничное поле у самого Ореша. Чуть не утонув в высокой пшенице его конь, поплыл по глубокому морю хлебов. Протянулась вслед за татаринном дорожка сломанных колосьев. По этой дорожке устремился за ним второй,

третий. Вся орава кинулась вправо к селу. А орда все прибывала. Муравьиной тучей выползали из-за холма черные гости. Окружили Ореш. Ворвались в село разом со всех сторон.

Где-то, за садами, за плетнями, затрубил рог — протяжно и жалобно, как теленок, зовущий мать. Мигом высыпали на улицу орешчане. Бросились искать спасения за каменной церковной оградой, с трудом протискиваясь сквозь узкие ее ворота. Татары ждали только повода, чтобы начать резню. С волчьим воем, с гиканьем носились они по кривым желтым улочкам, под обломленными ветвями грушевых деревьев, обнажив ятаганы, натянув нетерпеливые луки. Но некому было дать им отпора. Мужчины, которые могли схватиться с ними, ушли с Дамяном на войну. Вот уже два месяца, а от них ни слуху ни духу. Замерло село. Только заливались истошным лаем собаки, да куры с громким кудахтаньем метались по дворам. Вдруг из чьей-то открытой дубовой калитки показался крошечный светловолосый ребенок в красной рубашонке и проворно пополз на четвереньках к колодцу на другой стороне улицы. Высокий татарин, увешанный золотыми монистами в три ряда, прищпорил своего коня и пустил его на младенца, осмелившегося пересечь ему дорогу. Конь, в котором было больше жалости, чем в седоке, легко, словно птица, перескочил через ребенка, не задев его. Из-за плетня раздался отчаянный женский крик. Малыш обернулся и удивленно уставился на большой лохматый хвост удалявшегося коня. Тяжелый камень просвистел над самой головой татарина. Тот остановился и повернул коня. В это время из ворот выскочила стройная золотоволосая девуш-

ка и, метнув на злодея яростный взгляд, прыгнула, словно лань, схватила ребенка и бегом помчалась назад. Татарин поднял копье, замахнулся, но стройный девичий стан, перехваченный широким красным поясом, мелькнул у него перед глазами, обдало его благоуханием юного тела и, словно пламя разгоревшегося костра, сверкнуло золото шелковых волос. Он опустил руку. В сердце медовой струей хлынула нежность, кровь вспыхнула, дрогнули колени. Он привстал в стременах, гикнул и, как черный орел, полетел к площади. Остановил грабеж, утихомирил галдящую орду. Вложив в ножны свой ятаган, въехал во двор церкви. Потянулся, сорвал гроздь черешен, колыхавшихся на ветке, точно зерна черных афонских четок, у церковных дверей. Орещчане открыли окованную железом, глубоко вросшую в землю дверь. Первым вышел из нее белобородый старец — старейшина села. Он поклонился татарину и возвел очи к небу. Татарин положил в рот сорванные черешни и проглотил вместе с веточками.

— Еды и вина для моих воинов и женщину, чтоб соловьем пела мне песни! — приказал гость на чистом болгарском языке и снова протянул руку к спелым, налитым плодам. Конь его перебирал копытами на каменных плитах двора. Сверкнули искры из-под копыт и угасли, утонув в вечерних отблесках солнца, низко склонившего голову над самым церковником.

* * *

Столы были накрыты. Друг подле друга на пестрых подушках расположились вокруг низких столов гости. Перед ними поставили жареных ягнят, разломил еще

теплые караваи с румяной корочкой. Прислуживали им молоденькие девушки. Проворно сновали они взад и вперед. Подавали еду, наливали в зеленые расписные чаши густое вино, привезенное фракийскими виноделами для боярина Дамяна из солнечного южного города. Высоко запрокидывая глубокие ковши, татары с жадностью пили и остервенело, точно собаки, рыча рвали зубами мясо. Глаза у них разгорелись, они начали сбрасывать с себя одежду, и некоторые уже сидели за трапезой по пояс голые. В свете лампад лоснились их черные плечи. Ярко сверкали золотые перстни на руках. Татары грубо хватали девушек, подносивших им еду. Дергали их за белые рубахи, обнимали за талию. Девушки тихонько вскрикивали. Страх обуял их юные души. Хан Татар сидел в переднем углу, опершись о побеленную стену. Над его головой мерцала лампада — веточка чернильного орешка, опущенная в глиняную плошку, наполненную маслом. Красноватые ее отблески падали на трехстворчатую икону. Хан Татар был красив собой — высокий смуглый лоб, ясный взгляд и русые усы, небрежно повисшие книзу. На его шее горело, переливалось золотое монисто. Девушки поглядывали на драгоценное монисто и с завистью вздыхали. Вынутый из ножен старинный тяжелый кинжал с белой костяной рукоятью лежал на низком столе перед пирующим ханом у самого его колена. Хан Татар резал этим кинжалом хлеб. Костяная рукоять была украшена мелкими рубинами, поблескивавшими точно просыянные зернышки. Нежная улыбка блуждала на губах татарского главы-ря. Против него, у самой стены, стояла золотоволосая девушка — та, которая одна во всем Ореше встретила

его камнем. Она смотрела на него. Два широко раскрытых, испуганных глаза ловили взгляд Хана Татара и, едва поймав, прятались за ресницами. Грудь девушки трепетала под грубой тканью рубахи словно два голубя, стремящиеся вырваться на волю. А какие, должно быть, плечи у этой стройной славянки. Хан Татар мысленно касался влажными от вина губами ее плеч, и кровь пела в его сердце.

На Дамяновом гумне горели костры. Начальники пировали в доме, орда — на гумне. Над высокой, по колено, грудой пылающих углей посредине гумна два здоровенных татарина держали на плечах громадный вертел, на который была насажена целая воловья туша. Оглушительно галдели рассевшиеся вокруг костров татары. Потрескивал огонь, тяжелым облаком стлался густой запах жареного мяса. В соседнем саду притаились среди ветвей ореха два мальчугана в белых рубахах, без шапок. С жадным любопытством наблюдали они ночное пиршество татар. Зловеще кричала в темноте ночи сова. Сидевший у костра, опершись спиной на плетень, татарин с серьгами в ушах спокойно вертел головой и вглядывался во тьму, пытаясь отыскать глазами птицу. Этот крик в ночи иглой пронзал ему сердце, и он весь дрожал, охваченный суеверным ужасом. Вдруг он заметил в листве ореха белые пятна рубах. Пламя самого большого из костров вспыхнуло, осветило сад и выдало детей. Не сводя глаз со своих жертв, затаив дыхание, татарин достал из-за спины лук и натянул тетиву. Просвистела невидимая стрела. Пронзительный детский крик разорвал тишину ночи. Зажужжали татары, словно развороченное осиное гнездо, и мгновенно

затихли, когда их неугомонный собрат перебросил через плетень тело ребенка в белой как снег, окровавленной рубашке.

Заиграли дудки. Зазвенели серебряные бубны, загрохотали, словно грозовые тучи, барабаны. Залаляли собаки. Заходила под ногами земля. Среди всего этого шума возник, пробил себе дорогу и полетел к безмолвному ночному небу чарующий женский голос. Он летел из открытого окна Дамянова дома, где пировали начальники. Пела Латинка. Очарованная красавцем татаринном, покоренная его ясными синими глазами, она пела, как птица, как поет на закате жаворонок, повиснув над сжатыми, притихшими полями, где разбросаны снопы тяжелых колосьев и дикие маки роняют алые, отцветшие лепестки. Она пела, слегка покачиваясь в такт песне, и две жалкие медные монетки позвякивали на ее шее, то появляясь, то исчезая в вырезе рубахи. Нет ничего на свете краше пения молодой красивой девушки. Татары не сводили с нее глаз. Они мысленно срывали с нее одежды, прижимали к своей груди, лихорадочно перебирали пальцами ее волосы. Ловили каждое слово ее песни, и горло перехватывало от волнения. Только Хан Татар не смотрел на нее. Слушал, нахмурившись, потупив взор, и острием своего кинжала чертил на полу кресты. Какие-то неясные, грустные мысли нахлынули на него. В душе зажурчали ручьи талых вешних снегов и мгновенно умолкли... Зазвенели колокольчики стада. Где-то вдали вспыхнуло зарево небесного пожара. Алое, как кровь молодого ягненка, низко склонилось над степью солнце, упало в зеленый шелк травы и затерялось там. Татарская орда раскинула шатры, раз-

ложила костры, насадила на вертела куропаток и тонконогих ягнят. А вон сидит, прижавшись к колесу телеги, маленький пленник, глотает слезы и смотрит куда-то на юг. Опускается ночь. Высыпали на небе редкие звезды. В бескрайней дали осталась родимая сторона. Душа так и рвется назад. Словно птенец с неокрепшими крылышками силится перелететь через холмы, падает в колючки изгороди и жалобно пищит. Ищет родное гнездо, где можно укрыться, прильнуть к теплому материнскому крылу. Маленькая, осиротевшая душа, как ты сюда попала? И откуда-то из тьмы, из-за длинной череды дней и ночей доносится голос матери:

— Где же ты, дитятко, куда ты девалось, солнышко мое?

Как похож этот голос на голос девушки, что поет сейчас для него...

Все стерла рука времени в памяти татарина. Даже лица матери не помнит. Помнит только тот единственный вечер в степи, когда глотал соленые слезы. Человек, ставший ему отцом, точно собачонке бросил мальчику жареное крылышко. Потом взял в свой шатер, обнял, уложил на траве рядом с собой. Согрелся ребенок, словно в материнских объятиях. Уснул и во сне всю ночь бежал за матерью. Она мчалась, по какому-то страшному лесу, то и дело исчезая за стволами деревьев, а у малыша ручьем лились из глаз слезы. Когда он проснулся — рукав у татарина был насквозь мокрый. Малыш рос. Привык пить кобылье молоко, научился скакать верхом, метать копьё, с пятидесяти шагов пронзать стрелой лист на дереве. Научился рыскать по чужим землям, грабить да уби-

вать. А когда вырос, сам собрал орду и повел ее на юг.

Кончила песнь Латинка. Из груди татар вырвался вздох. Один из них — широкоплечий, с коротким туловищем на тонких ногах, с толстой шеей, поднялся из-за стола. Словно медведь, пошел он на девушку и, приблизившись к ней, ослабил во весь рот. Зубы его сверкнули точно жемчужное ожерелье. Латинка отпрянула в ужасе: нос у татарина был отрублен. Страшилище. Он протянул руку к ее плечу, но, прежде чем он его коснулся, булатный клинок с костяной рукоятью со свистом вонзился в стену между черной рукой татарина и белым плечом девушки. Затрепетал, зазвенел, точно струна. Татарин обернулся и встретил ледяной взгляд своего повелителя. Он снова ослабился, отвесил поклон и, не проронив ни слова, вернулся на свое место.

Пир продолжался допоздна. Костер на гумне стал угасать. Седым пеплом подернулись тлеющие угли. От жареного вола и следа не осталось. Фыркали привязанные к садовому плетню кони. Над Орешем возшла серебристая, ясная луна. Она заглянула в недвижные глаза убитого ребенка, навзничь лежавшего у костра в белой рубахе, простроченной кровавым швом. Казалось, он спит — спит с открытыми глазами, но уста его были бездыханны. В пальцах правой руки зажата горстка зеленой травы.

Поднялись из-за стола начальники, и началась охота на девушек, что прислуживали им — кто какую схватит, без разбора. Переловили, словно кур, стиснули в медвежьих своих объятьях. И разбрелись по горницам опустевшего Дамянова дома. Латинка и Хан

Татар остались одни. Татарин молчал. Догорала, потрескивая, лампада над его головой. Мучительно напрягая память, он словно начал припоминать, как когда-то давным-давно засыпал он в колыбели под такое же тихое потрескивание лампады... Латинка ждала, что вот-вот и ее схватят две могучих мужских руки. Она заранее сдалась.

— Как тебя зовут? — вдруг поднялся молодой татарин и подошел к ней.

— Латинка. А ты Хан Татар, — тихо произнесла девушка.

— Хан Татар.

— А другого имени у тебя нет?

— Почему ты спрашиваешь?

— Люди говорят, ты болгарин.

— Нет.

— Зачем таишься? Ты говоришь, как мы.

— Девять лет брожу по болгарской земле.

— А глаза?

— Что глаза?

— Как у нас.

— Как у тебя.

— И вправду. Ах, какое у тебя монисто! Ты, должно быть, богатый. Негоже мужчине монисто носить. Где ты его взял? Для своей татарки небось? Она красивей меня?

— Нет у меня татарки.

— Почему? Ты разве еще ребенок?

— Потому, что все женщины вашей земли — мои.

— Вот как? Какие черные у тебя волосы, а усы — русые.

— Почему ты бросила в меня камнем?

— Потому что ты налетел на сына кузнеца Данаила. А Данаил мне второй отец. Я хозяйство у него веду, за виноградником ухаживаю. Видишь, какие руки шершавые? Работаю от зари до зари.

Хан Татар взял ее за руки. Огнем вспыхнуло сердце девушки, зарделись щеки, заколыхалась нежная грудь.

— Потрогай мои волосы, посмотри, какие они. Мягче на всем свете не сыщешь. Как душа. Правда?

— Ты спала когда-нибудь с мужчиной? — спросил татарин.

Латинка вздрогнула, опустила глаза.

— Никогда.

Благодарный, он ласково провел рукой по ее волосам. Смуглые пальцы тонули в нежных золотых прядях.

— Тебе не грустно?

— С чего мне грустить? Ты красивый. Я видала тебя во сне. Не веришь? Хочешь, побожусь? Сколько раз ты мне снился. Только не такой, как сейчас, а страшный, страшный... Господи, чего только не наслезится!.. Когда-то ты грабил только боярские хоромы, народ не обижал. А теперь — всех подряд. Неужто не жаль тебе бедняков? Я одну песню знаю — для тебя. Старинную. Хочешь, спою тебе?

— У тебя голос волшебницы.

Хан Татар схватил ее за плечи и загляделся на нее. Точно ягодка. Он увезет ее с собой в татарскую землю — как нежный цветок среди унылых степей, украсит она его орду и, как соловей, будет петь ему песни.

— А можешь ты меня поднять высоко-высоко? — спросила вдруг Латинка.

— Как ягненка.

— А ну!

Хан поднял ее. Она засмеялась — сущий ребенок, — стала болтать ногами. Рубаха ее зашуршала. А когда он опускал ее на землю, ослепительно сверкнули белые колени.

Задохнулся опаленный степными ветрами разбойник, провел рукой по лбу. Рука соскользнула вниз, по лицу, нащупала золотое монисто. Он порывисто снял его и надел на нежную шею Латинки.

Смутилась она.

— Опояшу тебя серебряным поясом с жемчужными пряжками, обую в башмачки, усыпанные кораллами.

— Когда?

— Когда станешь моей женой.

— Ты увезешь меня в татарскую землю?

— Увезу.

— И заставишь переменить веру?

— Нет, не заставляю.

— Какой ты добрый! Каждую ночь буду зажигать лампаду в память покойной матушки, буду качать в люльке маленького татарчонка и петь. До чего я люблю петь! Больше всего на свете. Прошлым летом, когда померла у боярина Дамяна жена, наказал он мне плакать над ней, потому что голос у меня звонкий. Принялась я голосить, а слезы из глаз — ну никак не льются. Вместо рыданья хлынула из горла песня. Такая уж я — ничего не сделаешь. Чудная.

Хан Татар снова протянул руку к ее волосам, и чем

зволнованней дрожала рука, тем горше становилось у него на сердце. За распахнутым окном дышала усыпанная алмазами летняя ночь. Теплый ветер клонил темную листву деревьев. А листва рвалась навстречу ветру, как невеста навстречу жениху... Где-то вдали пропел петух.

— Спать пора, — прошептала девушка.

Хан Татар погасил светильник. В темноте девушка казалась ему русалкой. Качнулись золотые монетки на ее шее, зазвенели и смолкли...

* * *

Ночь была на исходе. Глубокая, непроглядная ночь. Низко опустилась луна, зажгла висевший под стрехой медный котелок, хлынула через раскрытое окно в горницу. Хан Татар спал глубоким сном, рубаха на груди расстегнута, губы пересохли. Лоб омывали потоки лунного света. Латинка лежала, широко раскрыв глаза, рядом со спящим красивым юношей, на его сильной теплой руке. Ей мерещился далекий татарский аул. Птицы с красными коралловыми лапками садились ей на плечо. Просили: пой! Ребенок с миндалевидными глазками неловко шарил ручонкой по ее рубахе, открывая ротик, искал ее грудь, — и зубки у него сверкали, точно жемчужинки. Ей так хотелось, чтоб этот ротик прильнул к ее отяжелевшей материнской груди, и она почти явственно ощущала боль на плечах — там, где остались два темных следа от веревок люльки, в которой она носит своего сына. А когда выпадет у него первый зубик, она зашьет его в ладанку и повесит ему на шею, чтоб не

тронули его змеи-гадюки в высокой траве, чтоб миновали вражьи стрелы. И вдруг она вспомнила, что где-то в татарской земле есть у нее брат, который тоже носит на шее ладанку, а в ней свой первый выпавший зуб.

— Ты узнаешь его, доченька, по двум родинкам под левой рукой и по ладанке,— говаривала ей покойница мать, и каждый раз, как произносила она имя своего угнанного в полон ребенка, сердце ее заходилось от муки.

— Андрей,— прошептала Латинка.— А вдруг доведется с ним свидеться где-нибудь в татарской земле? Милый мой брат, да я с первого взгляда его узнаю и примусь ему рассказывать, рассказывать...

Она приподнялась. Луна залила ее своим светом. Наклонилась Латинка над головой жениха. Господи, да он и не похож на татарина! Какие русые у него усы — цвета спелой кукурузы. Как хочется поцеловать его в лоб. Что это — у него тоже ладанка? Что зашила туда его мать? Да что могут зашивать татарки? Где его сердце? Она прижалась ухом к обнаженной смуглой груди своего мужа, с которым еще не была обвенчана, и вслушалась. Сердце отозвалось радостным биением. Милое сердце! — промолвила Латинка и потянулась, чтоб его приласкать. Бесшумно коснулась рукой тела татарина. Он улыбнулся во сне. Губы его зашевелились. И у него тоже родинка. Темная родинка под самой рукой. Господи, да у него их две! Глаза ее расширились, сердце замерло. Она раздвинула рубаху на его груди, и луна позолотила две темные родинки, две мерно шевелившиеся букашки.

В ушах девушки прозвенел голос матери — из могилы донесся:

— Ты узнаешь его по двум родинкам и по...

— Ах! — ужаснулась девушка. — Не может быть! Это не он! Глаза ее недвижно застыли. Задрожали плечи. Она вскочила, поспешно вытащила вонзившийся в стену кинжал, наклонилась над татаринном и срезала ладанку. Дрожащими руками распорола ее. Отнялись, опустились руки... Клинок выскользнул на землю. Она вся помертвела, как птичка, замороженная взглядом гадюки. И вдруг услышала голос — тихий, тихий, словно котенок мяучит. И увидела, что к ней ползет золотоволосый ребенок, ищет ее в темноте. Она нагнулась, схватила его, толкнула дверь и выскочила из дому. Сломая голову бросилась бежать вниз по улице, осененной причудливой тенью ветвей, к глубокому омуту против Дамяновой мельницы...

* * *

И рассказывают старики, что и поныне, когда случается запоздавшему путнику летней ночью подъезжать к Орешу по татарской дороге, то у Дамяновой мельницы навстречу ему выходит девушка в белом, садится на замшелый мельничный жернов на берегу, а на коленях у нее — мертвый ребенок.



*И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.*

М. Ю. Лермонтов.

Вчера вечером пошла я за водой к колодцу. Сняла ведерки с плеча, и взбрело мне на ум нагнуться да посмотреть на себя. Ах, Секул, на что я стала похожа? Не узнала я своих глаз, так они ввалились! А над правым ухом, гляжу, две белые прядки. Только руки у меня по-прежнему тонкие, как в девичьи годы. Тонкие...

Секул сидел на постели и, опустив глаза в землю, пытался свернуть самокрутку. Его большие, черные, неуклюжие пальцы с трудом накладывали табак на листок папиросной бумаги. Обветшавшая табакерка дрожала на его колене. Ласковые слова теснились в душе Секула, жаждали перелиться прямо в сердце молодой жены, но не умел он их высказать.

— Что поделаешь,— произнес он медленно, распрямил широкую спину и сунул руку за пояс, чтобы вытащить огниво. Синие глаза зажглись под соломенными ресницами, ища взгляда жены, которая пряла на длинной расписной прялке. Веретено жужжало, словно пчела над цветком. Жена почувствовала ласку синих глаз мужа, но не подняла головы. Секул глянул через

ее плечо на люльку, скрытую темнотой, услышал тихое сонное дыхание ребенка, жадно прислушался к нему, и радость залила его сердце. Он высек огонь из кремня.

— Что я могу сделать, — повторил он, — я ведь простой человек, каменотес. Мне бы только камень отбить от скалы, катить его вниз и увозить на буйволах.

Высеченные из огнива искры роем рассыпались по циновке.

— Поработил ты меня. Весь день я мечусь туда-сюда, убираюсь в доме, таскаю воду из колодца. Как вскину коромысло, плечо у меня так и трещит. Словно восковая свеча, таю. Какой я была, а какая стала! Нет, не гожусь я для этого мира, Секул, не гожусь.

— Опять ты за свое...

— Опять... Пошла я вчера на кладбище, посадить кустик роз на маминной могилке. Только нагнулась — слышу голоса. Несут покойника. Несут бабушку Златарку, в дощатом гробу. Как стали над ней кадилами размахивать — ох, уж этот ладан, не могу его терпеть, задыхаюсь! — как опустили ее в яму и начали бросать на гроб комья земли! Засыпали ее землей, сровняли могилку, и все им мало показалось, взяли снова лопаты и над ее головой холмик насыпали. Бедная бабушка Златарка. Стояла я, склонившись над могилой, слезы так и хлынули у меня из глаз. Стою я, всхлипываю, а они капают на черепицу. Я бросилась скорей вниз, и знаешь, Секул, пока не добежала до дома, все чудилось мне, все стояло в ушах, стучат комья земли, падают на мой гроб. Дала я ребеночку грудь, и сразу мне полегчало, в себя я пришла... Так ли должна кончаться человеческая жизнь?! А в Кушкундалеве нет ни кладбища, ни крестов, ни ладана. Из росинок, что

блестят на зеленых листках лопнувших цветочных почек, рождаются самодивы. А когда приходит их время — они засыпают ночью и снова превращаются в росинки.

Когда-нибудь поздним осенним вечером я лягу на опавшую желтую хвою под стройной пихтой и засну, убаюканная глухим шепотом леса, тихой беседой звезд. И мне приснится, что я звезда, которая отстала от своего каравана и падает в тихое бездонное море. Так я кончусь, и наутро меня не станет. И только капелька росы на иссохшей ветке пихты останется от самодивы Струны. Заблестит росинка словно бусинка от мониста. Птенчик с зелеными крылышками и красными лапками увидит капельку, сядет на ветку и раскроет клюв. Он выпьет мою росистую душу и начнет чирикать. Из влажного его горлышка моя душа выльется песней, рассыплется и исчезнет в ветвях, над лесными тропинками... Ах, Кушкундалево, Кушкундалево!

Она замолчала. Опустила веретено и вздохнула. Веретено покатилося на пол, и жужжанье пчелы, которая вилась и трепетала прозрачными крылышками в золотистом свете, оборвалось, как золотая нить.

Секул бросил самокрутку на окно. Кряхтя, нагнулся и начал развязывать веревки на царвулях. Снял пыльную рубашку и сидел, обнаженный до пояса. Он подождал, не подаст ли ему жена чистую рубашку — сменить снятую, но, заглядевшись в окно, она не сдвинулась с места. Секул почесал загорелое мускулистое плечо, взял с кровати грязную рубаху и снова надел ее. Он прошел босой мимо люльки, наклонился над ней. Ну что за человек! И волосики соломенные,

совсем как у отца. Ребенок спал тихо, как рыбка, засунув в рот пальчик. Счастливая улыбка пробежала по губам каменотеса. Он хотел погладить лобик ребенка, но не решился коснуться нежной кожицы своими грубыми, шершавыми, мозолистыми руками. Еще оцарапаешь и разбудишь! Он отошел к кровати, снова сел и загляделся на нежные плечи жены, на шелковистые волосы, которые, рассыпавшись по плечам, как руно белого барана, падали на циновку. Почему она говорит, что постарела? Ведь она так хороша! — Каменотес протянул руку к самокрутке. Она уже погасла.

Прямо под окном в темноте петух расправил крылья и прокукарекал осипшим голосом. Его зов громко раздался в комнате. Жена Секула вздрогнула, будто струна, которую тронул смычок. Ее усталое сердце встрепенулось: вторые петухи. Занимается заря. Новый день.

— Давай ляжем. Сегодня я поздно до дому добрался. Когда спускался от каменоломни, опрокинул телегу. Незадачливый день. Хорошо еще, скотину не подбил. Пока нагрузил снова, уже смерклось, а приехал — и вовсе ночь. Пойдем, ляг ко мне на руку. Мне так хорошо, когда ты кладешь вот сюда голову!

— Спи, Секул, спи! Я вижу, как ты измучился. Весь день грузил и таскал камни. Ты на меня не смотри. Я хоть и лягу, глаз не сомкну.

Секул совсем растрогался.

— Знаешь, Струна, какой мост строят мастера там внизу на Тундже. Тунджанский мост — великое дело. Важное. Как бы тебе объяснить: два воза со снопами смогут на нем разминуться. А внизу под мостом родник. Уж очень хороша в нем вода. В этом месте поста-

вят чешму. Будь я побогаче, я тоже взялся бы за это дело, чтобы потом на камне высекли мое имя, а пониже — год и деревню. Когда вырастет наш сынок, чтоб прочел мое имя. Хочешь, завтра поведу тебя туда?

Струна отозвалась как со сна:

— На что мне ваш мост! Чудные вы люди! Дороги строите, мосты ставите. Всю-то жизнь боретесь с землей, пока в конце концов смерть не бросит вас в могилу. Тяжко мне, Секул, плохо!.. Не понимаешь ты меня! — вдруг неожиданно закричала Струна, подняла руки вверх, будто крыльями взмахнула и смолкла.

— Как так не понимаю, — очень даже понимаю.

— Если понимаешь — отпусти меня.

Секул оцепенел.

— Куда?

— В Кушкундалево. Отдай мне рубашку! Скажи, куда ты ее спрятал? Знаю, ты закопал ее в землю. Умоляю тебя, заклинаю, на колени упаду перед тобой, ноги твои целовать буду, — не удерживай меня. Я не для этой жизни. Давит меня бедность, тяжело мне все. На прошлой неделе пошла я, как все люди, на хоро, смотрела на других женщин, увешанных монетами, разодетых в шелковые платья, расшитые золотом и серебром; они пляшут и смеются. А золотые монетки так на них и прыгают. Как взглянула я на себя — ведь я все равно что цыганка. Ах, боже ты мой, как захотелось мне убежать отсюда и снова полететь! Я уйду в горы, побегу туда вверх, под синие тени деревьев, по извилистым козьим тропкам через малиновые заросли. Доберусь до самодивского озера. Ты знаешь его, Секул, ты ведь его помнишь? Я купалась с моими сестрами в тот вечер, когда ты меня нашел. Ты искал буйво-

ла, затерявшегося в горах. А вместо буйвола нашел меня. Сначала ты схватил мою рубашку, что валялась на берегу, и пустился бежать со всех ног, потому что знал: без рубашки я не самодива, а обыкновенная нагая девушка. Ты побежал, я за тобой. Умоляла тебя: отдай мне рубашку! Мы спустились вниз в луга. Уже выпала роса. Я шла, глотая слезы и дрожа от холода. Тогда ты, Секул, снял свою антерию и прикрыл меня. Мы сидели у грушевого ствола, и ты обнял меня, чтобы согреть. Как сладко мне показалось тогда человеческое объятие!..

Жена Секула умолкла. Мысли ее бродили по неровным тропинкам ее жизни среди людей, потом ушли далеко от домашнего очага — туда, куда влекло ее сердце. Она снова увидела себя у горного озера.

— Как только доберусь до озера, сброшу эту холщовую рубаху и кинусь в холодную воду. Выкупаюсь, выйду на солнышко, протяну вверх руки, чтобы слиться с небесной прохладой. А потом надену свою девичью рубашку и стану опять чистой, как была когда-то. Вместо пояса опояшусь змеей, а за спиной у меня вырастут легкие желтые крылья. Глаза мои станут зелеными, как озерная вода, станут глазами самодивы — будто ничего и не было, ничего... Ах, Секул, как взлечу я над вершинами, как запою, и деревья и камни — все подивятся, поет ли то жаворонок или ангел с небес. Вечером ты выйдешь из каменоломни, усталый, запыленный, будешь идти за телегой, и как услышишь мой голос, узнаешь и скажешь: «Это моя жена поет. Струна поет, самодива...»

Она закрыла глаза. Вздохнула, а когда подняла ресницы, по щекам ее катились слезы. Секул стал гла-

дить ее голову, плечи, щеки, но она не чувствовала его ласки и продолжала:

— Пока я была бездетна, я все еще надеялась, отпустит меня мой Секул. Почему бы ему меня не отпустить? На что Секулу бесплодная жена?.. Ну а теперь, когда я родила... Ах, этот ребенок! Как люблю я его, заслышу голос — будто мед прольется в сердце. А иной раз вдруг захочется мне ужалить его между глаз, как жалит гадюка.

Эти слова ударили Секула прямо в сердце. Он привстал, широко раскрыл глаза, и его соломенные ресницы застыли. Струна встретила его взгляд, не дрогнув. Молния вспыхнула между ними, но гром не ударил. Он затаился в глубине души каменотеса, потонул словно камень в глубоком омуте.

— Вот до чего ты дошла! — тихо промолвил он, поднялся, закусив губу, и вышел. Долго он возился в темноте. Струна ждала его, трепеща. Когда же он появился с рубашкой самодивы в руках, чудесной рубашкой — не из шелка, не из золота, не из серебра сотканной, она бросилась к нему, схватила ее и начала целовать как безумная его руки. Залила их слезами, оглянувшись по сторонам, будто забыла что-то, толкнула дверь и выбежала на улицу. Пока не затих шум ее шагов, Секул глядел на большие кривые пальцы своих босых ног. В голове пронеслась мысль: что за уродливые ноги! Кожа на них ну точь-в-точь как у черепахи. Потому и бежит от меня Струна...

Он вышел во двор и прислушался. Ни шагов, ни собачьего лая. Только теплый ветер шумел, пытаясь разогнать мрак. Далеко над Балканами горел пастуший костер. Нет, не костер — то всходила утренняя

звезда. Теплый ветер дул ему прямо в глаза. Секул поднял руку, и пыльный рукав стал мокрым от влаги, которая вдруг его ослепила. Секул вернулся в дом. На полу лежало веретено.

— Все кончено!.. Ушла моя Струна...— проговорил он.

Он сел на край постели, отер рукой лоб. Смятение охватило его душу.

* * *

Тих осенний закат. На ветвях деревьев дрожат нити тонкой паутины. Гнезда птиц пусты. У птенцов давно уже отросли крылья, и они улетели. Пожелтели вековые дубы дремучих балканских лесов. Желуди падают наземь, как пули, осыпаются медные листья. Тут и там, словно зерна четок, поблескивают темно-красные ягоды кизила. Лозы зрелого дикого винограда переплелись с ветвями грабов. Солнце прядет золотые нити. Они пробиваются сквозь густую чащу, падают на землю, плетя на ней ковры.

Струна идет по солнечным коврам. Ее самодивская рубашка излучает немеркнущий свет. Она приколола к груди лиловый цветок, и тот, поникнув, ласкает ее мягкую, смуглую кожу. За плечами ее висят два желтых крыла. Струна летала над Тилилейским лесом, играла с птичками на верхушках деревьев и с букашками на потрескавшихся козьих тропах. Плавала в озере, сушила волосы на самодивском хорище и три раза спускалась в Кушкундалево — собирать приворотное зелье, чтоб приманить им какого-нибудь горного пастуха. Она целовала поздние цветы и, как пчела, высасывала мед из их маленьких чашечек.

Четыре дня прошло с тех пор, как она убежала из дома. Настал пятый.

Балканы глядели ввысь, синева омывала их гайдуцкую спину. Самодива спускается к хорищу. Там источник и росистая поляна. В полночь, когда на небе покажется Большая Медведица, Секул придет к источнику искать жену. И этой ночью долго будет идти в темноте каменотес. А Струна спрячется в листе дуба и не откликнется. И все же, как хочет она его видеть! Как жарки были его объятия в ту первую ночь, когда она легла рядом с ним. Как станет ей грустно, когда покинутый ею муж будет утирать рукой слезы, но сердце ее не дрогнет, как не дрогнуло его сердце в тот день, когда она бежала за ним, умоляя его вернуть рубашку.

Она взобралась на холм и стала глядеть вниз. Ее манили темные долины, в которых прятались пыльные селения людей. Она уселась на белый камень, согретый только что закатившимся солнцем. Вершины гор почернели, деревья потонули во мраке. Как змея, скользнула вниз узкая козья тропинка и скрылась... Заблестали далекие, мерцающие светлячки. Там селения... И вдруг, погруженная в свои мысли, Струна услышала зов маленького, отбившегося от стада, затерявшегося в лесу козленка. Его зов ударил ее прямо в сердце, как будто оно было гнездом, а его голос зовом дрожащего птенчика. Струна вскочила. Побежала белом по козьей тропинке и увидела меж деревьев маленького белоснежного козленка с черными блестящими глазами. Она наклонилась, взяла его на руки. Прижала к груди. Его дыхание коснулось ее, как дыхание ее ребенка. Она закусила губу и вся вспыхнула пла-

менем любви, как впервые родившая мать, охваченная безумием. Расправив желтые крылья, она в смятении поднялась с земли.

Она пролетела мимо кошары уснувшего пастуха, выпустила через ограду козленка и устремилась к светлячкам, которые мерцали внизу, в селе, где жил Секул...

Как легкий ветерок влетела Струна в окно. В комнате было темно и тепло. Секул лежал на спине, уставившись широко раскрытыми глазами в потолок. Он томился, изнуренный работой и тоской, и не понял, что это она. Белая женщина склонилась над люлькой, сунула руку под одеяльце, схватила теплое тельце и, приложив головку спящего ребенка к своей твердой, набухшей от молока груди, со всей силой материнской любви впиалась поцелуем в его щеку.

Секул встал, чтобы посмотреть, кто склонился над люлькой, кто душит ребенка. Струна дала мальчику грудь и, ища в темноте взгляд Секула, боязливо прошептала:

— Я вернулась, Секул. Можно мне лечь на твою руку?



КАМЕННАЯ ДЕВУШКА

Благословенна долина — радость человеческой души! Луга тянутся вдоль Вита. Сады цветут; пчелы золотыми каплями падают на межи. Старый кладоискатель Цвятко Молец лежит на спине и глядит на высокие белые облака. Небесные стада вздымают пыль. Издалека слышится пение молодой, трудолюбиво копающей землю. Две ласточки, встряхнув хвостиками-ножницами, долго висят на трепещущих крылышках, щебечут у скал и, наконец, вонзают коготки в каменистый склон над Змеевой пещерой. У запертой наглухо пещеры звенит колокольчик, словно капли дождя стекают с крыши. В пещере подземный дворец Угленского змея. Там спрятан старинный клад: два казана, полные доверху золотыми и серебряными монетами. А на камне в самой глубине сидит каменная Славянка. Из ее глаз каплют слезы, просачиваются наружу через расщелины прозрачным ручейком. Темная пещера освещается блеском золотистой чешуи хранителя-ужа. Двести лет стоит здесь уж, подняв голову к казанам...

...Дед Цвятко встал и двинулся вверх по реке к повороту, где уже был еле слышен звон колокольчиков веселых ягнят. Старик медленно заковылял к источнику под скалами. Дойдя до него, он спустил с плеча сумку. Вынул из нее ржаной хлеб, ножик и миску. Отрезав ломоть, погрузил его сначала в ледяную воду источника, затем, размочив хлеб в миске, начал его есть. Потом снова зашагал по лугу. Он не спускал глаз с мелких травинок, буйно разросшихся кругом. Где-то здесь растет и разрыв-трава. С ее помощью можно отомкнуть каменную глыбу и завладеть кладом Угленского змея. Где-то здесь, среди белых подорожников, возле лютиков, под крылышками синих бабочек. Но где? Всю жизнь ищет разрыв-траву дед Цвятко Молец. Глаза выпвели, изошла тоской его старая душа...

...Однажды — тому назад лет двести — змей выполз из своей пещеры. Была ночь. Змей расправил крылья и поднялся над Угленом. Село спало. Тихо шелестели листвою тополя. Крупные осенние звезды падали в омуты Вита. В верховье, у росистых лугов, купался целый рой русалок. Их серебряные рубашки, брошенные на черную траву, блестели как паутина на вспаханной земле. Змей пролетел над их головой на огненных крыльях. Русалки всплеснули руками, ахнули, устремили вверх зачарованные взоры. Луна залила светом их влажные плечи. Ночь, как стыдливая невеста, покраснела от пламени змеиных крыльев. Молодой змей описал огненный круг над тополями, приложил руку ко лбу и устремил взгляд в темноту. Где-то вдалеке, подле Старого Быркача, загорелся огонек. Это пришли на посиделки молодые девушки из Быркача. Темные копны стоят на гумнах, как немые стра-

жи. Золотистая айва светится на ветвях. Астры склоняют румяные росистые головки и томятся, увядая на теплой девичьей груди, которую они украшают. Девушки вышивают к свадьбе дары, шелком и серебром, поют сладкие песни и ждут, чтобы Угленский змей пришел к ним на посиделки.

Угленский змей оглянулся, посмотрел на луну, что тихонько опускалась за Белый Камень, и полетел на огонек. Он опустился у чешмы на околице села, под темными тополями, наклонился над каменным водоемом, омочил лоб холодной водой, и огненные его крылья мигом почернели. Потом он опустился на траву и оперся спиной о тополевы ствол. Из-за пояса вытащил большое яблоко и разрезал его. Это яблоко он взял вчера вечером из корзинки Ангелины. А сегодня она в наряде новобрачной придет сюда поздно вечером, когда истомленная луна спрячется за Белый Камень. А когда она совсем погаснет, вспыхнет светлячок, вплетенный в волосы Ангелины. Он обнимет белую девушку, а она обовьет его шею своими теплыми, земными руками. Глаза его загорелись, как у волка при виде добычи. Он вскочил и бросился вниз. Село спало. Сверчки запели свадебную песнь.

* * *

— Сестрица Славянка, подай мне коралловое ожерелье. Разве не белая у меня шея, белая, как перья у голубки?

— Сестрица Славянка, подай мне кованный пояс. Разве не тонкий у меня стан, тонкий, как угленский тополь?

— Сестрица Славянка, подай мне желтые туфли. Разве не быстрые у меня ноги, быстрые, как у балканской косули?

— Выгляни, ягодка, на улицу. Не опустилась ли уже луна за Белый Камень?

— На улице темно, сестра, хоть глаз выколи.

— Пойди, деточка, в сад, под айвовое дерево, где роятся светлячки. Быстренько слови для меня самого крупного. Я украшусь светлячком,— как огненный цветок заблестит он у меня в волосах. Пойдешь? Ох, батюшки, ведь он уже ждет меня. Послушай, Славянка, как поймашь светлячка, беги за мной следом наверх, к чешме у околицы.

Ангелина выскочила на улицу. Тревожно взглянула в сад, где шелестела листва в той стороне, куда скрылась Славянка, и вдруг спохватилась:

— Кольцо! Я забыла кольцо!

Она вернулась назад. Но когда вошла в дом, из калитки на улицу выбежала в белой рубашке маленькая Славянка. В кулаке она зажала светлячка.

— Сестра, где ты? Мне страшно. Ох, светлячок, ты умрешь в моей ладони, пока мы с тобой доберемся до старшей моей сестры. Лучше полезай ко мне в волосы. Будешь мне светить. Ой, кто это черный идет нам навстречу? Какой-то черный человек протянул ко мне руки, сестрица, я гибну!

В темноте Змей схватил Славянку и расправил крылья. Когда он ими взмахнул, они засветились. Испуганная девочка закричала. Разбуженные собаки залаяли в Старом Быркаче. Быркачане вскочили,глянули наверх: два больших огненных крыла опускались над Угленом...

Над колодцем наклонился батрак деда Куню. Он наполнил расписные троянские кувшины водой, выпрямился и, увидев на лугу деда Цвятко, окликнул его:

— Дедушка Цвятко, а ты все разрыв-траву ищешь?

— Ищу, Юрдан.— Молец подошел к батраку.— Как знать, может быть, и найду.

— Может быть, дедушка Цвятко,— да ведь нет этого проклятого ключа. Слушай, если ты когда-нибудь найдешь разрыв-траву и отомкнешь пещеру змея, что ты будешь делать с двумя казанами, полными монет?

Угасшие глаза деда Цвятко Молеца оживились:

— Эх, Юрдан, Юрдан, дай мне только разрыв-траву! Дедушка Цвятко не за монетами гонится. Денег мне не надо. Как только отомкну пещеру, позову сюда нашего Стоила-кмета и скажу ему: «Заворачивай сюда телегу! Вези все золото и серебро в общину. Отсыпь каждому бедняку по шапке монет, а сиротам — по две. Построй новую школу для ребят. Построй большой мост из железа и камня всем на удивленье. Купи молотилку, пусть люди не мучают скотину, молотя хлеб диканьями». А я... мне, Юрдан, довольно каменной девушки, что стоит в пещере и держит в руках каменного светлячка. Слушай, когда Змей спустился со Славянкой в пещеру, он запер ее там, а ключ в ручей бросил. Осветил он пещеру, и как увидел, что перед ним стоит Славянка, а не та, за которой он шел, расвирипел он, и из глаз его полыхнуло пламя.

— Ты меня обманула! — закричал он страшным голосом. — И я обращаю тебя в камень. Читай молитву! Даю тебе время, пока светлячок не погаснет в твоей руке.

Проговорил это Змей, схватил светлячка и сунул ей в руку. Хлынули слезы из глаз девочки, раскрыла она для молитвы уста. И лишь только погас светлячок — она окаменела. Но даже когда она превратилась в камень, Юрдан, слезы не перестали течь из ее глаз. Собрался их целый ручей и просочился он наружу через трещины. Вот этот источник, из которого ты воду набираешь, — это и есть Славянкины слезы.

— А почему вода в нем холодная? Слезы ведь горячие?

— Да потому, что глаза у нее каменные.

— Дедушка Цвятко, хочу я тебя что-то спросить, только ты на меня не сердись.

— Спрашивай, Юрдан.

— На что тебе каменная девушка? Ты человек старый, зубы порастерял, а все о женщинах думаешь!

— погоди, сынок, не бери греха на душу. Мне уже больше не нужны женщины. Мне нужна дочь. Всю-то жизнь ждали мы с моей старухой Цвятковицей дочку. Уж сколько она по докторам и знахаркам ходила, сколько настоя из целебных трав выпила, сколько камней под поясом носила. Но не дал господь нам дитятка. А в прошлом году переселилась в другой мир и бабушка Цвятковица. Никого не осталось у меня на этом свете. Опустел мой дом. Хочу взять к себе ту девушку, что просидела в пещере двести лет. Будет она подметать мой старенький домик, цветы в саду са-

жать, бобовую похлебку варить, чтоб похлебать и мне горяченького, Юрдан, когда вернусь я усталый с поля.

— Да как же ты ее оживишь?

— Это дело простое. Спасение ее — в живом светлячке. Как только дам я ей светлячка в руку, она зашевелится, поднимет руку и вытрет слезы. Ох, надо пойти посмотреть, куда запропастились мои глупые ягнята...

Дед Цвятко пошел сгорбившись, опираясь на дубинку. Его рукава повисли, как крылья старой птицы.

— Сумасшедший! А может — кто его знает! — и не сумасшедший вовсе, — задумчиво произнес Юрдан и, спохватившись вдруг, что запаздывает, поднял свои кувшины и зашагал босыми ногами вверх по тропинке.



БРАТЯ

Стрелой пронеслись над селом первые ласточки. Заблестели омытые весенним солнцем снежные вершины Родопских гор. Потекли вниз ручьи и затопили луга. На ветвях персикового дерева, которое шумело под окошком у Николы, завязались почки. Согрелась земля. Во дворах зашевелились крестьяне. Нивы раскинулись будто нарядные зеленые ковры, вывешенные для просушки на склонах холмов. Из летней пекарни вылезла кошка, потянулась, изогнув спину дугой, зевнула, улеглась у выбеленной стены, зажмурилась и замурлыкала. Воробы на соседней скирде зачирикали, уселись на навозную кучу и принялись проворно рыться в соломе. Из избы вышел Гурко, сдвинул шапку набекрень, почесал в затылке, посмотрел на большую кучу навоза и пошел к сараю. Тут он стал приводить в порядок телегу, заложил дощатые боковинки, выправил дно, поднял дышло и затем уже подтолкнул порожнюю легкую телегу к навозу. И начал накидывать его железными вилами. Разворошенный навоз задымился. С гумна вышел младший сын деда Йордана — Никола.

— Братец,— сказал он,— дай помогу тебе.

— Нечего мне помогать,— отрезал Гурко, не глядя на него.— Вместо того чтобы болтаться здесь да бездельничать, отправляйся-ка лучше по селам, поищи работы. Ты молодой, стыдно тебе ходить без дела.

— Куда же мне податься? Ведь отец оставил нам ниву. Кто же пожнет мою долю? Кто уберет мои снопы?

Гурко оперся на вилы.

— У тебя, братишка, доли нет. Нечего на нее зря зубы точить, не придется тебе есть хлеб с поля в Мырзиновом долу!

— Как это так — не придется! Разве это нива не отцовская? Сколько полагается тебе, столько же и мне. Конечно, если нынче земля не родит,— дело другое.

— Ты не рассуждай, а бери сумку, положи в нее хлеб, две головки лука и ступай! Слышать, во Фракии снова дороги строят. Ищут рабочих камень разбивать. Эта работа как раз по тебе. Постарайся заработать немного, а как вернешься к зиме — купишь для себя хлеба и поможешь налог выплатить. Не стану я один весь дом на своем горбу тащить. Придется и тебе платить. А как же еще...

— А нива?

— О ниве не тревожься. Она моя.

— Как это твоя?

— В смертный свой час старик поручил соседке — бабке Гергине — сказать мне, что оставляет ниву мне одному. Сам-то я был в это время на базаре, а когда вернулся — не застал уже его в живых. А бабка рассказала мне все потом.

— Да ведь бабка Гергина совсем глухая. Как же она его услышала?

— Глухая ли, нет ли, а только услышала. Он сделал знак рукой и поднял кверху большой палец, чтобы показать, что нива остается на большему. А наибольший — я, братец ты мой. Вот оно какое дело!

— А я ничего об этом и не знал, — сказал в раздумье Никола.

— Вот теперь узнал.

— Да, узнал, — опустив голову, младший брат пошел к дому, сделал несколько шагов и обернулся: — Брат, хоть на этот год позволь мне убрать поле. Половина хлеба моя. Отец ведь его сеял. Из своего амбара зерно брал. Я, как и ты, его сын.

— Не дам, вот и весь сказ!

— Как это не дашь? Еще посмотрим летом. Я ухажу дробить камень. Но вернусь, когда поспеют хлеба, чтобы их убрать. Попробуй мне помешать! Увидим еще, посмеешь ли ты!

— Кому это ты угрожаешь? — вскинул вилы Гурко и с грозным видом придвинулся к Николе.

Никола не отступил. Он взглянул на брата исподлобья и зло сказал:

— Опустит вилы!

Рука Гурко дрогнула. Вилы качнулись.

— Опустит вилы! — рявкнул младший брат и сделал шаг вперед, готовый, как зверь, броситься на Гурко.

В это время через плетень заглянул сосед — дед Продан Земляк.

— Гурко! Никола! Бросьте! Что это вы делаете? Где это видано! Просто срам! Мне жена сказала — она

через плетень услышала, как вы спорите. Несносная баба весь день у плетней торчит. «Беги, говорит, не то дедушки Йордана сынки того и гляди друг друга порешат. Как схватились за вилы!» Послушайте, так ведь нельзя. Что на вас напало! Еще не успела первая свеча в головах у дедушки Йордана догореть, а вы уже сцепились... Стыда у вас нет!

Гурко опустил вилы.

— Хочет жать! Ни колоска не дам тебе срезать на моей ниве. Ты еще меня узнаешь!

— О чем спорите, о ниве, что ли? Если о ниве, послушайте, что я вам скажу. Вместо того чтобы хвататься за вилы да колья, идите к судье. Есть ведь у нас суд. Пусть он присудит, кому владеть Мырзяновым долом.

— Пойду. И в суд пойду! Я прогоню его отсюда, выселю из Сырпыцы!

— Что я тебе сделал, брат, почему ты хочешь меня выгнать? — спросил с горечью Никола, гнев которого уже остыл.

Он вернулся в избу и долго там возился. Наконец вышел с сумой через плечо и зашагал к воротам. На улице Николу догнала его невестка Недялка с караваем хлеба в руке.

— Никола, деверек, возьми хоть хлебушко...

— Не нужен мне ваш хлеб, он мне поперек горла встанет...

— Не надо так, деверек...

— Оставь его, коли не хочет! — крикнул Гурко, который возился подле телеги. — Пусть проваливает, пусть бродит голодный, как пес! Какой он мне брат! Пусть шею себе сломает!

— Ох, так и выгнал парнишку! — покачала головой Гурковица, не сводя глаз с путника, который шагал, опустив голову, вдоль садовой изгороди из терновника.

Гурко повертелся во дворе и, вместо того чтобы запрячь лошадь в телегу и отвезти дымящийся навоз на ниву, ввалился в избу, надел новое платье и объявил:

— Я еду в город, чтобы начать дело. Вернусь ночью.

— Ты сошел с ума! — бросилась ему навстречу Гурковица.

— Уйди с дороги! — закричал Гурко, замахнувшись.

Жена шарахнулась от него в испуге.

— Ах ты змей подколодный! Задумал дело начать. И против кого же? Против родного брата!

Гурко хлопнул дверью, ничего ей не ответив.

Миновала весна. Стало припекать летнее солнышко. Налились плоды на персиковом дереве и пригнули ветви прямо к окну опустевшей Николовой комнатки. Под стрехами ласточки высиживали птенцов. Пожелтели зеленые ковры, разбросанные по склонам холмов. Нагнули головы хлебные колосья. Заворковала горлица в Мырзяновом долу. Закачались маки на межах. Кузнец Марин наточил серпы. Собрался жать и Гурко. От Николы не было никаких вестей. Исчез, потерялся где-то на пыльных дорогах Фракии. И вдруг как раз накануне жатвы в ворота к Гурко постучал рассыльный из общины. Он принес две повестки в суд: одну — Гурко, другую — Николу.

— Завтра отправлюсь! — сказал Гурко, прочитав повестку.

— Куда? — спросила Недялка.

— В суд.

— А кто в поле будет работать?

— Поле подождет. Через два-три дня вернусь.

— Да пропади он пропадом твой суд! Не ходи, Гурко! Остайся, лучше хлеб уберем. Люди торопятся, чтоб как можно быстрее управиться, а ты вдруг в суд собрался!

— Поеду. От этого поля не дам ему ни бороздки! Что он выдумал в самом-то деле?

— Ведь ты его прогнал. Кто знает, где он скитается, голодный, не обстиранный, по чужим селам. Бедный парнишка!

— Видела бы ты, каким волком он на меня глядел. Никогда не забуду его глаз.

— Как же ему было не глядеть волком, когда ты схватился за вилы, чтобы его проколоть!

На другой день Гурко потащил бабку Гергину в город свидетельницей. Все крестьяне отправились на жатву. Гурковица решила приняться за свою полосу, не дожидаясь мужа. Она позвала пять жниц. Но сноповяз не пришел. К кому толкнуться? Каждый спешил в первую очередь убрать свое. Приближался полдень. Недялка зашла в летнюю пекарню, протянула руку к полке, где лежали четыре подрумянившиеся, еще теплые хлеба, отрезала ломоть. Вдруг стукнула дверь. На пороге стоял обросший бородой мужчина. Он просунул в пекарню черную голову.

— Вот и я! — послышался знакомый неторопливый голос.

Гурковица обернулась, и глаза ее засветились.

— Добро пожаловать, деверек! Тебя сам господь привел. Нам как раз тебя-то недоставало! Некому снопы вязать...

— А брат где?

— Брат твой в городе, таскается по судам, а поле горит...

— Так! — безучастно промолвил Никола и повесил на гвоздь дорожную суму. — А я остался без работы. Перестали то шоссе прокладывать, где я камни дробил. Смотрел, смотрел я на желтые поля, вот и пришла мне на ум наша нива. «Пойду-ка, думаю, да помогу им». Не надо мне моей доли. Раз батюшка завещал поле старшему, так пусть оно и будет. Я здоровый, заработаю себе на хлеб. Ничего я не хочу. Хочу только, чтобы ты мне одежонку поштопала, когда найдешь время, невестка. Уж очень я оборвался. Коленки видны.

— Позвать жниц?

— Зови. Сегодня?

— Сегодня. Когда же еще? Ведь хлеб в поле.

Шесть молодых жниц снимали хлеб на поле дедушки Йордана. Начали с нижнего края. Замелькали связки желтых колосьев. Зазвенели чистые девичьи голоса, понеслись с холма на холм. Никола принялся вязать — один сноп больше другого. Пот катился градом по его лбу. Белая рубашка взмокла. Невестка задорно поглядывала на него.

— Выбирай! — шепнула она ему на ухо. — Какая тебе больше нравится, ту и возьмем для тебя. Ты уже не маленький.

Никола застыдился, опустил глаза и до самого вечера не глянул ни на одну из жниц.

Наутро пришли еще пять жниц, и все поле убрали до колоска. Завили бороду. Собрали снопы. Пока Никола складывал крестцы, с родопских вершин оторвались свинцовые тучи и вскоре повисли над равниной. Стало черным-черно. Жнеи бросились в Сырпицу. Загремел гром. Забарабанил град по черепице. Земля побелела. Недялка сидела в сених, глядела на белые небесные пули и говорила:

— Хорошо, братец Никола, что ты вернулся. Как нам повезло! Этот град вылушил бы весь хлеб до последнего зернышка. Что бы мы тогда ели зимой?

Когда миновала дождливая ночь, Никола снова ушел на пыльные фракийские дороги. Чья-то заботливая рука опустила в его дорожную суму два теплых хлеба и деревянную миску, полную свежей малосольной брынзы.

Поздно вечером из города вернулся Гурко. Он снял баранью шапку, бросил ее на рогожку и сказал:

— Дело я выиграл, но хлеб погубил. Вот ведь беда!

— Так тебе и надо! — сказала Гурковица с укоризной. — Затеял судиться с родным братом!

— А град был крупный?

— С куриное яйцо.

— Ох! И никогда еще поле не давало такого доброго урожая. Впору камень взять да поколотить себя по голове.

— Принести тебе камень? — услужливо переспросила Недялка и побежала в домовую пекарню. Спустя немного она вернулась и поднесла мужу «бороду» — последние хлебные колосья с поля в Мырзяновом долу, перевязанные красной ниткой.

Пронеслись летние вихри над Фракией. Заскрипели телеги, груженные снопами. На гумнах выросли высокие копны. На перекрестке дорог, под июльским солнцем, сидел, расставив ноги, Никола и дробил молотом синий гранит.

— Здравствуй, молодец! — сказал у него за спиной высокий сухощавый человек в белых обмотках. — Наконец-то я тебя нашел! Много славных снопов связал ты в Мырзяновом долу. А теперь мне некому помочь погрузить их на телегу. Вставай, пойдем в Сырпицу!

Никола обернулся:

— Это ты, брат?

— Я. Дай мне руку, братишка! Что было, то прошло. Суд присудил поле мне, да я его не хочу. Пусть оно будет общее: мое и твое. Вместе будем его обрабатывать и хлеб разделим по-братский.

Никола выпустил молот, вскочил и крепко сжал руку брата.



ЛАЗАР ДУШЕГУБ

Воротившись с мельницы, Лазар Душегуб откатил тележку к сараю. Инка, жена Лазара, тщедушная бабенка в черном платке, выбежала из дому. Она была маленького росточка, и один глаз у нее почему-то все время слезился. С тех самых пор как похоронили они с Лазаром своего первенького, из левого ее глаза не переставая текли слезы.

— Ставь, жена, угощение! — крикнул Лазар. — Хорошую новость привез.

— Какую?

— Сейчас скажу. Дай только телегу разгрузить.

Лазар — худой высокий человек — взвалил на спину мешок с мукой, а Инка поспешно распахнула перед ним дверь. И, когда он вошел в дом и сбросил мешок на пол, принялась заботливо отряхивать его спину. Но так как коротышка-жена едва доставала ему до пояса, половина спины так и осталась в муке.

— Ну, говори.

— В гнезде вылупились четыре птенчика.

— Да что ты! — взволнованно проговорила Инка.

— Завернул я по дороге на наш огород. Помидоры уже кое-где спели. Завтра снимать можно. Дай-ка, думаю, загляну в гнездо. Как они запищат! Лежат четверо, голенькие, голенькие. И ну клевать мои пальцы, глупые.

— А ты, не приведи господь, не трогал их? А то ведь мать тогда их бросит.

— Нет. Что ты, разве таких можно трогать? Только вылупились.

Обрадованная Инка отерла левый глаз, который от умиления стал слезиться еще пуще, и забежала, захлопотала. Налила фасолевого чорбы в новую миску, подала на стол, и сели они ужинать. Но не успел Лазар зачерпнуть первую ложку, как жена так и подскочила.

— О господи, как же это я запаматовала! Ведь мы письмо получили, Лазар!

— Письмо? Кто принес?

— Почтальон Драган.

— Дай сюда.

Инка потянулась к стенной полке, достала письмо. Она до того растерялась, когда взяла его из рук почтальона, что не знала, куда и спрятать, и сунула на полку с посудой под миску.

Лазар, ухмыляясь, протянул за конвертом руку. Оглядел со всех сторон. Даже понюхал. Письмо. Настоящее. И марка есть.

— Первый раз в жизни, жена, получаю письмо. Кто я такой? Самый что ни на есть распоследний на свете человек. Как говорит Иван, и меж двумя ослами пучка соломы поделить не могу, а вот поди ж ты, письма получаю. Много ль наберется в селе таких, что

письма получают? Пойду попрошу, чтоб прочитали. Там, должно, чего-то написано.

— Ты бы хоть чорбы похлебал, пока не остыла.

— Не до чорбы мне теперь. Пойти разузнать, от кого оно и что там прописано. А важное это дело — письма получать. И пустяковая вроде бумажонка, а вот — на тебе! Кто ее знает, через какие моря-океаны пролетела?

Инка подала ему шапку. Выйдя за ворота, Лазар натолкнулся на ватагу ребятишек, игравших в чехарду и, точно щенята, кувыркавшихся по земле. Так как на душе у него было радостно и он торопился, Лазар не обошел детей стороной, а взял да и перепрыгнул через них. Мальчишки, разобидевшись, закричали ему вслед:

— Эй, Лазар, Лазар, за что Кривицу зарезал?

Лазар сорвал с головы шапку и замахнулся. Малыши прыснули во все стороны, словно испуганные воробушки.

Согнувшись в три погибели, Лазар вошел в корчму. Там были только двое — корчмарь Яне да дед Иван Кримка¹. Яне пыхтел над какой-то тетрадкой, что-то подсчитывал, слюнявя карандаш и почесывая им в голове. Дед Иван сидел, уставившись в отворенную дверь.

Был вечер. Народ возвращался с поля. Дед Иван дожидался, когда односельчане распрягут волов и зайдут в корчму, чтобы высыпать перед ними ворох новостей. До работы дед Иван был не больно охоч. Любил полеживать в тенечке у себя в саду, подстелив козью

¹ Кримка (болг.) — старинное ружье; прозвище означает — «человек бывалый, выдавший виды», «стреляный воробей».

шкуру. Слушал гомон птиц, жужжание пчел и сочинял всевозможные новости. Уж что-что, а сочинять он умел. Умел он, кроме того, и читать, а писать знал только одно слово — Иван. Больше ничего.

Лазар подсел к нему.

— Доброго здоровья, дед Иван!

— И тебе дай бог здоровья. Ты что, Лазар?

— А вот что, дед Иван, письмо получил.

— Быть того не может. Какое письмо?

— Вот затем к тебе и пришел, чтобы ты мне его прочитал.

— Давай сюда. Я, брат, тертый калач, мне эти дела не в диковинку. А сказать, чтоб всякие там гимназии закончил — так нет. Грамоте выучился в России, когда огородничал там.

— Агротомная, братец мой, страна — ого-го! И агротомную я там науку превзошел. Столько всяческой премудрости понабрался, что голова стала тяжелей ломского арбуза. Рассказать бы обо всем об том немудрящим нашим людишкам — враз бы поумнели. Да, вишь, недосуг им меня слушать — работы у них завал.

Дед Иван Кримка достал из-за пояса потертый футляр, вынул очки с помутневшими от времени стеклами, напялил на нос, осторожно надорвал конверт, вынул письмо и, едва начав читать, сокрушенно закачал головой:

— Худо, брат.

— Что худо?

— Плохое письмо. Погоди, дай разобраться.

Лазар вздрогнул и весь сжался в своем темном углу. Человек он был пуганый. Сызмальства носил

в душе страх. Как-то, когда ему было пять лет, забрел в их село медвежий поводырь и привязал своего зверя к плетню, у самого их дома. А медведь ненароком отвяжись, да и войди в открытую калитку. Маленький Лазар в это время играл во дворе под шелковицей. Волоча за собою тяжелую цепь, медведь двинулся к мальчику и переступил через него. Не тронул, ничего худого ему не сделал, но и этого было достаточно — долго, пока Лазар не вырос, все мерещился ему, все стоял перед глазами медведь. Двадцати лет от роду Лазар осиротел и пошел наниматься в люди. Ходил из села в село, искал работу. Но тут на него накричат, там отругают, никак не мог парень подыскать себе места. Наконец добрался до села Осикова, там и зацепился. Пробатрачил лет пять-шесть, скопил немного деньжат и женился на Инке. Они сняли в аренду огород и стали разводить овощи. В будни работали на огороде, в праздник отдыхали. Жизнь вели самую скромную. И надо же было случиться такому — однажды ночью какие-то бандиты зарезали и ограбили мельника Кривицу. Крестьяне, знавшие робкий нрав Лазара, принялись, потехи ради, донимать его распросами.

— Слышь, Лазар, а ты не из тех ли будешь?

— Из каких?

— Да тех, что Кривицу прикончили?

— Да вы что, братцы, я и мухи-то не обижу...

А неотвязные шутники знай потешаются.

— Не отказывайся, — говорят, — не иначе, твоих рук дело.

И чем больше оправдывался бедняга, чем больше умолял не пугать за зря, тем пуще раззадоривались

осиковчане. Тогда-то и прилипла к нему кличка — Лазар Душегуб. Невмоготу стало Лазару. Целыми ночами, бывало, мается, и сон его не берет. И вот как-то по весне собрал он свои пожитки, нагрузил на телегу и потихоньку да полегоньку добрался до нашего села. Поглядели наши на его бедноту, взяла их жалость, и решили они помочь человеку. Незадолго перед тем отдала богу душу бабушка Кына. Бобылка — никого, даже кошки после нее не осталось. И пустили Лазара в ее домишко. Там он и расположился на житье.

Растроганный людской добротой, Лазар отправился в Яневу корчму и там рассказал о своих бедах-мытарствах. Рассказал о медведе, о людях, которые взвели на него напраслину, будто это он убил мельника Кривицу. Ничего не утаил. Все как есть рассказал, как на духу.

— Чем же заниматься будешь? — спросил его кмет.

— Я огородничать умею.

— Ну что же, огородничать так огородничать, — главное в деле толк понимать.

Но уже на следующее утро, когда повез Лазар навоз на огород, целая орава детишек бросилась за ним следом с криками:

— Лазар Душегуб едет! Лазар, зачем мельника зарезал?

Трижды пытался Лазар распрощаться с нашим селом, но дед Иван Кримка каждый раз останавливал его:

— Куда? Да в уме ли ты? Плюнь ты на них. Темный народ, что с них взять? Пускай себе брешут, а ты не слушай.

Когда началась война, забрали в солдаты и Лазара. Вскоре слух прошел, будто его ранило. В первом же бою, едва слышав пушечный выстрел, подхватился наш Лазар и давай бог ноги. Тут пуля его и настигла. Вернулся Лазар хромым. Еще и теперь у него зуб на зуб не попадал — такого страха там натерпелся.

Чередой потянулись годы. Детей у них так больше и не было, и Инка стала жить чужими радостями. Она вся загоралась, когда видела маленького ребенка, ягненок или птенчика.

Во всем селе Лазар питал доверие только к одному деду Ивану, и потому страшно перепугался, когда Кримка сказал «худо, брат».

— Что, что худо-то? — отважился спросить из своего темного угла Лазар.

— Что? В письме вон сообщают, что ты зарезал мельника Кривицу. Чего на меня уставился?

— Дед Иван...

— Знаю, знаю. Страшают тебя, сынок. Пишут, бесстыжие, будто, когда ты зарезал мельника, то и деньги его прибрал. Полная кубышка золотых червонцев была зарыта будто у Кривицы на огороде за мельницей. А этот, что пишет, родней Кривице будто доводится, седьмая вода на киселе. Требуется, чтоб ты полкубышки ему отсыпал. Грозится нагрянуть как-нибудь ночью. Так чтоб ты приготовил червонцы-то! А коли, пишет, не отдашь, шкуру с тебя сдерет. Башибузук проклятый!

Лазар стоял белый как мел.

— Дед Иван, ты ведь знаешь меня как облупленного. За что они меня мучают? Что я им худого сделал?

Бедняга дрожал, глаза его были полны слез.

— Ну, ну! Чего нюни распустил, ровно баба какая? Вот не слушаетесь меня, а не зря я вам твержу, чтоб каждый заимел в доме такое ружьишко, как у меня. Спору нет, старое оно, но зато бьет что твоя пушка. Попробовал бы кто мне такое письмо написать да препожаловать ко мне ночью, я бы в нем, как в решете, дыр понаделал бы. Долго б он мою кримку помнил. Двадцать лет, почитай, не брал я ее в руки, боюсь из нее бахнуть — больно много у нас в селе баб на сносях.

Лазарь встал и, пошатываясь, направился к двери. Дома, когда он рассказал обо всем Инке, та в голос запричитала.

Стемнело. Затих грохот телег по улицам села, вернулась с пастбищ скотина. Ночь нагнала еще больше страху на беднягу Лазаря и его жену. А ну как и впрямь заявится тот? Что ему скажешь, как перед ним оправдаешься? Вскоре над темными деревьями сада показалась луна, и стало светло как днем. Лазарь выскочил на улицу и побежал к дому деда Ивана. Постучался, всполошил собаку. Дед Иван вышел к нему в одном исподнем.

— Ты чего это стучишься об такую-то пору?

— Прощенья просим, дед Иван! Хочу попросить тебя об одном деле, не откажи уж. Будь отцом родным!

— Говори.

— Дал бы ты мне свое ружьишко-то.

— Ружье? Да ты в уме? Зачем оно тебе понадобится? Кого стрелять собрался?

— Да никого я стрелять не буду. А так, для храбрости.

— Ишь чего удумал. Хорошенькое дело. Вот теперь-то мне и открылось, что ты за человек и почему тебе такие письма шлют. С виду тихоня, мухи не обидишь, а пришел за ружьем. Иди-ка ты прочь от моих ворот, не то собаку спущу. Марш!

Лазара в жар бросило.

— И ты, дед Иван!

— Да, и я! Видали? Ружье ему подавай, людей убивать.

Сквозь землю готов был провалиться несчастный Лазар. Кримка в сердцах громко хлопнул дверью.

До полуночи Лазар Душегуб таскал из сада бревна, поленья, камни — ворота заваливал. Тетка Инка светила ему керосиновой лампой. К тому времени, когда первые петухи пропели, ворота были так прочно завалены, что и вдсятером не сдвинуть. А когда пропели третьи петухи, Лазар разобрал плетень в дальнем конце сада и вывел под уздцы старую свою лошаденку. На телеге серая, точно черепаха, сидела тетка Инка, пугливо озираясь по сторонам.

Они бежали из села.

Когда телега въехала на вершину высокого холма, их встретило солнце. Ласково, как сестра, как мать. Роса омочила босые ноги Душегуба. Он остановил лошадь, повернулся лицом к восходящему солнцу и скинул с головы шапчонку. Тетка Инка выпрямилась в телеге и быстро, истово закрестилась.

— Матерь божья, авось в другом селе люди по-добрей окажутся.



ОДНАЖДЫ СНЕЖНОЙ НОЧЬЮ

ребята были несмышленные, поэтому снежный человек вышел из их рук недоделанным. Вместо носа они воткнули ему стручок красного перца, и человек стал обнюхивать воздух, как охотничья собака. На голову дети нахлобучили ему ветхую дырявую шляпу, чтобы у него проветривались мозги. А усы ему сделали длинные, из шерсти — ее вытащили из старой подушки, которой вспороли брюхо. Усы повисли книзу, и как только ребята побежали искать глаза для снежного человека, он поднял руку и начал усы подкручивать. Веселые маленькие человечки, размахивая руками, побежали домой и вскоре вернулись с двумя стеклышками от разбитой бутылки из-под лимонада; они вставили их под лоб на белые щеки, украшенные усами. Снежный человек мигом прозрел. Огляделся вокруг и вздохнул:

— Ах, как чудесен мир!

Все принесли ему ребята. Добыли для него и плащ — рваный куль, — только сердце забыли вставить. Ведь они были детьми и не знали: для того чтобы быть человеком, надо иметь сердце.

С соседнего двора прибежал пес школьного сторожа. Он не любил незнакомых людей и потому ожесточенно набросился на снежного человека. Снеговик равнодушно глядел на разъяренную собаку и не обращал на нее внимания, но как только собачьи зубы впились в край мешка, он рассердился. И начал махать руками. Наклонился, подобрал лопатку, которой дети разгребали снег, и ударил пса. Маленькие разбегавшиеся человечки разбежались в страхе, как птички, на которых накинута ястреб. Они побежали в свои теплые дома, чтобы пожаловаться матерям. А пес поджал хвост, завизжал, забился в мусорный ящик и там притих. Снежный человек вернулся на свое место и стал, как страж, которому поручили стеречь сокровище. Наступившая темнота скрыла белый двор, занесенные снегом дома. Замелькали огоньки. Разубранные морозом деревья стали похожи на сказочных красавиц. Подул холодный ветер. Закачались ветви, и с них посыпалась мелкая снежная пыль.

Вдруг откуда ни возьмись к снежному человеку подлетела какая-то заблудившаяся птичка, забила крылышками в снегу, подняла глазки вверх и сказала:

— Мои крылышки еле двигаются от холода. Я оторвалась от стаи и сбилась с пути. Над опустевшей равниной кружит грозная снежная буря, срывает с деревьев черные ветви. Ледяной хворостинкой она смеет нашу стаю. Я от нее отстала. Потеряла всех своих птенчиков. Я не добралась до теплых краев, где сейчас лопаются росистые почки, где шумят прозрачные потоки на зеленых лугах и склоняют колосья

желтые нивы. Согрей меня! Если я не прильну к твоему сердцу и не услышу толчков человеческой крови, я погибну.

— Иди сюда,— взволнованно сказал снежный человек,— спрячься ко мне за пазуху, прижмись к моему сердцу!

Беспомощная птичка напрягла последние силы, взлетела, забилась под мешок и затрепетала еще сильнее, прижавшись к снежной груди. Все муки злощастной птички сразу кончились. Ее замерзшие крылья чуть дрогнули, и она окоченела. Разжались скрюченные коготки, и мертвая птичка упала к ногам своего спасителя.

Снежный человек поглядел на нее и задумался.

— Хорошо же я ей помог! — промолвил он.

Снова прибежал ошетинившийся пес школьного сторожа, быстро подхватил мертвую птичку и исчез в темноте.

Погруженный в свои мысли снеговик зашагал к воротам. Вышел на улицу. Навстречу ему задул ветер, сорвал с плеч мешок.

— Не хочу ходить нагим там, где все ходят в теплой одежде! — крикнул снежный человек и погнался за ветром. Он настиг его за деревьями в пустом саду, где бронзовая серна рылась мордочкой в снегу и искала зеленую травку. Посрамленный ветер бросил украденный мешок на ветку и полетел дальше. Запыхавшийся снежный человек отцепил свою накидку с сухого сучка, снова набросил ее на плечи и пошел куда глаза глядят. Он брел, брел, провалился в сугроб, с трудом из него вылез. Когда колокол на городской башне пробил двенадцать раз, снежный

человек вышел за стены города. Ветер подмел облака своей гигантской метлой, и луна светилась, как подсолнечник. Снежный человек видел ее впервые и был ею очарован.

«Что это за небесная скиталица?» — подумал он.

— Эй, приятели! Сейчас у тебя упадет шапка,— произнес кто-то у него за спиной.

Снеговик вздрогнул и обернулся. Он увидел странное существо об одной ноге, с растопыренными руками. Голова его была вырезана из тыквы, а глаза неумело нарисованы чернилами.

— Кто ты? — спросил снежный человек.

— Я пугало этого виноградника.

— А кого ты пугаешь?

— Птиц, что клюют ягоды моего хозяина, владельца самого большого виноградника.

— А на что твоему хозяину столько винограда?

— Чтобы наполнить бочки вином.

— Вином? Разве у твоего хозяина нет прозрачной студеной воды?

— Но вином он веселит сердце.

Улыбка заиграла под накладными усами снежного человека.

— Сердце, сказал ты? Ты шутишь. Разве есть сердце у твоего хозяина, который испокон веков съедает хлеб своего ближнего и отнимает у него жизнь с помощью камней, стрел, ножа, секиры, палицы, яда, пуль, мин, бомб, огня и веревки? Вижу, приятель, что ты раб своего жестокого хозяина. Стоишь на одной ноге, как инвалид давно прошедшей, забытой войны, и сторожишь виноградник, чтобы его не клевала злополучная мертвая птичка. Твоя голова сде-

лана из тыквы, вот почему ты не способен поднять знамя свободы. Но похлопочи хотя бы о том, чтобы тебе увеличили пенсию.

— Я не получаю пенсии,— и пугало грустно покачало головой.

— Не получаешь? Что за несправедливость! Надо, чтобы ты получал пенсию. Чего ты ждешь? Собери своих товарищей, организуй «Содружество огородных и прочих пугал». Выберите председателя, пять постоянных членов и трех кандидатов с ежемесячным окладом. Поторопите государство. Оно должно это сделать, милейший. Заставьте его еще подоить дойную коровку. Бедный народ за все заплатит. А пока что отдай мне твое пальто, потому что мне стыдно тащить на спине этот куль. Совет, который ты от меня получил, стоит пальто!

— Но оно не мое. Это — единственное наследство, полученное моим хозяином от его одряхлевшего отца.

— Ты получишь пенсию в пять тысяч левов и купишь себе кожух. Мне на тебя смотреть противно в этой драной шубе. Снимай!

— Я буду звать на помощь! Ты вор! — закричало пугало, но снежный человек закрыл ему рот рукой. — Я тебя упрячу в тюрьму! — грозилось обобранное пугало.

— До свидания, простофиля! — Снежный человек выпустил его из своих рук и повернул обратно к городу.

На перекрестке у электрического фонаря стояла слепая. Свет лампы золотил растрепавшиеся волосы девушки, которая спрятала левую руку под старень-

кий вязаный платок, а правой сжимала букетик бу-
мажных цветов. На ресницах ее повисли маленькие
снежинки. Но глаза были навек закрыты для сол-
нечного света. На щеках девушки блестели замерзшие
капельки слез.

Снеговик снял шапку и поклонился.

Девушка поняла, что перед ней стоит мужчина.
Она его не видела, но угадала. Смущенно разжав
губы, она попросила:

— Господин, купите цветочек!

Снежный человек смотрел на нее с восхищением.
Все было прелестно в этой девушке: запорошенные
снегом волосы, позолоченные светом электрической
лампы плечи, длинные черные ресницы, слезы, стекав-
шие каплями из невидящих глаз...

— Как ты красива! — сказал он.

Девушка вздрогнула и горько улыбнулась.

— Как Золушка.

— Где же твои глаза? — наивно спросил человек.

Девушка опустила голову. На ее лицо набежала
темная тень — след глубокого горя. Правая рука
крепко сжала мертвые цветы. Она вздохнула. В этом
вздохе была пламенная тоска по чудной жизни, бур-
лящей вокруг людей, которые ее не замечают. Снеж-
ный человек понял, что девушка слепа.

«Те, кто меня породил, воткнули мне вместо глаз
два драгоценных шарика, и я вижу все!» — подумал
он и, чтобы ощутить, что такое тьма, закрыл рукою
глаза. Наступил мрак, сказка оборвалась. Человек
приблизился к замерзающей девушке, протянул руку
и нежно погладил ее по голове.

— Я не знаю, кто ты... — прошептала слепая.

— Я скажу тебе. Я рожден из снега, который окутывает грязную землю благодатной пеленой. Я — дитя легкомыслия и должен тебя предупредить, что я не человек.

— Раз ты спустился с неба, ты, должно быть, чудесное создание! — воскликнула слепая. — Я ждала тебя всю жизнь. И наконец ты пришел!.. Я знала, что ты придешь. Сегодня ночью ты будешь моим гостем. Я живу в маленькой комнате. Там на окне сейчас цветет мой живой цветок. Он предназначен тебе. Придешь ли ты, чтобы его сорвать?

— Почему же мне не прийти! — И снежный человек улыбнулся.

Девушка не верила своим ушам. Лицо ее светилось счастьем.

— Идем же, идем! — проговорила она нетерпеливо.

Она взяла его под руку, и они бодро зашагали по безлюдной улице. Ночь была снежная, беззвездная, но огоньки города сверкали, как драгоценные каменья. Снежный человек шагал не спеша, он не догадывался о волнении этой одинокой женской души, которая билась, как утопающая о скалы, и стремилась выбраться на берег. Он не слышал, что сердце ее стучит, как колокольчик на санях свадебного поезда. Не знал он и того, что звезды — не драгоценные камни.

В комнате у девушки от холода горшок на окне лопнул, и росший в нем цветок увядал, прислонившись к стеклу.

Девушка положила руки на плечи странного гостя.

— Здесь мы одни. Сейчас начинается сказка. Знаешь, что делают двое молодых людей, когда они остаются одни?

И она приблизила свои губы к его губам.

— Ты — первый мужчина, который вошел в мою комнату. Бррр... какой ты холодный! Неужели все мужчины такие холодные, как ты?!

Снеговик невольно обнял ее, но он не мог почувствовать трепетанья горячего девичьего тела. Однако теплота слепой девушки неясно волновала его, и голова человека закружилась.

— Здесь очень холодно, — прошептала девушка и вырвалась из его объятий. — Прежде всего я затоплю печку, а когда она запоет, мы сядем ужинать. Мое сердце томилось от ожидания, но я знала, что ты придешь! Каждая девушка имеет право быть счастливой, хотя бы одну ночь в своей жизни, даже если она слепая. Пока я буду разжигать печку, сбегай в корчму напротив и возьми бутылку вина. Я хочу чокнуться с тобой в мою свадебную ночь! Вино еще ни разу не омочило моих губ.

Снеговик покорно вышел, пересек улицу и остановился перед запотевшим окном корчмы. Он видел за стеклом десяток бутылок, поставленных в ряд. Как маленький наивный ребенок, снежный человек попытался взять бутылку через стекло, но это ему не удалось. Он попытался во второй, в третий раз. Наконец беспомощно опустил руки.

— Ты что, пришел сюда воровать, бездельник! — Корчмарь высунул голову из двери. — Сейчас же убирайся, а не то я возьму скребок и дам тебе по шее!

Снежный человек удивленно взглянул на расшвырявшего корчмаря и, опустив голову, пошел прочь. Он сразу забыл и про бутылку, и про девушку, и про сказку. Ведь у него не было памяти. Несмышленные дети забыли вложить ему в голову память.

Колокол на городской башне пробил три раза. Ночной скиталец остановился на просторной площади. В конце площади маленький человек, согнувшись, сгребал снег, как крот, и складывал его в кучи.

— Что ты здесь делаешь, дедушка? — спросил снеговик.

— Я — городской метельщик, из ночной смены. Мне велели за ночь очистить площадь всю целиком, — взгляни, какая она большая.

Снежный человек взглянул в лицо сгорбленного метельщика и ощутил нечто вроде жалости. У метельщика не было пальто, оборванные рукава висели, руки без рукавиц посинели от холода, а усы обледенели.

— Дай мне лопату, дедушка, — сказал снеговик. — Я помогу тебе. Я моложе тебя, можно сказать совсем новорожденный. Я поработаю, а ты пока отдохни.

Метельщик передал ему лопату. Полный сил, снежный человек размахнулся, как великан, и начал сгребать лопатой глубокий снег. Он разогрелся, снял пальто и сбросил его наземь. Метельщик поднял пальто с земли и прикрылся им. Он прикорнул под защищенным от ветра окном, свернувшись, как пес. А снежный человек ловко работал лопатой и даже начал насвистывать. Дело спорилось у снежного человека — он убрал снег, очистил всю площадь.

Старый метельщик вернул ему пальто.

— Надень его, ты вспотел и можешь простудиться.

Снежный человек набросил пальто и сказал:

— Ну, а теперь прощай, старина!

— Куда ты идешь? — спросил метельщик. — Сначала выпей со мной чайку. Вон там поблизости теплая чайная. Там чай стоит всего один лев. Правда, сахару мало дают, но ничего, нам с тобой хватит.

Они пересекли площадь и свернули в узкую улицу. Вошли в чайную. В ней никого не было.

— Сядем поближе к печке. Где же печка? — спросил метельщик. — Я плохо вижу. Ох, ничего нет лучше тепла! Дома у меня нет дров, мы спим в холоде. Тяжелая у нас жизнь!

Снежный человек подвел его к печке. Они устроились в полумраке. Метельщик заказал две порции чая. Сонный парнишка принес чашки, из которых шел пар, и поставил их перед гостями. Старик дрожащей рукой подвинул к себе одну чашку и стал жадно пить. Снежный человек, которому страшно хотелось пить, взял вторую чашку и выпил ее одним духом. И сразу почувствовал, что все внутри у него пылает. Голова его свесилась, глаза затуманились, выскочили, упали и покатались под стол.

«Что это со мной?» — только успел подумать снеговик и начал быстро таять, согретый жаром печи и горячим чаем.

Старик жадно пил и думал:

«Все-таки есть еще на свете добрые люди! Не попадись мне этот дружок, я околел бы от холода. Приглашу-ка я его к себе домой, пусть побудет у меня

до рассвета. Бродит ночью по улицам — кто его знает, есть ли у него кров?»

— Эй, приятель, — окликнул своего гостя метельщик, — ты где ночуешь?

Никто не ответил. Снежный человек растаял и превратился в лужу воды. На стуле остались только его шапка и пальто. Стручок красного перца плавал посреди лужи.

— Ушел! — тихо произнес старик, зевнул и задремал.

Старый метельщик вернул ему пальто.

— Надень его, ты вспотел и можешь простудиться.

Снежный человек набросил пальто и сказал:

— Ну, а теперь прощай, старина!

— Куда ты идешь? — спросил метельщик. — Сначала выпей со мной чайку. Вон там поблизости теплая чайная. Там чай стоит всего один лев. Правда, сахара мало дают, но ничего, нам с тобой хватит.

Они пересекли площадь и свернули в узкую улицу. Вошли в чайную. В ней никого не было.

— Сядем поближе к печке. Где же печка? — спросил метельщик. — Я плохо вижу. Ох, ничего нет лучше тепла! Дома у меня нет дров, мы спим в холоде. Тяжелая у нас жизнь!

Снежный человек подвел его к печке. Они устроились в полумраке. Метельщик заказал две порции чая. Сонный парнишка принес чашки, из которых шел пар, и поставил их перед гостями. Старик дрожащей рукой подвинул к себе одну чашку и стал жадно пить. Снежный человек, которому страшно хотелось пить, взял вторую чашку и выпил ее одним духом. И сразу почувствовал, что все внутри у него пылает. Голова его свесилась, глаза затуманились, выскочили, упали и покатались под стол.

«Что это со мной?» — только успел подумать снеговик и начал быстро таять, согретый жаром печи и горячим чаем.

Старик жадно пил и думал:

«Все-таки есть еще на свете добрые люди! Не падайсь мне этот дружок, я околел бы от холода. Приглашу-ка я его к себе домой, пусть побудет у меня

до рассвета. Бродит ночью по улицам — кто его знает, есть ли у него кров?»

— Эй, приятель, — окликнул своего гостя метельщик, — ты где ночуешь?

Никто не ответил. Снежный человек растаял и превратился в лужу воды. На стуле остались только его шапка и пальто. Стручок красного перца плавал посреди лужи.

— Ушел! — тихо произнес старик, зевнул и задремал.



МАДАРСКАЯ ЛЕГЕНДА

ихо застрекотали кузнечики. Зашелестела полегшая трава, сохранившая еще тепло солнца. Замелькали светлячки в кустах у маленьких мадарских мельничек. Заколыхались над ними трепетные ивы, расправили белые свои ветви. Глухо зашумела густая листва. Потонули во мгле вековые, огромные глыбы, сорвавшиеся с горных вершин. Высоко над верхушками гор дрогнула желтая звезда и поплыла над синей Дунайской равниной. Она словно покликала за собой две другие, и те, как цыплята, послушно потянулись следом за ней. Но их голоса затерялись где-то высоко в золотистой пыли Млечного Пути. Озаренные лунным светом, звонче запели кузнечики, громче зашелестели листья и травы, игриво заплясал прозрачный ручей в долине. Месяц покатился над горными кручами и в нерешительности замер на самом краю одной из скал, словно размышляя, плыть ли ему вниз, в синеву, простершуюся над ишеничными полями, или завалиться на мягкую траву, под ветви сирени, и уснуть крепким сном. Загляделся ясноликий месяц на широкие поля,

которые торопливо облачались в серебряный ночной убор, свесился над скалой и плеснул, словно из ведерка, светом на глинобитные стены разрушенных жилищ, залил каменные развалины, ласково коснулся могильных крестов, поставленных тысячу лет назад.

Проскользнул над Мадарской крепостью, чьи высокие каменные стены с островерхими башнями, с глубокими круглыми окошками и узкими бойницами давно уже обрушились. Проплыл над дремлющей темной рощицей и нежно прильнул к ветвям сирени, согнувшимся под тяжестью цветов и птиц.

Какая долгая вереница веков прошла перед взором этого золоторогого месяца!

Где теперь та земля, где те люди, которые девять столетий назад неслись вскачь по Дунайской равнине, охотились за вепрями в Делиорманских лесах, вкушали на пирах медовую брагу и вместо знамен высоко взметали вверх черные бунчуки? Где орды закованных в тяжелые железные кольчуги воинов, вооруженных тонкими копьями, грозовой тучей устремлявшиеся на юг? Где пышные палаты, перед которыми чужестранец застывал, очарованный? Где язычники, поклонявшиеся орлам, где первые христиане?

Огромное удивленное небесное око! Когда тысячу лет назад ты всходило над этой самой скалой, ты озяло своим сиянием сильнейшую из болгарских твердынь. Ты проплывало над спящими примолкшими башнями, над дремучими лесами, где водились русалки и было видимо-невидимо диких зверей, и осыпало золотыми бликами престольный белокаменный град. Встречались ли тебе на его улицах юные влюбленные, очарованные красотою ночи? Подслушивал ли ты неж-

ные их беседы? Так поведай нам о тех суровых, жестоких, полудиких воинах в обагренных кровью одеждах из кож, что по ночам, опершись на свои копья, тосковали о далекой прародине, оставленной где-то в волжских степях — далекой и призрачной, как сон, как сказка.

Поведай нам эту сказку!

А мы ляжем в густую шелковую траву и будем слушать тебя. Смолкнут кузнечики, и сонный ночной ветерок будет раскачивать над нами ветви сирени, прогнувшиеся под тяжестью цветов и птиц.

Оживет высеченный в скале всадник, вонзят шпоры в исполосованные трещинами бока своего коня, и тяжело загрохочут каменные копыта по садам и крышам Мадара. Гул пойдет по всей Дунайской равнине. И еще не пропоют, не захлопают крыльями первые петухи, а каменный конь уже припадет с жадностью к белым водам Дуная, а всадник станет пристально вглядываться в глубины тихой реки, откуда должна явиться ему русалка.

Помнишь ли ты славного мастера, что вырубил в скале всадника и трепетного того коня? Помнишь ли молот его и руку, владевшую чудесным даром ваяния?

Он был совсем юн, этот славянин с желтыми, как солома, волосами, буйными прядями спадавшими ему на лоб, и загадочными глазами, озаренными огнем вдохновения. В крепости, где рога трубили боевой клич, где слышалось нетерпеливое ржание коней и раздавались громкие крики воинов, жадных до добычи, до женщин, медовой браги и сражений, этот человек был чужим. Он был отмечен печатью иных времен. Никто

не знал, откуда он родом, откуда пришел в Плиску. Целый день бил он по резцу своим тяжелым молотом, а уморившись, опускал руку и глядел на поле, где мирные жнецы торопились сжать созревшую пшеницу, пока не налетели вражьи полчища, чтобы растоптать ее и пожечь. Он смотрел на жнецов, которые мелькали среди стогов хлеба, и песни их волновали его кровь.

По вечерам в колеснице с серебряными ободьями и залиvistыми соловьями-колокольчиками проезжала здесь из Плиски царская дочь, дочь хана Омуртага,— стройная смуглая девушка с маленькими, твердыми, как фракийские яблоки, грудями. Она останавливала покрытых пеной могучих коней и долго смотрела на широкую спину мастера, на его крепкие загорелые руки, рассекавшие камень. Почувствовав на спине взгляд ханской дочери, юноша вздрагивал. Сладкий сок разливался по его жилам. С колотящимся сердцем бил он по камню, и молот пел в его руках, а скала становилась мягкой, как земля, напоенная вешним дождем.

Смуглая девушка кидала в него мелкими камушками, и смех ее, юный и вольный, раздавался совсем рядом.

Однажды вечером, когда княжна появилась снова и стала за его спиной, он вдруг обернулся, и она почувствовала, что тонет в его кротких и грустных синих глазах. Замахала ханская дочь руками, принялась звать на помощь. Повернула колесницу и хлестнула коней. До полуночи не мог мастер уснуть, все ходил по сжатому полю меж снопами и пел, пел ту же песнь, что поют кузнечики. Мерцали в ночи огоньки дальних аулов. Никогда еще звезды не сияли так ярко.

А в полночь он прилег на траву. Услышал, как бьется сердце земли, улыбнулся, закрыл глаза и протянул руки к звездам. И явилась ему тогда во сне дочь могущественного хана Омуртага — стройная, смуглая, желанная. И спросила его:

— Я услышала голос во сне. Кто-то звал меня. Не ты ли? Отчего ты зовешь меня?

— Оттого, что ты сияешь надо мной, как звезда на июльском небе, оттого, что глаза твои словно две черешни, влажные от утренней росы, а голос твой — голос жаворонка.

— Вот я скажу хану.

— Скажи.

— Ты хочешь сорвать самый прекрасный плод в его саду. Он отрубит тебе голову и бросит ее на скалы, чтобы выклевал бог Икуш твои очи. Ах, эти очи! Дай мне заглянуть в них. Как ты прекрасен! Видал ты, как сегодня вечером я едва не утонула в них, стала звать на помощь. Я утопленница! Вот лежу, мокрая, на песке. Приласкай меня! Склонись ко мне и оживи меня теплым дыханием твоих губ! Ты не царский сын?

— Нет.

— А кто ты?

— Сын каменщика из самого бедного аула в царстве хана Омуртага.

— Лжешь.

— Зачем я стану лгать тебе?

— Ты посланник богов. Ты можешь вдохнуть душу в мертвый камень. Велением твоей руки оживает скала. Ты владеешь даром покорять сердца. Ты околдовал меня. Ты уведешь меня за собой?

— Куда?

— Куда хочешь. Мир широк.

Мастер обнял ее. Никогда в жизни не встречалась ему такая девушка.

...Когда налились и потемнели виноградные гроздья, когда стала опадать с дерев золотая листва, труд мастера был почти завершен. Хан Омуртаг только что воротился из похода и созвал в крепость на пир всех своих военачальников.

Мадарская крепость ходила ходуном, захмелев от преславского вина и загорского меда.

Последний день... Стремительно клонилось к закату солнце. Мастер откинул резец и молот и медленно спустился по веревочной лестнице со скалы. Позолоченная неяркими лучами осеннего солнца, подъехала колесница хана. О левую руку Омуртага сидела смуглая стройная девушка. Хан Омуртаг обнял ее тяжелой своей рукой и воскликнул:

— Погляди, какое чудо сотворил он из камня. Я озолочу его. Где мастер?

Два всадника, сопровождавшие колесницу, соскочили с коней и вернули мастера, неспешно шагавшего к Мадару.

— Это ты — мастер? — спросил хан.

— Я.

— Какой просишь награды?

— Ничего мне не надобно, государь!

— Проси! — гневно приказал хан. — Проси царского дара за невиданное твое творение!

Тогда мастер смело взглянул ему прямо в глаза и сказал:

— В правой руке твоей, государь, булатный меч,

гроза врагов, а левой обнимаешь ты девушку, что дороже всех земных сокровищ. Одари меня левой рукой!

Один вернулся хан Омуртаг в Плиску, один вошел в свой дворец и места себе не мог найти от горя. Когда вечером старые военачальники пришли поцеловать руку своему повелителю и разделить с ним веселый пир, они спросили, где его дочь, что поднесет им золотые кубки.

С помутневшим взором поднялся хан, подозвал сокорохода и шепотом приказал ему:

— Ступай, верни мою дочь! И принеси мне голову мастера!

...В полночь протяжно запели первые петухи. Дочь хана Омуртага наливала вино и подносила кубки седовласым военачальникам. Глаза ее были сухи. Сердце угасло в груди и больше не билось. Сердце ее стало мертвой птицей.

А ранним утром, прежде чем заблестала роса на кончиках листьев, прежде чем двинулись меж рядов копен возы по дунайской равнине, можно было увидеть, как по лестницам, что вились среди скал к высокой стене мадарской крепости, взбирается девушка в белых одеждах, усеянных зелеными звездами.

Поднялась на самый верх, обернулась лицом к солнцу, прошептала что-то и бросилась вниз.

И когда упала она, скала словно раскололась снизу доверху, а каменный всадник выронил из рук копье...



ГЕОРГИЙ КРАТОВЕЦ

Летний ливень разразился над Средцем. Алмазные капли омыли почерневшие кровли домов и повисли на ветвях фруктовых деревьев. Заблестели камни старой булыжной мостовой, меж которых пробивались листочки кораллового подорожника. С темно-зеленой Витоши повеяло прохладой. В горных долинах зашумели потоки. Из поместья «Чардаклия» на Искыре в город прибыла коляска среднецкого паши Хасиба Османа. Пара раскормленных арабских жеребцов промчалась по улицам. Мостовая звенела под их копытами. Кони завернули у минарета Банской мечети и остановились перед домом золотых дел мастера Йована Кратовца. Белая женская рука с выкрашенными хной ногтями приподняла шелковую занавеску над круглым окошечком. На пальце сверкнул рубин.

— Узнай, дома ли мастер? — послышался из коляски низкий женский голос.

— Он дома, госпожа, — ответил возница и натянул вожжи, сдерживая лошадей, которые фыркали и рвались с места.

Из коляски вышли две турчанки. Первая тяжело ступила на прохладные плиты перед ювелирной мастерской. Ее парчовые туфли поскрипывали, будто мышата под полом. А вторая прыгнула, легкая, как лань.

Иован Кратовец поклонился гостям до земли. Старая женщина откинула покрывало и властно промолвила:

— Слушай, мастер, вот какое у меня к тебе дело. Выкуй золотой перстень для моей дочери. И укрась его золотой нитью. Пусть нить будет тонкая и вьется змейкой по всему перстню. Понял? А змеиня головка должна торчать сверху. В пасть змее вставишь зеленый камешек. Самый красивый. О деньгах спорить не буду. Сколько скажешь — отсчитает тебе Хасиб Осман-паша. Что ты глаза пялишь, Шазие? Опусть ресницы, — вдруг метнула взор на свою дочь старая турчанка.

— Да я никуда и не гляжу, — ответила молодая и скрыла длинными ресницами свои прекрасные восточные очи.

— Видел ее глаза, мастер? — продолжала жена паши. — Пусть камень будет такой зеленый, как ее глаза. Видел их, неверный?

— Слушаюсь, госпожа, как велишь, так и будет сделан перстень.

— Чья рука вывела узор на новом кувшине для омовения паши? Не твоя ли?

— Не моя. У меня живет юноша, сын моей сестры из Кратова.

— Это он там, у очага, куда заглядывает Шазие?

Аллах благословил руку твоего племянника. Кликни его!

— Иди сюда, Георгий,— тихо позвал Йован,— иди сюда, тебя хочет видеть госпожа.

Из ювелирной мастерской вышел Георгий Димитров, Кратовец — семнадцатилетний юноша с золотым пушком над верхней губой. Он смущенно переступил порог.

— Ай-ай-ай! — всплеснула руками старая турчанка. — У тебя глаза как у джина! А походка словно у оленя. Не смей глядеть на него, Шазие! Ты снова подняла покрывало, ветреница! Едем скорей домой. Когда прислать за перстнем? — осведомилась жена паши, усевшись в коляску.

Золотых дел мастер подумал немного и ответил:

— Когда в садах созреют персики.

Кучер отпустил вожжи, и лошади помчались. Йован Кратовец в раздумье покачал головой:

— Это самая младшая дочь паши. Словно зеленглазая змейка! Ты видел ее, Георгий?

— Видел! — тихо промолвил Георгий, и сердце его забилося, как птичье крыло.

* * *

В день, когда в Чардаклии за трапезой подали на серебряном блюде первые зарумянившиеся персики, в мастерскую ювелира Йована прибыл главный турецкий законник. Это был почтенный человек в высокой снежно-белой чалме — правая рука Хасиба Османа-пашы. Хозяина в мастерской не было. Гостя встретил Георгий, принес ему стул. Чиновник окинул

стройного юношу внимательным взглядом и одобрительно кивнул головой.

— Готов ли перстень для младшей дочери паши?

Георгий отомкнул железный ларец, где лежало много ожерелий, поясов, запястий и браслетов, и вынул оттуда перстень. Камень засверкал на его светлой ладони, как светлячок. Турок взял перстень и отошел к окну, медленно, с удовольствием его разглядывая, а возвратившись на место, спросил:

— Это ты выковал перстень?

— Я,— ответил Георгий и, опустив глаза, взглянул на почерневшие ногти своих босых ног.

Законник похлопал его по плечу.

— У тебя золотые руки! На, возьми деньги!

И, развязав кошель, он отсчитал ему семь золотых монет из десяти, которые ему дал Хасиб-паша.

— Довольно ли?

Георгий испуганно держал в руке монеты.

— Слишком много,— прошептал он.

— Нет, не много. Для такого мастера, как ты, не много. Я тебе кое-что скажу, но это должно остаться между нами. Ты родился в сорочке. Ты очень полюбился младшей дочери паши. Если примешь нашу веру, мы поженим тебя на ней. Ты станешь большим человеком. Прежде всего отправишься в Стамбул. Будешь проходить военную науку у Капудана-паши — брата Хасиб Османа. Будешь плавать по великим морям. Большую рыбу ловить будешь. Посадят тебя на высокое место. Важные люди будут целовать твои туфли. Говори же!

Георгий побледнел. Перед ним засверкали зеленые глаза девушки, и снова сердце его затрепетало, как

птичье крыло. Но тотчас образ родного Кратова сменил губительные девичьи очи. Перед глазами молодого мастера замелькали высокие каменные мосты, древние башни, таинственные подземелья, ближний Лесновский монастырь, где хранилось евангелие, для которого его покойный отец выковал переплет.

Георгий отер лоб ладонью и, придя в себя, сказал с решимостью:

— Не хочу я быть большим человеком. С меня хватит и работы в мастерской.

Приближенный пашы усмехнулся.

— Разве ты не знаешь, сынок, что наш пророк Магомет обещал райское блаженство тем, кто исполняет его волю?

— Кто же они, эти люди? — спросил Георгий.

— Правоверные — те, кто крепко верят и блюдут плотскую чистоту.

— А что будет с насильниками?

— Они будут осуждены на вечные муки.

— Тогда все ваши начальники и судьи будут гореть в аду, потому что они мучат болгарский народ.

— Этого не может быть! — воскликнул чиновник. — Посмотри только, как много мечетей с мраморными минаретами воздвигли эти люди, сколько мостов поставили над реками! А сколько фонтанов и постоялых дворов построили наши именитые горожане. За их благодеяния аллах простит им грехи.

— Нет прощения тем, чьи дела черны. Прежние земные владыки воздвигали памятники получше нынешних. Но ты не можешь утверждать, что теперь они наслаждаются райским блаженством.

— Слушай,— продолжал хитрый законник,— если ты истинный христианин, то захочешь спасти гибнущую душу. Дочь Хасиба Османа-паши больна. Она умрет от любви. Стань правоверным, чтобы избавить девушку от страданий. Какой ответ должен я передать паше, когда буду вручать ему перстень?

— Пусть будет жива и здорова его дочь!

В конаке старый паша поднялся навстречу гонцу.

— Ну,— спросил он,— уговорил его?

— Не хочет. И так и сяк его уламывал. Не мог соблазнить ни словами, ни золотом. Опасный человек. Если не согласится он стать магометанином, придется его уничтожить.

— А как же Шазие?

— Девичьи слезы высыхают, как утренняя роса, государь!

— Позови его к судье. Поступайте так, как вас учит аллах! — махнул рукой паша.

На суд Георгия привели вместе с отцом Пею, старым среднецким книжником. Судья обратился к Георгию:

— Ты, Георгий, славный человек и заслуживаешь того, чтобы когда-нибудь попасть в рай к Магомету, где все умершие правоверные едят пилав и пьют шербет.

— Откуда ты знаешь, что Магомет — в раю? — спросил Георгий Кратовец.

— Как же не знать! Аллах широко раскрывает двери рая для тех, кого он любит. Он любит турок. Если бы он их не любил, разве дал бы он им столько земли и поверг бы к их ногам столько миллионов

людей? Наш пророк беседовал с аллахом и от него получил закон.

— Какой закон? Не тот ли, что позволяет вашим богатеям резать и вешать бедняков и топтать их землю? А как только ваши богачи построят мечеть или постоянный двор у дороги, тут же им прощаются все грехи.

Эти слова взорвали судьбу.

— Свяжите его! — закричал он и вскочил с места. — Пусть его кровь падет на твою голову, — гневно обратился он к отцу Пею. — Это ты внушил ему мятежные слова. Наденьте на него кандалы и бросьте в темницу! Бейте нечестивца!

Семь дней сидел Георгий Кратовец в каменной башне. Он был один в темном, сыром подземелье. Глаза его ничего не различали во тьме. Тоска сжимала сердце. Воспоминания налетали стаями. Однажды — было ли то во сне или наяву, — он не признавал, — привиделся ему покойный отец. Одетый в белые одежды, он подошел к нему, взял за руку и повел куда-то. А мать Георгия бежала вслед за ними. «Куда ты ведешь его? — закричала она. — Не отнимай его у меня! Боже мой, что мне делать, чтобы спасти сына?» Беспомощная женщина ломала руки. Прежде чем завернуть за высокую стену башни, Георгий обернулся, чтобы поклониться матери, и увидел в ее глазах такое страдание, такую жалость... Весь день он плакал. Когда вечером вошел отец Пею и наступал в темноте его плечи, юноша зарыдал.

— Боюсь я, отче!

— Чего ты боишься? — сурово прозвучал голос священника. — Слышал ли ты песню о Йово-горце? Не-

верные пришли, чтобы схватить сестру Йово, но Йово не отдал ее в чужую веру. Йово был тверд как скала. Обе руки, оба глаза, обе ноги отдавал он, но сестру свою, красавицу Яну, не отдал в чужую веру. Неверные выкололи ему глаза, отрезали руки, оторвали ноги. Но знаешь, как прощался Йово-горец со своей сестрой, когда ее уводили силой?

Будь же здорова, сестрица Яна!
Нет глаз у Йово, чтобы взглянул он,
Нет рук у Йово, чтоб мог обнять он,
Нет ног у Йово, чтоб проводил он.¹

— Это на самом деле было, отец? — спросил Георгий.

— Не было бы на самом деле, народ не сложил бы песню. Вот я принес тебе причастие в чаше. Приемлешь его?

Наступило глубокое молчание. Две руки протянулись во мраке и взяли чашу.

— Приемлю, — промолвил горестно Георгий.

* * *

В последний раз предстал обреченный юноша перед судьей. Тот встретил молодого узника словами Магомета:

— Мир держится великодушием сильного. И потому наш могущественный владыка готов защитить тебя своей отеческой десницей.

Когда началось заседание, в суд вошел Хасиб Осман-паша. Все поднялись со своих мест.

¹ Перевод А. Кудрейко.

— Садитесь,— сказал паша, с любопытством разглядывая измученное лицо юноши, его покрасневшие, блуждающие глаза, отвыкшие от света. Всю ночь жена умоляла своего повелителя, чтобы он сам наутро отправился в суд и уговорил юношу. Пусть он придет к Шазие. Если больная девушка от этого выздоровеет, почему не принять его таким, как он есть? Паша любил свою младшую дочь больше всего на свете. Он повелел вызвать заключенного еще раз к судье и пришел сам, чтобы его судить.

— Послушай,— с трудом выговорил Хасиб Осман-паша,— исполнишь одно мое желание, я приму тебя как сына и сделаю своим наследником.

— Если ты готов принять меня в сыновья, зачем посягаешь на мою веру? — спросил Георгий и посмотрел ему прямо в глаза.

Паша встретил горящий взгляд юноши.

— Я не хочу, чтобы ты менял веру,— сказал он. Оставайся при своей, но женись на моей больной дочери.

— Я женюсь на твоей дочери,— громко крикнул Георгий,— если она станет болгаркой.

Ошеломленный паша раскрыл рот. Он покраснел и беспомощно развел руками. Толпа, напиравшая на двери суда, загудела. Судья зашипел, как змея:

— Он оскорбил честь паши!

— Он хулил правую веру!

— В огонь нечестивца!

— Делайте с ним что хотите! — Паша покачал головой и вышел, глубоко опечаленный, из суда.

Окровавленного Георгия Кратовца повели к площади перед древней церковью «Святая София».

Когда они подошли к церковным вратам, из церкви выбежал отец Пею и поднял руку, чтобы благословить мученика. На площади с осужденного юноши сорвали одежду и в одной рубашке бросили в огонь. Когда ремни, которыми были связаны его руки, сгорели, юноша выпрямился, попытался сделать два шага, но споткнулся и упал прямо в костер. Его поглотило пламя.

Это произошло 11 февраля 1515 года.



ОТ КЫКРИНЫ ДО ВИСЕЛИЦЫ

Димитр Обшти переодел своих четников в турецкие солдатские мундиры, роздал им длинноствольные ружья, велел повязать цветные платки поверх нахлобученных по самые уши красных фесок и повел козьими тропками под белоствольными буками Арабоконакского перевала. Лес уже оделся багрянцем, ветер срывал с буков орехи и ронял их на головы четников. У третьего крутого поворота дороги Димитр укрыл четников за деревьями и кустарником, приказал затаиться, глядеть в оба и выжидать, а сам залег за большим белым камнем и направил дуло своего ружья в сторону Орхание.

Васил Левский был главным апостолом¹ Болгарского центрального революционного комитета. Его имя было названо первым при выборах членов Временного правительства в 1872 году, когда поборники

¹ Апостолами в период национально-освободительного движения в Болгарии называли пропагандистов-организаторов этого движения.

народного дела собрались в Бухаресте, чтобы обсудить ход подготовки восстания и принять Устав Центрального комитета. Секретарь комитета Олимпий Панов букву за буквой набрал в типографии Каравелова весь Устав, председатель комитета Любен Каравелов сам держал корректуру, а Левский богатырской своей рукой вертел колесо ручного типографского станка, пока не были отпечатаны и Основной закон революционной организации и пламенное Воззвание. Вместе с двумя другими апостолами Левский перевез в Бухарест золото, собранное среди болгар-патриотов. Половина денег пошла на покупку небольшой типографии, которую собирались переправить через Дунай и тайно установить в Ловече, чтобы печатать воззвания, брошюры и листовки, на остальные были куплены револьверы и патроны. Револьверы заговорщики на себе переправили в Болгарию, а патроны упрятали в мешки с перцем, погрузили в лодку и отвезли в Никополь на заезжий двор, принадлежавший торговому товариществу. Грузчики кряхтели, сгибаясь под тяжестью мешков, и приговаривали: «Чок авур биберлер!» — «Ох, и тяжел же перец!» Димитр Обшти был назначен руководителем восстания в районе Тетевена и Орхание. Он подчинялся Левскому, занимавшему более высокий пост главного апостола. Обшти принес присягу и обещал не переступить законов и приказов подпольного революционного комитета. Если же нарушит клятву, не выполнит приказа или совершит предательство, то безропотно предаст себя суду своих собратьев по оружию — только их суд властен над его жизнью и смертью. На том целовал он крест, кинжал и револьвер. Левский и слы-

шать не хотел о нападении на обоз с государственной казной — он понимал, что турки двинут тогда огромные силы и разгромят комитеты, не готовые еще к последнему бою против пятивекового ярма поработителей. Однако Димитра Обшти неотступно преследовала мысль о деньгах. Он искал способа одним ударом завладеть крупной суммой, чтобы в изобилии снабдить заговорщиков оружием. И теперь, притаившись за камнем, крепко сжимая обеими руками ружье, прищуриль глаз, бывший боец повстанческих легионов Гарибальди, рыцарь револьвера и кинжала, с бьющимся сердцем поджидает обоз, который везет кованый сундук с государственной казной. Чтобы нагнать на турок страху, создать впечатление, что против них действует мощная, до зубов вооруженная организация, Обшти преступил клятву и нарушил приказ главного апостола. И когда почтовый возок с деньгами, в сопровождении четырех конных полицейских, приблизился, Обшти оглушительно крикнул из-за своего укрытия:

— Огоны!

Четники открыли огонь, буйволы, тянувшие в гору сундук с казной, испугались, рванули назад и опрокинули возок в глубокое ущелье. Полицейские, белые как мел от страха, повернули и погнали коней назад, к Орхание. Как пылающие уголья, засверкали глаза Димитра, когда он сбил с сундука замок и запустил руки в серебро. Деньги пересыпали в торбы и на спине перетаскали в Тетевен и Орхание. Надежно припрятав их, четники скинули турецкое платье и разбегались кто куда. Но правитель софийского округа Мазхар-паша послал переодетых соглядатаев и регулярные турецкие части, набрал по селам башибузу-

ков и стал вылавливать участников ограбления одного за другим. Переодевшись в женское платье Димитру Обшти удалось ускользнуть из Тетевена и направиться к Никополю. Паша отрядил за ним погоню, которая и настигла его в селе Чирикове. Его взяли в конюшне постоянного двора, где он уснул на мешках с орехами. Прежде чем он успел очухаться, стражники скрутили ему руки. Представ перед пашой, незадачливый конспиратор заговорил и выдал всё: назвал имена членов комитетов в различных селах и городах, раскрыл их планы и намерения, сообщил, каким оружием располагают. Мазхар-паша потрепал его по плечу, приказал напоить кофе и сказал:

— Сделаю тебя кыр-агасом — полевым начальником.

Зарыдали матери, жены и дети заговорщиков. Завенели кандалы по дорогам Тетевенского и Ловечского края, тюрьмы были битком набиты людьми, а оттуда оставалось лишь два пути: либо в Диарбекир¹, либо на виселицу.

Когда главный апостол вошел в неприметный, расположенный в Варошском предместье дом Велички Хашновой, старшей дочери ловечского попа Лукана, хозяйка встретила его дрожащая, растерянная, измученная тревогой и бессонными ночами. Было раннее зимнее утро. Третий день рождества 1872 года.

— Никто не видал тебя, бай Васил? — спросила она, запирая на засов калитку.

¹ Крепость в Турции, место заключения участников болгарского национально-освободительного движения.

— Шел мимо церковной ограды, видел твоего отца — он входил в церковь, но я не стал его окликать.

— И хорошо сделал. Входи скорей, а то соседка все вынюхивает, глаз с нашего дома не спускает, разрази ее господь!

Левский переступил через порог, снял с головы феску и повесил на гвоздь. Вытер ладонью мягкие снежинки, застрявшие в негустых русых усах, присел на низенький табурет у очага, стянул башмаки и протянул к огню оковеневшие руки и замерзшие ноги в белых теплых чулках.

Величка сложила руки на животе и сказала:

— И что же это такое делается, бай Васил!

— Вот ты мне и ответь, — поднял на нее Апостол синие свои стальные глаза.

— Самых лучших наших людей изловили, а за твою голову обещана награда в пятьдесят тысяч.

— Кого взяли? — спокойно спросил Левский.

— У нас, в Ловече, первыми забрали старого моего отца, брата Марина и Димитра Пышкова. Пятнадцать дней продержали тут, а потом увезли в Софию. Усадили на коней, ноги заковали в цепи, концы цепей прикрепили к седлам, на руки надели кандалы. Только отцу ног не заковали. Увезли их — и как в воду они канули. Но — долго ли, коротко ли, смотрим, отец вернулся. Выпустили. Этот аспид Димитр, как увидел его, замотал головой: «Не того, говорит, попал сцапали. Тот низенький, пузатый».

— Кто?

— Да отец Крыстю, председатель комитета.

— А что с ним?

— Ничего. Турки и волосу не дают упасть с его

головы, потому что он да Димитр одного поля ягода. Чтоб его громом разразило! Чтоб его собаки живьем растерзали!

— Не может того быть!

Левский вскочил. Глаза его метали молнии. Величка испуганно отпрянула и заговорила уже спокойней:

— Сиди, бай Васил, сиди. Ты еще ничего не знаешь. Когда отца моего выпустили, каймакам послал человек пять-шесть стражников за отцом Крыстю. Они перемахнули через ограду и мигом его доставили. Как они с ним там поначалу в арестантской обошлись, не знаю, но у него от страха язык отнялся. Борода трясется. А каймакам — турок хитрый. Дождался, когда поп начал выть от боли, взошел в арестантскую и прогнал стражников. Вроде вырвал ягненка из волчьей пасти. Привел к себе, напоил, накормил, стал чего-то нашептывать на ухо. О чем они там шептались между собой, не могу тебе сказать, но только поп вернулся домой целехонек — хотя и малость не в себе. Попадья кинулась расспрашивать, как да что, а он только рукой махнул: «Чего там, моя песенка спета».

Однажды утром нашли мы с Гечо у себя во дворе подброшенное кем-то письмо. В письме говорилось: не мешкая отнесите в виноградник у Саракая комитетские документы и бумаги. Внизу подпись: Дервишоолу Арслан. Письмо будто от тебя, а почерк незнакомый. Взяло нас сомнение. Я и говорю Гечо: «Тут дело нечистое, надо разобраться». Взяли мы мотыги и — на виноградник. Подходим к развилке дороги и вдруг смотрим — поп Крыстю. Только он нас заметил —

юрк в кусты, точно ящерка. А из-за деревьев выскочили четверо стражников и давай нас обыскивать. Найди, конечно, ничего не нашли, облаяли нас и говорят: «А ну, поворачивай домой!»

Левский обхватил руками голову.

— Не может того быть! Отец Крыстю — боец из легии Раковского, преданный народному делу человек, привлечший к нему столько сторонников, — и вдруг изменил святому нашему делу?! Уму непостижимо. Я должен нынче же разобраться во всем. Мне необходимо повидать отца Крыстю.

— Не надо. Он опасный человек.

— Ежели он и впрямь пошел на измену, я его уничтожу!

— Всю кашу заварил Димитр Обшти. Кабы он молчал...

— Ну, этому я решил заткнуть рот навсегда. Когда я узнал, что, несмотря на мой запрет, он собирается ограбить казну, я направил экзекутора Тырновского комитета Христо Иванова, чтобы с ним покончить. Христо вывел его из Орхание в лес, приставил ему к виску револьвер и объявил, что сейчас расстреляет его за нарушение клятвы. Обшти упал перед ним на колени, поцеловал револьвер и снова поклялся, что откажется от грабежа и будет подчиняться приказам главного апостола. Сердце Христо смягчилось, и он простил Димитра. Оставил его в живых.

— Ох, бай Васил, заговорила я и совсем позабыла спросить — может, ты голоден? Гечо, неси скорей кровяную колбасу, там, в кастрюле! — крикнула Величка мужу, который в это время в летней ку-

хоньке, присев на корточки, нарезал мелкими кусочками сало и вытапливал жир.

— Прежде, Величка, посвети мне, хочу забрать из тайника свои бумаги,— сказал Левский, входя в горницу. Он сдвинул в сторону деревянную кровать и открыл вход в тайник, где было темно, как в могиле. Пахнуло затхлым запахом сырости и бумаги. Величка поднесла ближе зажженный светильник. Слабый свет озарил крохотный темный закуток. Сверкнули полированные рукоятки револьверов, сваленных в правом углу. Рядом — грудa патронов с свинцовыми пулями. На стене — ружье Remington и сабля Апостола. На одном из гвоздей висела новая каракулевая шапка с орлиным пером и золотой кокардой — разъяренным львом с поднятой лапой. Поверх большой связки комитетских бумаг лежал бинокль. Все это главный апостол подготовил ко дню восстания.

Левский обвел глазами тайник и, убедившись в том, что все на месте, потянулся к своей сабле. Ласково провел рукою по ножнам и, не поворачивая головы, сказал Величке:

— Этот клинок выковал мне дед Христо, ножовщик из Белиша. Отменный мастер. Острая — волосок пополам рассечет. Эх, Величка, опоясаться бы мне этой саблей да взметнуть ее над головой — увидела бы ты, каков я есть! Ну-ка посвети получше, я соберу бумаги.

— Куда ты их хочешь унести?

— Отсюда их надо убрать во всяком случае.

Величка засуетилась, проворно накрыла на стол, нарезала хлеба, подала колбасы, достала с чердака целую связку сухого винограда.

— Вина не нацедили, знаем, что ты его не жа-
луешь,— сказала Величка, подкладывая ему колбасы
на тарелку.— Кушай на здоровье, бай Васил!

Когда поели, Левский обратился к Гечо Хашнову
и сказал:

— Первым делом, Гечо, сходи к отцу Крыстю на
дом и скажи ему, что я буду ждать его нынче ночью
на Кыкринском постоялом дворе. Пускай принесет
мне все комитетские бумаги. Буду ждать до вторых
петухов. Так ему и передай. Потом зайди к Николе
Сиркову и скажи, чтоб раздобыл мне коня в дорогу.
А я тем временем вздремну — всю ночь напролет шел
без отдыха.

Апостол прилег на лавку. Величка прикрыла его ту-
лупом и неслышно, на цыпочках, вышла из комнаты.

К вечеру Апостол встал, вымыл лицо студеной во-
дой, затянул пояс своих турецких шаровар, наглухо
застегнул антерию и тулуп, надел на голову феску,
простился с Величкой и Гечо и пошел по Севлиевско-
му шоссе. Медник Никола Сирков уже ждал его за
городом верхом на коне. Они свернули с дороги, по-
спешно распоролли седло, затолкали туда комитетские
документы и снова зашили. Никола ехал верхом, Лев-
ский шагал рядом. Когда приблизились к «Пази-мо-
сту», навстречу показался стражник. Завидев его,
Левский свернул в ближайший виноградник, где ды-
мились две-три груды свежего навоза. Стражник бро-
сился за ним следом.

— Кто такой, куда путь держишь?

— Здешний я, из Ловеча. Пришел посмотреть, ку-
да мой работник навоз свалил. Ты что, не узнал? Я-то
тебя знаю.

Стражник подозрительно посмотрел на него, покачал головой и пошел своей дорогой дальше. Когда он исчез за поворотом, Левский бегом догнал Николу и сказал:

— Слезай, теперь я поеду.

Ловко взлетел в седло и пустил коня вскачь.

Дорога была тихой и безлюдной. В молодых дубовых рощицах тихо шуршала медно-желтая листва. Стаи воронья с зловещим карканьем кружились над селами.

Уже смеркалось, когда они добрались до Кыкрины, на постоянный двор. Содержатель его, Христо Латинец, был преданный комитету человек. Левский соскочил с седла, бросил Николе поводья, велел отвести коня в конюшню и толкнул дверь. Его обдало запахом вина, табака и жареного мяса. Кыкринцы праздновали день святого Стефана, пили, веселились. Во всю ночь раздувал свою волынку музыкант. Апостол поздоровался с веселой компанией, прошел мимо столов и вошел во внутреннее помещение, предназначенное для ночлега постояльцев.

— Это кто ж такой будет? — спросил один из крестьян хозяина.

— Нешто не узнал? Христо это, сын деда Ивана.

— Да ведь он мне кум! — обрадовался крестьянин, поднялся с места и, покачиваясь, направился вслед за Левским.

— Значит, ты и есть Христо Крачул? — спросил крестьянин, наклоняясь к самому лицу Левского.

— Он самый, — отвечал Апостол, который знал Крачула.

— А здорово ты изменился. И не узнать. Помнишь, как ты у меня детей крестил?

— Как же мне, куманек, не измениться — чай столько лет скитался по Сербии, — ответил Левский и, чтоб покончить с этим разговором, шагнул к маленькой дверце, которая вела в конюшню. — Схожу взглянуть, задали ли корму моему коню.

Из конюшни Апостол вышел во двор. Все вокруг запорошило снегом. Деревья, крыши, сарай, плетень, большая колода, на которой Латинец рубил дрова, и вонзившийся в нее топор — все словно гусиным пухом осыпало. Высоко взошла над Севлиевским хребтом луна, опоясанная мерцающим серебристым нимбом.

— К непогоде, — тихо проговорил Апостол, внимательно поглядев на небо, и прислушался: из села доносился хриплый собачий лай и глухие удары барабана. Должно быть, какой-нибудь Стефан встречал гостей.

Левский вернулся в корчму и попросил Латинца:

— Выпроводи-ка народ. Я жду гостя! Пусть нам не мешают.

Латинец схватился за живот и принялся громко стонать да охать.

— Ох, худо мне! Пойти прилечь, что ли. И с чего это меня вдруг схватило... Вот что, расходишь, братцы, по домам.

Один за другим потянулись крестьяне из корчмы. Христо запер дверь, принес кусок холодной свинины, разломил каравай. Не забыл поставить на стол и оку вина, чтоб выпить с Николой за здоровье главного апостола. Они пили вино и то и дело отпускали креп-

кие словечки, поминая попа Крыстю. Левский молчал, поглядывая время от времени на дверь. Пропели первые петухи.

— Не придет! — сказал Латинец.

— Почему? — спросил Левский.

— Потому что совесть у него нечиста. Пойдем, отдохнем маленько. Если выйдем пораньше, доберемся до места прежде, чем луна скроется. Я прямые тропинки в Тырново хорошо знаю, да как бы в темноте все же не сбиться.

Они улеглись в натопленной комнате и вскоре заснули. В полночь Никола Медник проснулся. Подбросил дров в очаг, достал из своей торбы вареную курицу и принялся с аппетитом закусывать. Потянулся и за недопитой бутылью. Громкое его чавканье разбудило Апостола. Он приподнялся, откинул одеяло и потянулся.

— Ты что там делаешь?

— Ем! — ответил Николчо. — Все никак не наемся. Путь предстоит долгий. Вставайте, что ли, да в дорогу.

Латинец тоже поднялся. Сладко, протяжно зевнул, потом обмотал себя кушаком, долго пыхтел, завязывая царвули, и наконец сказал:

— Пойду накажу своим, чтоб нынче управлялись в корчме без меня, а вы тут собирайтесь покуда.

Он вышел. Слышно было, как на дороге в село закрипел снег под его царвулями.

Апостол обматывал вокруг себя свой алый кушак, когда дверь постоялого двора затрещала под сильными ударами. Левский и Никола прислушались.

— Ач капу! Отворяй ворота, хозяин! — донесся хриплый крик.

Никола вмиг узнал голос Хасана Чауша, того самого стражника, которого они повстречали у «Пазимоста». Он неслышно подкрался к двери, прильнул к замочной скважине и увидел темные силуэты людей, направивших ружья на дверь. Один, второй, третий... много их. Он отпрянул и зашептал:

— Мы окружены! Там их видимо-невидимо!

Левский наскоро подпоясался, взял свой револьвер в правую руку, револьвер Латинца — в левую, велел Николе открыть маленькую дверцу, что вела в конюшню, и тихонько выскользнул из комнаты. Пересек на цыпочках занесенный снегом двор. Подошел к самой калитке, но открывать не стал, чтобы не привлечь скрипом внимания стражников, а разбежался, надеясь одним прыжком перемахнуть через забор. На беду нога в широких шароварах зацепилась за верх забора, и Апостол ничком, вместе с калиткой, рухнул наземь. Как раз против калитки стояли в засаде три стражника. Когда Левский упал, они с диким ревом накиннулись на него и прижали к земле, но Апостол, обладавший недюжинной физической силой, расшвырял их в стороны, вскочил на ноги и выстрелил. Стражники истошно завопили.

— Юрум бре! ¹ — взревел раненый Юсеин Бошак, и стражники, все шестнадцать разом, разрядили свои ружья в Левского. Одна пуля обожгла его голову над левым ухом. Стражник, стоявший к нему ближе других, взмахнул тесаком и отсек ему пол-уха, но

¹ Давай! (турецк.)

плечо осталось нетронутым — спасла антерия. Словно стая волков, налетели на него остальные стражники. Повалили неукротимого апостола, вдавили голову и ноги в снег, с торжествующими криками скрутили руки за спину и связали веревкой.

Когда они поставили его к стене дома, главный апостол был весь в крови, смертельная бледность покрывала его лицо. Без шапки, волосы всклокочены, зубы стиснуты, широко открыты глаза. Но его звонкий, дивный голос рассёк тьму зимней ночи, окутавшей его парабощенную отчизну:

— Прощайте, братья! Прощай, милое сердцу отечество! За тебя отдаю свою жизнь!

Остервенелые, взбешенные стражники Юсеина Бошнака бросили раненого Левского в телегу, а Христо Латинца и Николу Медника погнали связанных позади. Коня, в седле которого были упрятаны комитетские бумаги, они тогда так и не хватились. Как выехали на Севлиевскую дорогу, разъяренные стражники, не будучи уверены, что у них в руках сам главный руководитель восстания, столкнули Николу в придорожную канаву, повалили, стали яростно молотить по нему палками и допытываться:

— Левский это? Говори!

Но стойкий болгарин был нем как могила.

Когда подъехали к конаку ловечского каймакама и втолкнули Левского в помещение стражников, в дверях показалась голова предателя, попа Крыстю, который, вместо того чтобы самому явиться на Кыкринский постоянный двор и ответить за свои деяния, подошлал туда вооруженных турецких стражников.

— Как же так, Васил? Как это случилось? — спросил лукавый поп.

— А вот так... Есть о чем толковать, — с великим презрением и сдержанной яростью ответил Апостол, пристально глядя своими ясными, не знающими страха глазами в лицо предателя.

Поп Крыстю попятился.

Двадцать три конных стражника конвоировали подводу с арестованными в Велико Тырново. Две сотни конных полицейских выехали на Марно поле встречать опаснейшего из врагов Оттоманской империи. Левского и его товарищей пересадили в две крытые повозки. Всадники прищипорили коней, и кибитки загромыхали по неровной булыжной мостовой к Бад-жарлыку. Тырновские красоти так и прилипли к окнам, чтоб полюбоваться даровым зрелищем. В конаке паша подверг троих революционеров допросу. Никола и Латинец по-прежнему утверждали, что знать не знают человека, которого везли вместе с ними связанного по рукам и ногам. Но Левский, увидев в руках паши свой портрет, признался:

— Да, я Васил Левский.

Тырновский паша, который выбился из сил, рассылаючи солдат по следу неуловимого апостола, от радости расплылся в улыбке и приказал своим телохранителям угостить арестованных кофе, небет-шекером и как следует накормить. И даже распорядился послать за лекарем, чтобы тот наложил целебную мазь и перевязал рассеченное ухо Левского — у того уже заметно отекло лицо.

На следующее утро повозка с арестованными в сопровождении трех десятков всадников, вооруженных

ружьями и длинными саблями, двинулась к Севлиеву. Пока проезжали улицами, руки арестованных оставили свободными, но когда поравнялись с виноградниками и Хаджи Минчовой чешмой, надели на них кандалы. Левую руку Левского приковали к правой руке Николы. С грустью смотрел Апостол в последний раз на знакомые ивовые рощицы, на зеленые воды Росицы, на запертые мастерские старого ремесленного квартала в Севлиеве.

Ловеч проезжали на Васильев день. Ребятишки с ветками кизила в руках, испуганно моргая, глазели из подворотен на связанных революционеров. Выехав за пределы города, с которым у него было связано столько воспоминаний, где было столько дорогих сердцу людей, Апостол обернулся назад и долго смутел на побелевшие крыши Вароша, за которыми смутно виднелся крест старенькой церквушки попа Лукана...

Их повезли дальше. Левский был в одних ноговицах — башмаки он потерял во время схватки на постоялом дворе. Рана давала о себе знать. Лицо посинело, стало страшным. Он дрожал от холода — ветхий турецкий кафтан ничуть не грел. Заметив, что у него от стужи зуб на зуб не попадает, стражники опустили полог кибитки, чтобы не так дуло. У них был строгий наказ — доставить его в Софию живым. В Луковите всем трем арестованным заковали ноги в тяжелые ржавые кандалы. Триста конных стражников окружили в Орхание кибитки с арестованными и повезли их дальше. Турки очень боялись темного леса у Арабонакского перевала.

Обе повозки затряслись по расшатанному деревянному мосту через Искыр. Миновали молодые ивы,

посаженные батраками Мидхад-паши. Проехали кривыми улочками Софии и остановились перед зданием казармы подле конака паши. Двое стражников подбежали, схватили раненого Апостола — один за плечи, другой за ноги и втащили в казарму. С ржавым скрипом раскачивались на нем кандалы. На дверь повесили огромный замок. Два солдата, вооруженные ружьями с примкнутыми штыками, встали у дверей.

Суд собрался в конаке. Среди судей оказалось четверо «болгар» во главе с только что прибывшим из столицы царьградским сановником Хаджи Иванчо Пенчовичем, членом султанского шурай-девлета — государственного совета, специальным посланцем падишаха. Судьи были облачены в парадные одежды. На сверкавших золотом и серебром мундирах горели ордена.

Ввели Апостола. Он был в солдатской шинели, голова забинтована. Председательствующий Али Саиб-паша предложил ему сесть. Прежде чем опуститься на стул, Апостол долгим, внимательным взглядом обвел членов суда — людей, явившихся сюда для того, чтобы отнять у него жизнь. Глаза его встретились с глазами Хаджи Иванчо. Мурашки забегали по спине турецкого вельможи. Сердце испуганно заколотилось. Расшитый золотом воротник стал тесен. Вспомнился ему тот осенний день в Константинополе, когда он столь опрометчиво согласился встретиться с этим заклятым врагом султана. Подсудимый был тогда в одежде писаря, в модной феске, с тростью в руке. Он сказал Иванчо и доктору Стамбольскому:

— Я пришел к чорбаджиям и патриотам Болгарии, чтобы собрать денег на великое дело.

Расчувствовались константинопольские богатеи, развязали кошель и выложили 146 лир. А вдруг он сейчас упомянет об этом? Прощай тогда всё — и богатство Хаджи Иванчо, и сама жизнь. Но Левский отвел от него взгляд и впился глазами в мешок, сваленный у ног председательствующего. Там были документы, протоколы заседаний комитета, типографски отпечатанные уставы, листовки, воззвания. А рядом с мешком аккуратно, как в лавке, разложены вещественные доказательства: две бельгийские винтовки, револьверы, французское ружье и черкесские кинжалы.

Али Саиб заговорил:

— Имя?

— Васил, Иванов сын, родом из Карлова. Лет от роду тридцать шесть. Люди называют меня еще Дьяконом Левским.

— А еще называешься ты Дервишооглу Арсланом. И Кешиш Пырваном пишешься. Для чего у тебя столько имен?

— Для разнообразия! — ответил Апостол, и легкая усмешка пробежала по его лицу.

— Из бумаг, обнаруженных у арестованных мятежников, явствует, что ты — один из главных руководителей Временного правительства Болгарии...

— Из каких бумаг? — прервал его Левский.

Паша медленно нагнул, развязал мешок и вытряхнул на пол его содержимое. Затем выдвинул ящик своего стола и достал оттуда целую пачку фотографий Каравелова, Ангела Кынчева, Обшти, Левского.

— Кто из них знаком тебе?

— Все и никто, — ответил Левский.

Паша в растерянности оглянулся на остальных судей: он не понял, что хотел этим сказать подеудимый.

— А достопочтенного Димитра Обшти знаешь? — закричал Али Саиб.

— Нет! — резко бросил в ответ Левский.

Тогда председательствующий знаком приказал ввести Димитра Обшти. Когда виновник налета на орханийскую почту вошел в залу, Левский исподлобья взглянул на него и стиснул зубы. Димитр Обшти начал давать пространные показания о Левском, о его деятельности и его сподвижниках. Апостол слушал, слушал и наконец не выдержал. Вскочил и, весь дрожа от гнева, плюнул предателю в лицо. Председательствующий приказал увести Обшти. И когда гнев Левского утих, Али Саиб-паша продолжал допрос:

— Кто твои соучастники в городах и селах?

— Их миллионы — весь болгарский народ.

— Какие цели ставило перед собой Временное правительство?

— О них сказано в нашем Уставе.

— Какими путями ваше правительство намеревалось достичь своих целей?

— О них сказано в Воззвании.

— По чьему указанию совершались политические убийства? — поднялся Шакир бей эфенди.

— По моему! — прозвучал голос того, кто решил всю ответственность взять на себя.

— А кто исполнял твои приказания? — снова спросил бей.

— Люди, на которых это было возложено.

— Кто они?

— Я их не знаю.

Бей опустил ся на место. Твердость этого непреклонного революционера поразила его. Затем встал софийский мютесариф Махмуд Мазхар-паша.

— Пусть подсудимый скажет, у кого куплены бельгийские винтовки.

— У торговца, который продавал их,— ответил Левский.

— На какие деньги?

— На деньги организации.

— Кто вам их дал?

— Все и никто.

— Где находится Временное правительство?

— Всюду и нигде.

Мазхар-паша пожал плечами и сел, глубоко задетый ответами подсудимого. Тогда встал Хаджи Иванчо Пенчович.

— Разве мало вам было свободы религии, дарованной нам всемилостивейшим падишахом, что вы принялись бунтовать народ против законной власти?

— Свобода религии — не более, чем жалкая пощадка, которой могут удовольствоваться лишь старики да холуйствующие чорбаджи. Болгарскому народу нужна политическая свобода, которую он завоюет революционным путем! — спокойно произнес Левский, внимательно разглядывая расшитый золотом мундир этого раскормленного султанского прихвостня.

— Раскаиваешься ли ты в смерти тех, кто был убит по твоему приказу?

— Не больше, чем раскаиваются турецкие аги, уничтожающие болгарский народ.

— Признаешь ли себя виновным?

— В той же мере, в какой признают себя винов-

ными турецкие судьи, когда приговаривают человека к смерти и велят палачу вздернуть его на виселицу или же отрубить ему голову.

— Будешь ли просить султана о помиловании?

— Милости ни у кого не прошу! ¹

Али Саиб-паша поднял вверх руку и хриплым голосом провозгласил:

— Приговор!

— Виселица! — крикнул Хаджи Иванчо Пенчович и вывел под приговором свою замысловатую подпись. Ему не терпелось поскорее затянуть петлю на шею этого бесстрашного мятежника, потому что, подобно еленскому чорбаджии и церковнику Николе Михайловскому, Хаджи предпочитал быть последним стражником в Багдаде, нежели первым человеком в свободной Болгарии.

Главный апостол свободы, неустрашимый революционер, преданнейший сын родины, который говорил, что если он выиграет, то в выигрыше будет весь народ, а если проиграет, то поплатится лишь он один, оратор и певец, неподкупный болгарин, духом тверже стали, был повешен на окраине Софии, за старинной краснокаменной церковью... Стоял морозный зимний день. Буйный ветер нес перекасти-поле по широкой Софийской равнине. С карканьем кружило над виселицей воронье. Онемев от скорби, убитые горем болгарские патриоты издали смотрели, как палач затягивает петлю на шею Апостола, боровшегося за чистую и святую республику.

¹ Часть показаний Левского на суде приведена по книге Стояна Заимова «Дьякон Васил Левский». (Прим. автора.)

Вечером того же дня из ворот конака вышли двое вельмож — в теплых длинных шубах, в фесках алого бархата и сверкающих сапогах мягкой кожи, тихо поскрипывавших по замерзшей земле. Они прошли мимо церкви, миновали казармы и направились к виселице. Это были Хаджи Иванчо Пенчович и Махмуд Мазхар-паша. Оживленно разговаривая, помахивая своими окованными серебром палками, они с наслаждением вдыхали свежий морозный воздух. Вышли поразмяться после нескончаемой трапезы в конаке. Подойдя к виселице, Махмуд Мазхар поднял свою палку, толкнул тело повешенного, и оно, словно ожив, закачалось. Протяжно и жалобно заскрипела перекладка. Зашуршал илям — приговор, приколотый к груди казненного.

— Окоченел! — сказал паша.

— Так ему и надо. Всех до одного извести, кто подымет руку на падишаха! — угодливо проговорил Хаджи Иванчо, не в силах оторвать глаз от своей подписи под приговором.

— Из всех врагов падишаха этот был самым грозным. Смотреть на него не могу. Убрать, свезти на кладбище! — приказал паша.

Стражники побежали за подводой.

Стоял февраль 1873 года.



ПЕТКО-ВОЕВОДА

Конные стражники с ружьями-мартинками через плечо и кривыми ятаганами на боку вывели доганхисарских гайдуков из Галлиполийской тюрьмы и погнали их на север к Текирдагу. Четверо арестантов, еще совсем молодые люди, были босы, в рваных шерстяных шароварах, подпоясанных красными фракийскими кушаками, в плохеньких суконных крестьянских жилетках. Руки их были крепко связаны ремennым жгутом. Стражники гнали юношей и грозились, что, как только доберутся до кустарников, покрывающих предгорья, расправятся с ними и вернутся к женам в Галлиполи. Однако, миновав село Кавак, первый всадник поднял руку и молча указал налево. Арестанты свернули по направлению к Кешану. Шли целый день, пересекли много сухих оврагов и наконец спустились в долину Марицы. Кони устали, но пленники шли легко, как олени. К вечеру перешли Марицу и остановились на ночевку в маленьком болгарском селе с белыми мазанками, смотрящими на улицу оклеенными бумагой оконцами. Пленников загнали в погреб и

заперли на засов, а стражники развели костер и улеглись у входа, словно сторожевые псы. На заре снова двинулись в путь по кривым дорогам Беломорской равнины к Солуну. Неделю шли босоногие арестанты по раскаленной дороге и с любопытством глядели по сторонам. Они перешагивали через черепа, змеи обвивали их ноги и уползали в заросли под маслины. Каждый раз, когда они останавливались у источника с замшелыми каменными колодами, рука какого-нибудь сердобольного болгарина ставила перед ними деревянное блюдо с четырьмя ломтями черного хлеба, посыпанного солью и перцем. Голодные юноши протягивали туго стянутые руки, с трудом брали хлеб и с жадностью подносили ко рту. Затем долго, с наслаждением, пили воду из источника.

Кто были эти люди, которых они гнали перед собой, стражники не знали, даже не догадались спросить об этом, уходя из Галлиполи. Перед отправкой главный тюремщик дал им сопроводительную бумагу, но воины султана и не взглянули на нее, потому что не умели читать. Будь они грамотны, они узнали бы, что связанные ремнями юноши — разбойники, опаснейшие враги падишаха. 18 января 1863 года они были схвачены у села Исёрен, где убили в сражении пятерых правоверных, за что галлиполийский кадий осудил их на вечное заточение — пусть сгниют живо. Выше всех держал голову тот, что шел всегда впереди, Петко Киряков, доганхисарский гайдук. За ним поспешал другой, пониже ростом, тоже из Доганхисара. Последние двое были из соседних с Доганхисаром сел. Нападавших четников было шестеро. Султанским аскерам удалось задержать четырех. В тюрьме

главарь нападавших, Петко, предложил пробить в каменной стене брешь и бежать, но, когда все было готово, кто-то из заключенных предал их. Тогда главный тюремщик решил заточить их в солунскую Кровавую башню, из которой побег был невозможен. В сопроводительной бумаге все это было описано подробнейшим образом, но стражники ничего не знали и потому не особенно встревожились, когда в Энидже-Вардаре их десятский, пошарив у себя в карманах, заявил, что потерял ее в дороге. Солунские тюремщики сразу потребовали сопроводительное письмо и, не получив его, стали выяснять, кто эти парни и в чем они обвиняются. Стражники переглянулись и забормотали что-то невнятное. Тогда Петко Киряков на хорошем турецком языке сказал:

— Мы рабочие из Драмы. Нас схватили на дороге и привели сюда. В чем мы провинились, не знаем.

Главный тюремщик Кровавой башни вскипел:

— Зачем вы их сюда привели? Тут и так переполнено. Куда я их дену? Себе на голову, что ли? Живо отправляйтесь с ними туда, откуда пришли!

Он замахал руками и выгнал стражников, которые, понуря головы, повернули коней назад. Но где-то во Фракии, ночью, когда оставалось всего три дня пути до Драмы, пленникам удалось ускользнуть из рук стражи и скрыться в темноте. Разбежались в разные стороны куда глаза глядят. Уже светало, когда Петко, немало проплутав по незнакомым местам, набрел на турецкую сторожевую будку. Двое стражников сидели у огня, скрестив по-турецки ноги, прихлебывали кофе из больших чашек и изредка посматривали на дорогу. Увидев оборванного путника, стражники

остановили его, стали допытываться, откуда он, по какому делу идет, и, наконец, потребовали предъявить документы. Пока Петко путано пытался что-то объяснить, стражники встали, и один из них сказал:

— А ну-ка, входи в сторожку, зажжем свет и посмотрим, что ты за птица! Возьми кувшин с водой и следуй за нами!

Стражи Оттоманской империи лениво поплелись к сторожке, Петко — за ними.

— Пропал! — подумал он, напряжился и, как только второй стражник переступил порог комнаты, Петко обрушил кувшин на его голову, втолкнул оглушенного турка внутрь, захлопнул дверь, задвинул щеколду и исчез в темноте. Как тень, бесшумно несясь он по широкой и ровной дороге. Час... два... три... Ступни ног у него онемели. Восходившее солнце застало Петко в тутовых садах Сереса. Вдруг, на беду, из-за поворота дороги, словно из-под земли, выросли всадники, похожие на тех, что гнали гайдуков в Кровавую башню. Что делать? Бежать? Все равно поймают! «Притворюсь сумасшедшим!» — искрой блеснула спасительная мысль. И недолго думая Петко подбежал к всадникам, забормотал первые пришедшие на ум турецкие слова, затем кинулся к первому турку и огрел его лошадь кулаком по голове. Лошадь встала на дыбы и сбросила седока на землю. Турок ушибся и, вскочив, схватился за пистолет, но товарищ остановил его:

— Не видишь, что ли, ведь он сумасшедший! Грех обижать безумного. Спрячь оружие!

И правоторый, развязав свой кошель, извлек оттуда монету и бросил ее «сумасшедшему».

В Гюмюрджине Петко Киряков снова собрал гайдуцкую дружину, ушел с ней в леса и начал уничтожать один за другим султанские карательные отряды. Два года сражалась Петкова чета в Беломорских горах, защищая поработенных братьев от многовековых угнетателей. Но Петко томился, тесно ему было в лесах. Хотелось увидеть белый свет и изучить тонкости военного искусства. Он распустил чету и через Македонию отправился в Афины. Поступил в военное училище и всю зиму посвятил изучению стратегии. Как только повеяло весной, сердце гайдука вновь беспокойно забилось. Никому не сказавшись, Петко Киряков поднялся на борт парохода в Пирейском порту и отплыл к берегам Апеннинского полуострова, к вождю итальянских революционеров Джузеппе Гарибальди. Шел 1866 год. Сын моряка, испытанный борец за свободу итальянского народа, свергнувший в 1849 году папскую власть и провозгласивший Римскую республику, первоклассный вождь Сицилийского восстания, как его назвал Энгельс, только что вернулся из похода на север против австрийских оккупантов. Когда ему доложили, что из Афин прибыл молодой болгарин, борец против османского ига, он поднялся ему навстречу. Доганхисарец как зачарованный смотрел на легендарного Гарибальди, на его надвинутую на правую бровь меховую шапку, густую с проседью бороду, обвисшие усы. Взор итальянца, казалось, проникал в самую душу.

Гарибальди усадил болгарского юнака и стал его расспрашивать, почему он ушел в леса и какое зло причинили ему турки. Петко рассказал ему все: и как поработители дерут семь шкур с беззащитного

народа, как избивают, режут, вешают, сажают на кол отрубленные головы юнаков, и как три года назад зарезали его родного брата Матю.

Гарибальди, в задумчивости покачав головой, промолвил:

— Вижу, что ты герой, но хочу сказать, что одному тебе с товарищами не освободить свою землю от турецкого ига. Нужно подготовить восстание и поднять весь болгарский народ на турок. Если возьметесь дружно — опрокинете уже прогнившую турецкую твердыню. Сообща надо бить турок, где бы вы их ни встретили. Вот сейчас готовится большое восстание на Крите. Почему бы тебе не поехать туда? Я дам тебе с собой опытных и верных людей!

Из Рима доганхисарец вместе с преданным соратником Гарибальди Фридрихом отправился на остров Крит во главе двухсот двадцати добровольцев, одетых в красные рубашки и вооруженных новенькими австрийскими винтовками. В Афинах к «гарибальдийской дружине» присоединилось еще шестьдесят семь добровольцев. Когда Петко и Фридрих высадились на Крите, остров уже был охвачен огнем восстания. Как лев, кинулся молодой Петко-воевода на турок. В сражениях он всегда бывал в самых опасных местах, и ни пуля, ни сабля не брали его. После долгих и кровопролитных боев греки протянули туркам руку — запросили мира. Затосковал Петко, пошел скитаться по портам Средиземноморья, полгода бродил бесцельно, но где бы он ни был, всюду чудились ему стоны поработенной отчизны. Он перебрался в Афины и вновь, в четвертый уже раз, начал собирать четников под свое юнацкое знамя. Турецкий консул, узнав о

Петковой чете, решил поймать гайдука и передать греческим властям. Консульский врач Димитрис взялся за хорошую награду заманить опасного болгарина прямо в пасть волку. Ему удалось втереться в доверие к молодому воеводе, и он пообещал записаться добровольцем в дружину и лечить четников. Петко радостно говорил:

— Вот какой человек мне нужен!

Однажды весенней ночью, когда Петко и врач шли со спектакля французского театра, Димитрис сказал:

— Куда ты пойдешь так поздно? Переночуй у меня! Я живу здесь рядом.

Петко согласился, и, покружив по улицам, они вошли в какой-то темный дом. Как только они переступили порог, доктор запер дверь на ключ, однако Петко по внутреннему убранству и по стоявшему в углу свернутому флагу с полумесяцем понял, что попал в турецкое консульство. Он мгновенно выхватил револьвер и, приставив его к виску Димитриса, прошипел:

— Открой сейчас же дверь или я размозжу тебе череп!

Врач, у которого от страха отнялся язык, покорно и безмолвно выполнил его приказ. На другой день турецкий консул устроил греческому правительству страшный скандал. Министр Димитр Вулгарис посоветовал воеводе покинуть Афины. Петко потребовал, чтобы ему выдали исправный паспорт, но греки отказались. Тогда он нашел портных и заказал для своих четников солдатскую форму, а для себя — мундир турецкого офицера. Потом нанял парусное судно и направился на север в надежде зайти в какой-нибудь

небольшой болгарский порт и высадиться там под видом турецкого отряда. Но как только судно вышло в открытое море, началась сильная буря, и их трое суток носило по волнам. Исякли запасы пищи, а болгарского берега все не было видно. На четвертый день вблизи показались скалы острова Митилена. Капитан, указав на чугунные дула орудий, смотревшие с укреплений на море, сказал:

— Это крепость Сир!

Тогда сообразительный воевода, чтобы накормить чету, решил сойти на берег и приказал своим юнакам переодеться в турецкую форму, а сам облачился в офицерский мундир. Лихо сдвинув феску набекрень, он первым прыгнул на берег. Комендант крепости спросил у Петко, какое дело привело его в Сир, и, узнав, что гость — ревизор, посланный самим падишахом, чтобы лично осмотреть крепостные стены и проверить, все ли в порядке, захопотал и кинулся показывать все высокому посланцу. Петко и его солдаты остерегались проронить невзначай болгарское слово. Говорили только по-турецки. Комендант показал им орудия, пороховые бочки и продовольственные склады. Затем он выстроил свой гарнизон, и Петко прошел вдоль строя, словно генерал. Закончив смотреть, доганхисарец пожал руку старому полуграмотному турецкому офицеру, похлопал его по плечу и сказал, что за всю свою жизнь не видел такого умного офицера, который лучше его нес бы службу. Комендант блаженно улыбнулся, но потом, покачав головой, жалобно проговорил:

— Над моей крепостью муха не пролетит незамеченной, но кто это оценит? Сколько лет я здесь, уж и

не помню. Поседел на службе у падишаха, а меня все еще держат в миралаях, между тем как мои товарищи в Стамбуле стали пашами. Кинули меня сюда и забыли.

— Не печалься,— утешил его Петко,— как только вернусь в Стамбул, первой моей заботой будет твое повышение.

Страж острова Митилена на славу угостил изголовавшихся беломорских скитальцев, снабдил их продовольствием и вывел весь свой гарнизон для проводов необыкновенных гостей. А Петково судно подняло паруса и взяло курс на Галлиполи. Спустя несколько дней гостеприимные родопские леса встретили его чуту. Возвращение Петко-воеводы во Фракию испугало турок. И вновь застучали конские копыта по козьим тропкам — турки бросились на поиски неуловимого отважного болгарина. Петко нападал на турецкие карательные отряды везде, где ему это было выгодно. В июле 1869 года, возле Кешана, его чета разгромила турецкий отряд, впятеро ее превосходивший. На следующий год на хуторе Семидкёй он сражался один против шестидесяти черкесов и снова вышел из боя цел и невредим. У хозяина хутора Ака-бея был пастух-валах, живший в кошаре в двух часах ходьбы от хутора. По поручению бея пастух познакомился и сдружился с воеводой и однажды пригласил его к себе в кошару якобы для того, чтобы сообщить ему важную новость. Петко, человек доверчивый и честный, отправился к нему с двумя четниками. Он оставил их в соседнем селе, а сам ночью прокрался к пастуху. Хозяин встретил его, приветливо улыбаясь, достал флягу с ракией и затеял какой-то разговор. Не про-

шло и десяти минут, как пастух схватился за живот и начал охать и корчиться. Петко, подумав, что он простудился, и пожалев его, решил сварить ему пунш. Нашел кофейник, налил в него ракии, но в тот момент, когда он наклонился к очагу, чтобы поставить кофейник на угли, валах бросился на него сзади и начал душить. Гайдук понял коварный замысел предателя и, будучи сильнее его, повалил его на землю и заткнул ему рот. Пастух успел только крикнуть:

— Налетайте! Погибаю!

Сразу же снаружи раздались выстрелы по меньшей мере полсотни ружей. Петко первым делом ногой раскидал угли, чтобы очаг не освещал кошару. Еще раньше он заметил в углу несколько мешков с шерстью и теперь сразу сообразил, что надо делать. Он схватил один из мешков и выбросил его через дверь наружу. Осаждавшие, думая, что это человек, открыли пальбу. В кошаре засвистели пули, зарываясь в очаг. Петко выбросил еще один мешок, потом еще два. Нападающие решили, что в кошаре полно четников, и боялись к ней подойти. Выбросив все мешки, воевода выбрался из кошары, прополз между мешками, толкая их перед собой и стреляя то вправо, то влево. Враги были настолько сбиты с толку, что, расступившись, дали дорогу мешкам, и Петко скрылся. После этого по селам, среди болгар и турок, разнеслась молва, что нет на свете пули, которая могла бы настигнуть родопского воеводу.

Начальник адрианопольской жандармерии Арап Хасан взъерился и дал страшную клятву правителю области: за один год поймать Петко-воеводу и либо привезти его живым в Адрианополь, либо доставить

его голову в конской торбе. Правитель дал ему семьдесят солдат, вооруженных до зубов. И кинулся Арап Хасан по селам, неся горе и слезы старым и малым. Но Петко словно сквозь землю провалился: никто не мог сказать, где он. Утомленный тщетными розысками, адрианопольский храбрец остановился на отдых в селе около Эноса. Местный бей пригласил его погостить в своем имении. Арап Хасан вскочил на коня и в сопровождении двух солдат отправился в гости. На полпути, в ложине, они увидели трех оборванцев, сидевших на траве. Перед ними на платке лежали черный хлеб, лук и соль. Тут же валялись толстые палки — плотницкие аршины. Арап Хасан остановил коня.

— Эй,— закричал он,— подойдите сюда!

Оборванцы поднялись, взяли свои аршины и медленно приблизились к всадникам.

— Кто вы такие? — спросил их Арап Хасан.

— Мы плотники! — ответил один из них, взмахнув аршином.

— Предъявите паспорта!

Плотники, шаря у себя за пазухой, подошли вплотную к конским мордам, по данному знаку с молниеносной быстротой схватили всех трех коней под уздцы, а аршинами ударили всадников по рукам.

— Не шевелиться, а то будете убиты на месте! — грозно воскликнул плотник, схвативший коня Арапа Хасана, и распахнул свои лохмотья. Из-под них сверкнули желтые рукояти двух пистолетов и тяжелая сабля.

Перепуганные турки покорно сошли с коней. Три дня держал Петко-воевода пленного Арапа Хасана в

своим гайдуцком гнезде. На четвертый день ему сбрили левый ус и правую бровь, взяли с него клятву, что ноги его больше не будет в болгарских селах, и живого и невредимого отправили к правителю области. Храбрец сразу же явился к адрианопольскому вельможе и все ему рассказал. Правитель, закусив губу, приказал связать хвастуна и заточить в Видинскую тюрьму.

Несколько султанских полков шли по следам воеводы, но он был неуловим. Его дерзость дошла до того, что однажды при Димотике, имея только тридцать четников, он вступил в бой с пятьюстами черкесами. Султанское правительство обещало пять тысяч лир тому, кто поймает или убьет грозного юнака, которого сами турки называли «властителем гор». На награду польстился греческий купец из Константинополя Тома Хаджиянев. Узнав, что воевода бродит в окрестностях приморского городка Маронии, он немедленно отправился туда. Пожив три месяца в Маронии, хитрый купец сумел познакомиться с Петко, завалил его подарками и наконец предложил ему побрататься. Доверчивый Петко и на сей раз едва не угодил в западню. Никакие сомнения не тревожили его сердце, когда однажды ночью с несколькими четниками он переступил порог купеческого дома. Тома сердечно встретил гостей и на прощанье подарил им несколько бутылок анисовой водки и три коробки константинопольской кунжутной халвы.

— Это тебе от меня, побратим! — сказал он.

Служанка, провожавшая гостей, прежде чем закрыть за ними дверь, легонько дернула Петко за рукав и прошептала:

— Берегись халвы!

В горах наступил вечер. Стемнело. Четники, закутавшись в бурки, улеглись спать, а воевода, прихватив коробку с халвой, направился в соседнюю кошару. Пастухи спали. Собаки встретили Петко как старого знакомого и начали тереться о его ноги. Воевода открыл коробку и бросил им по куску халвы. Не прошло и получаса, как собаки в судорогах околели. Никому не рассказав о происшедшем, воевода, вернувшись к себе, отправил купцу письмо с выражением сердечной благодарности за гостеприимство и особенно за вкусную халву. Коварный Тома решил, что яд был недостаточно сильный, и стал искать другой, но 23 мая 1876 года Петко-воевода среди бела дня вступил с четой в Маронию, расставил посты на всех дорогах и с шестью четниками ворвался в дом своего побратима. Сжег торговые книги и бумаги, открыл кассу, роздал деньги горожанам, щедро наградил слуганку и под звуки волынки увел Тому в горы, чтобы достойно расплатиться за халву.

В эти дни болгарское небо озарилось пламенем Апрельского восстания, а башибузуки уже прикатили в Батак и Перуштицу колоды, чтобы рубить на них головы повстанцам. Петко перебрался на южные склоны Родоп и пытался установить связь с вожаками восстания, но посланные им люди вернулись, не сумев ничего сделать.

1877 год. Отважный Петко-воевода узнал, что соединения армии-освободительницы перешли Дунай. Он был вне себя от радости. Прежде всего он приказал поставить свечи и зажечь лампы за победу русских солдат, а сам вступил в борьбу с турецкими аскерами

в глубоком тылу. За каждое содеянное турками зло он заставлял их платить внятеро. Чета его разрослась: триста юнаков встало под его знамя. При Ташлыкдере он взял в плен целое отделение турецких пехотинцев с тремя офицерами и захватил знамя. У отступавших на юг турок четники отбирали награбленное и сурово наказывали преступников. В марте 1878 года в Маронии Петкова чета сражалась с тремя полками регулярных турецких войск и с несколькими сотнями башибузуков, которыми командовали двое пашей. Все время, пока шла война, беломорский край был под защитой воеводы, а жители его ждали прихода освободителей.

О подвигах прославленного родопского болгарина узнало и русское главное командование. Победоносные генералы пожелали увидеть Петко и пригласили его в Адрианополь. Скобелев горячо пожал ему руку и назвал богатырем. Но после заключения Сан-Стефанского договора родной край Петко снова оказался в цепях рабства. Англичанин Сенклер, пытаясь сорвать перемирие, собрал остатки родопских головорезов и попробовал поднять бунт среди болгар-магометан, но Петко со своей дружиной помешал ему. 2 июня 1878 года бесстрашный воевода с шестью четниками спас жителей села Плаво, вырвав их из огненного кольца башибузуков.

После Освобождения Петко-воевода отправился вместе с генералом Скобелевым посмотреть землю братьев-освободителей. В Зимнем дворце, в Петербурге, ему вручили орден за храбрость и присвоили чин капитана русской армии. Русские щедро одарили Петко, но на освобожденной родине он снова под-

вергся преследованиям прислужников немецких князей. Его ограбили дочиста да еще безвинно продержали пятьдесят дней в тюрьме. Второй раз в жизни оказался он в заключении, но на этот раз тюрьма была болгарская.

Сломленный неправдой и тоскуя по оставшейся под турецким игом Беломорской равнине, Петко-воевода скончался в 1900 году.



ДРУГ ЗА ДРУГА

Подполковник Нищенко, командир Пятого болгарского ополченского батальона, рассредоточил своих солдат вдоль дороги на Тырново-Сеймен, в виноградниках под персиковыми и черешневыми деревьями. Пушкари выкатили орудия на дорогу и направили их дулами на юг, в сторону, где дымились подожженные села. Ополченцы, раскинув ноги, залегли в виноградниках и молча пристально вглядывались в даль. Сердца их сильно бились. Налево, вблизи Новозагорской дороги, позицию занимал Второй болгарский батальон, а рядом, скрытые Чадыр-могилой, ждали боевого призыва трубы казаки Донского полка. Это было 19 июля 1877 года. Турецкие орудия грохотали. Ядра пролетали над головами и взрывались на окраинах Старой Загоры. Как страшная туча, надвигались батальоны Сулеймана-паши. Равнина почернела от наступавшей пехоты и конницы. Нива, на которой уже созрела пшеница, была изрыта ядрами. Турки, выступившие из Адрианополя навстречу передовым частям освободительных войск, нащупали их слабое место. Против горстки

защитников Старой Загоры — четырех болгарских батальонов, четырнадцати русских эскадронов и двенадцати орудий — Сулейман выставил тридцатитысячную армию и восемьдесят орудий. Он рассчитывал смести со своего пути малочисленные христианские войска, вторгшиеся во Фракию, взять Старую Загору, Казанлык и Шипку и таким образом спасти Осман-пашу, задохавшегося в осажденной Плевне.

Солнце припекало. Ополченцы время от времени протягивали руки к розовеющим кистям винограда и сосали кислые ягоды. Когда фески турецких солдат замелькали, подобно макам, колеблющимся от ветра, на еще не вытопанных нивах, Второй батальон открыл смертоносный огонь. За пороховым дымом не стало видно врагов. Турецкие пули засвистели в ветвях черешен, с персиковых деревьев посыпались листья. Командир Третьего ополченского батальона подполковник Калитин, верхом на перепуганном выстрелами коне, не отрывал подзорную трубу от глаз. Увидев, какая лавина надвигается на нищенковских солдат, он стремительно выхватил из ножен саблю, рассек воздух и повел свой батальон на выручку. Высоко над головами заполоскалось Самарское знамя, полученное батальоном в Пloeшти. Запев любимую свою песню «Болгарские юнаки», ополченцы устремились за командиром. Удар был настолько сильным, что первые ряды турок дрогнули, и оттоманцы начали валиться, как скошенная трава.

Разгорелась Старозагорская битва. В пыли и дыму потонула Чадыр-могила. Целых три часа ополченцы

и донские казаки сдерживали врага в виноградниках у ворот охваченного ужасом города. Они отбрасывали турецкую свору, опрокидывали передовые колонны, но на их месте, словно вырастая из-под земли, появлялись другие, еще более многочисленные. А в это время дорога через ущелье к долине Тунджи была забита десятками тысяч людей, повозками, скотом — жители Старой Загоры в панике покидали родные места.

Солнце стояло в зените, и виноградные лозы уже не отбрасывали тень, когда черные турецкие всадники, перевалив через Бадемликскую возвышенность, начали окружать обреченный город. Неподалеку, за спиной регулярного турецкого войска, чудовище хаджи Тагир-ага точил свой ятаган и еле сдерживал рвавшихся к грабежам и крови башибузуков.

Подполковник Калитин, с тревогой всматриваясь в темные силуэты турецких всадников, отдал приказ об отступлении. Знамя, развевавшееся над виноградником и мужественно выстоявшее под огнем, медленно поплыло назад. Турки бросились вслед отступавшим. Вражеская пуля настигла знаменосца Цымбалюка и свалила его на землю. Но раненый русский богатырь, сделав сверхчеловеческое усилие, поднялся, и знамя снова зареяло над батальоном. Ослепительно сверкнул пробитый пулями золотой крест. Как остервенелые осы, устремились турецкие пули к святыне ополченцев — драгоценному дару, присланному первым болгарским солдатам гражданами Самары.

— Все к знамени! — раздался голос Калитина.

Ополченцы бросились к знаменосцу. Ползли даже раненые, устремив взор на чудесное знамя.

— Братья-ополченцы, не пожалеем жизни для спасения Болгарии! — воскликнул Стоян Станишев, всего лишь два месяца назад покинувший аудитории Парижского университета, чтобы сражаться за свободу отчизны. Он кинулся к знамени, но вдруг взмахнул руками, зашатался и упал лицом вниз. Горячая земля жадно впитала в себя молодую чистую кровь.

Отряд молодых ополченцев, окружавший знамя и свернувший было за холм, вдруг исчез, поглощенный сворой турецких янычар. Знамя словно провалилось сквозь землю.

— Где знамя? — воскликнул подполковник Калитин. — Наше знамя в руках турок!

И, прищипорив коня, Калитин помчался туда, где исчезло знамя. Лес штыков преградил ему путь, но он не дрогнул. Конь вздыбился и, прорвавшись сквозь стену штыков, понесся за огромным анатолийцем, убегающим со знаменем. Подполковник выхватил револьвер, выстрелил, и прежде чем турок рухнул на землю, вырвал у него знамя и на левой руке высоко поднял его над головой. Ополченцы снова бросились к своему командиру, но в это время турецкий солдат, как змея ползший в винограднике, вдруг вскочил и с диким ревом, подняв над головой ружье, вонзил штык в грудь подполковника. Калитин выронил знамя. Турок схватил его и оглянулся вокруг, соображая, куда бежать.

Но путь ему преградил ополченец Начо, огромный и страшный. Он сбросил с себя мундир, который был ему тесен, и в одной рубашке, засучив рукава и обнажив косматую грудь, дрался с турками. У Начо еще в начале боя кончились патроны, штык сломался, и потому, схватив винтовку за конец ствола, он сокру-

шал врагов прикладом. Начо размахивал ею с такой силой, что на землю валились и турки и лозы. В мгновение ока сшиб он турка, похитившего знамя, вырвал знамя у него из рук и отдал унтер-офицеру Фоме Тимофееву.

— А где мой?

— Кто? — не понял Фома.

— Да прапорщик мой, Алешка.

— Видел недавно, он на плечах раненого командира нес. Беги и ты назад! — крикнул унтер и побежал по ровной дороге, неся в руках развевающееся знамя.

— А как же с этими? — показал Начо рукой на турецкие полчища, но знаменосец не ответил ему: он был уже далеко.

Увидев, что все отступают к городу, Начо тоже побежал.

В тот же вечер русско-болгарские войска, храбро сражавшиеся на Старозагорской равнине и оставившие не менее пятисот убитых на виноградниках Чадыр-могилы, перешли реку и расположились бивуаком под старыми ивами. Была звездная июльская ночь. Истомленные кровопролитной битвой солдаты спали глубокоим сном, когда в палатку подполковника Нищенко просунулась лохматая голова Начо.

Нищенко сидел на походной кровати и курил. Он удивленно взглянул на огромную фигуру ополченца и, узнав Начо, спросил:

— Чего тебе?

— Ваше благородие, где мой?

— Кто? — поднялся с кровати подполковник.

— Да мой прапорщик, Алешка. Все батальоны

обошел... как сквозь землю провалился. Пришел вот у вас узнать.

— Твой прапорщик? — переспросил Нищенко и покачал головой. — Тут его не было. Видел его мельком при отступлении, он нес раненого командира, но потом исчез. Не знаю, куда он девался.

— Что же мне делать, если его убили? — по-детски беспомощно спросил Начо, глядя на подполковника широко раскрытыми глазами.

— Лучше всего, братец, иди поспи. Утро вечера мудренее.

Но Начо не сдвинулся с места.

— Ну, что тебе еще? — спросил Нищенко.

— Револьвер мне, ваше благородие... дайте мне ваш револьвер!

— Револьвер?

— Так точно.

— Зачем он тебе?

— Пойду на виноградники, искать Алешку.

— Но там же турки. Посмотри на небо. Старая Загора горит!

— Так точно.

— Ну вот, ложись и спи.

— Так точно, но дай мне револьвер.

— Говорят тебе, нельзя туда идти.

— Так точно, нельзя, но я пойду.

— И, протянув руку, Начо взял револьвер, висевший на стене над походной кроватью.

— Что ты делаешь? — воскликнул подполковник.

— Я верну его, ваше благородие! Честное слово, верну! Вот смотри, крест целую.

Начо наивно скрестил указательные пальцы, приложился к ним, отступил назад и исчез в темноте.

Драгуны, охранявшие спящий лагерь, остановили его.

— Куда ты идешь в такую темень? С ума, что ли, сошел? Там убитых и раненых — тысячи... Где ты найдешь своего прапорщика?

— А спички на что?

— Там же турки хозяйничают.

— Начо турок не боится, — крикнул Начо и бросился через ущелье к горящему городу.

Добравшись до огромного пожара, ополченец на мгновение заколебался — идти ли ему налево, через Бадемлик, или направо, через густые заросли черешни. Несколько минут он вглядывался в стоявшие на окраинах Загоры одинокие мазанки, еще не охваченные пламенем, затем осторожно пополз направо, но вскоре натолкнулся на бесконечный турецкий лагерь. Он увидел островерхие палатки, костры, винтовки в пирамидах и решительно свернул к городу. Он бежал по улицам, мимо горящих домов, перепрыгивая через трупы зарубленных людей, обугленные балки, валявшуюся повсюду домашнюю утварь. Обожженный, задыхающийся, Начо достиг Чадыр-могилы и нашел то место у белевшей в темноте Новозагорской дороги, где он потерял своего молодого начальника. Луны не было. Только высоко в небе мерцали звезды. Начо споткнулся о труп. Нагнулся, стал ощупывать: холодные руки, плечи. Чиркнул спичку — турок. Побрел дальше...

Светало. На левом берегу Тунджи, у колеса маленькой ветхой мельницы, стояли двое часовых и смот-

рели на юг — в сторону ущелья. Красное, как гранат, небо бледнело. От реки веяло упоительной прохладой. Вдруг за ивами послышался плеск. Кто-то переходил реку. Кто-то шел к мельнице. Часовые вскинули ружья, прицелились.

— Эй, уберите ружья! Или не видите, что это я? — раздался голос Начо. Часовые, узнав его, опустили оружие.

Еле держась на ногах от усталости, Начо вышел из реки и побрел по песку. На плече он нес Алексея Оленина. Голова и руки прапорщика безжизненно свисали. Тяжело вздохнув, ополченец осторожно опустил своего раненого командира на траву. Затем пощупал его лоб, приложил ухо к груди. Долго слушал.

— Не остановилось, — сказал он, — бьется. Спас я моего милого Алешку!

И Начо вытер лоб рукавом рубахи.

Прошло три недели. Засыпанная градом пуль, вспаханная снарядами турецких орудий, напоенная героической кровью русских солдат и болгарских ополченцев Шипка была уже при смерти. На горных склонах лежали трупы более чем трех тысяч ее защитников. Оставшиеся в живых скрывались в неглубоких траншеях и за каменными глыбами. Патроны были израсходованы, затворы винтовок сломаны. Солдаты встречали оттоманские орды холодным оружием, камнями и стволами деревьев. Одна за другой замолкали русские батареи — Стальная, Круглая, Центральная... А со стороны Малого Бедека непрерывно ревели, извергая страшное пламя, девятипушечная батарея турок.

Три дня и три ночи у защитников Шипки не было ни крошки хлеба, ни капли воды. В горле пересохло, губы трескались от жажды. Майор Редькин, командовавший ополченцами на вершине святого Николы, приказал сломать древко батальонного знамени и спрятать полотнище, чтобы оно не попало в руки врага. Пушкари вынули замки из орудий. Сулейман-паша бросил на Шипку все свои батальоны. Еще накануне вечером он послал донесение султану.

«В моих руках,— писал он,— обе дороги, которые ведут из Габрова к русским позициям, мною захвачены источники, из которых русские пользовались водой. И если будет на то воля аллаха, и если противнику не удастся спастись бегством,— я его уничтожу».

И вот деспот, угнетавший страну в течение пяти веков, замахнулся окровавленным ятаганом, чтобы разом отсечь головы немногим оставшимся защитникам и водрузить над Шипкой стяг с полумесяцем.

Едва только перевалило за полдень, как в тыл защитников Шипки прорвались первые турецкие солдаты. Начо увидел их с Орлиного гнезда. Он закусил губу и весь задрожал от горя и отчаяния. Ему казалось, что какая-то невидимая и сильная рука, схватив за горло, душит его. В последний раз размахнулся он своим ружьем и прикладом его свалил двух турок, высунувших головы из-за камней и пытавшихся взобраться к нему. Уничтожив врагов, Начо тяжело перевел дух и обернулся. Число турок, отрезавших путь к отступлению, быстро возрастало. Все погибло! Конец! Силы покидали железного болгарина. Его качнуло, как дерево, которому достаточно одного удара топора, чтобы рухнуть. А вот появились и всад-

ники. Летят один за другим вдоль Зеленого дерева. Пошли в наступление! Но почему их по двое на каждой лошади? Сначала Начо показалось, что это турки, и в глазах у него потемнело. Но, потеряв лоб, он увидел русские фуражки, обнаженные сабли, взмыленных коней и услышал, как над горами загрохотало могучее, продолжительное, грозное «ура-а-а!».

Эхо подхватило этот спасительный клич и понесло по лесистым вершинам Балкан. Словно цыплята, на которых налетел ястреб, вмиг рассыпались турки, добравшиеся было до Зеленого дерева. Покатались по оползням и оврагам, бросались вниз головой в пропасти, исчезали в зеленых зарослях Лесной поляны. Это произошло так внезапно, что Начо не успел прийти в себя. В первом всаднике, мчавшемся к Орлиному гнезду, Начо узнал Алешку, своего молодого командира. Спасение! Раскрасневшийся, запыленный, с гневно сверкающими глазами, мчался всадник. Сабля его горела огнем. Это Алешка, никто как он!

Стрелки генерала Радецкого, подоспевшие в эту роковую минуту, соскочили с коней, залегли и открыли огонь из своих берданок.

Ружье Начо, замолкшее еще вчера, выскользнуло у него из рук. Начо опустился на землю и широко раскрытыми глазами следил за Алешкой, уже взлетевшим на соседнюю высоту и грозно размахивающим саблём.

— Вот и он меня спас! — прошептали побелевшие губы ополченца, и по щекам его потекли крупные блестящие слезы.



В БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА

Фачевой корчме поп Трошан из Царева градища затряс всклокоченной своей бородой и так стукнул кулаком по столу, что доверху наполненные горячей ракией граненые стаканы расплескались.

— Не быть мне больше попом, коли в нашем селе завтра появится хоть один из этих красных бюллетеней! Клянусь, вот эту бороду, что до пупа отрастил, обрею напроочь!

— Ты богу кайся, а наперед не зарекайся! — отозвался Тодор — Лягушачий депутат, которому коммунисты не раз жару давали. В селе Тодора не любили и на выборах обычно прокатывали, но начальство своею властью каждый раз распускало красный совет общины, назначало свою тройку и сажало Тодора на председательское место. Управлял Тодор общиной — как бог на душу положит. Транжирил народные деньги. Взбрело ему как-то в голову отгрохать общинный хлеб на манер дворца, а сельская школа между тем ютилась в полуразвалившейся халупе, оставшейся еще с турецких времен. Велел понарыть

на берегу реки большущие ямы, да так их и оставил. Ямы залило водой, завелись в них лягушки. Народ стал потешаться над ним: «Председатель-то наш лягушек разводит, чтоб на выборах побольше голосов собрать». И окрестили его Лягушачьим депутатом.

— Эх вы, не знаете, с какого боку подступиться! — сказал поп и долил свой стакан.

— Как ни подступайся, а не идет у нас дело! Наши коммунисты в большой силе теперь.

— А что, у вас в лесу дубины перевелись? Мы, к примеру, у себя всех ненадежных в бараний рог скрутили. Всех подряд обыскиваем. Без нашего ведома в Царево градище и птице не пролететь, — расхвастался поп Трошан...

А в это самое время в низенькой сапожной мастерской напротив, где работал партийный секретарь Васил и его подмастерье Инка, происходил такой разговор.

— Только в одно Царево градище не сумели мы передать бюллетени, — задумчиво говорил Васил. Он отложил в сторону свой сапожный молоток и, взяв нож, принялся обрезать подметку. — Ну-ка, Инка, вставай, снимай передник!

— Мехмед, сборщик яиц, говорит, там село с ружьями охраняют.

— И пускай охраняют. Давеча в клубе мы с Лесой, как увидели телегу попа Трошана, придумали такой план: сам поп и перевезет нам бюллетени. Он сейчас в корчме ракией накачивается, а телега во дворе стоит. Вот ты, браток, и сунь сверток с бюллетенями в сено, под сидение. И шагай в село как ни в чем не бывало — я не я и лошадь не моя. Сиди себе

Жизнь

и дожидайся в корчме у Михала Шопы. Поп Трошан на обратном пути непременно завернет в трактир — сроду того не бывало, чтоб он мимо проехал. Как, значит, он войдет, вынешь из его телеги бюллетени и разнесешь их по домам. Наши тебе помогут. Только помните, глядеть в оба, чтоб не накрыли. Ну, вот уже и стемнело. На улице ни души. Собирайся!

Инка скинул свой кожаный передник, взял сверток с бюллетенями и неслышно вышел из мастерской. Вечерние сумерки сразу поглотили его. Васил поднялся, чиркнул спичкой, закурил и стал пристально вглядываться в Фачеву корчму. Не успел он сделать и трех затяжек, как Инка вернулся.

— Сделано, дядя Васил! — сказал он. — Что еще?

— Больше ничего. Скажешь нашим, чтоб не сгибали бюллетеней, потому что тогда их будут считать недействительными. В час добрый! Иди не большаком, а тропкою, наперерез. Даже если черепашьим шагом пойдешь, и то попа обгонишь.

Инка накинул на голову шерстяной башлык. Васил завязал ему концы башлыка сзади.

— Ты слыхал легенду о Троянском коне? Не слыхал? Ну, вернешься — расскажу.

— До свиданья, дядя Васил.

— Смотри, будь молодцом, сынок! Ты солдат партии!

Инка прошел вдоль заиндевевшей Чавдаровой изгороди, пересек речку Минушку и стал взбираться вверх по тропке на Кале. Добравшись до вершины, где когда-то высились крепостные башни, он остановился, чтоб перевести дух, и тут услышал, как внизу, на шоссе, докает копытами лошаденка попа Трошана.

Видно, намерзлась и изо всех сил поспешает в теплую конюшню.

Предвыборный патруль на околице Царева градища направил дула своих ружей прямо Инке в грудь. Заорали, загалдели:

— Стой, ни с места! Кто таков?

— Да я это, Инка.

Один из стражей чиркнул спичкой и поднес ее к самому лицу Инки. Мальчик сразу его узнал: это был Петко Шкода, сын кмета.

— Бюллетени несешь?

— Какие еще бюллетени... Нате, общите!

Его стали тщательно обыскивать. Вывернули карманы, развязали башлык, вспороли подкладку старенького пиджачишки, заставили даже башмаки снять. Ничего не нашли.

— Так зачем тебя черт принес?

— Будто не знаете, брат у меня хворает. Решил проведать.

— В самый канун выборов... Сомнительно что-то... Смотри, ежели узнаем завтра, что ты с собой чего-то пронес,— не сносить тебе головы! — пригрозил Петко, толкнув Инку в спину.— Ступай домой.

Парнишка нырнул в темноту и со всех ног пустился к корчме Шопы. Открыл дверь, вошел. Сел у окошка и заказал себе лимонаду. Шоп долго разливал виноградную ракию по шкаликам, разносил их по столам, пока наконец не вспомнил об Инке и не поставил перед ним желтую бутылку. Инка нажал большим пальцем круглую стеклянную пробку. Лимонад зашипел, но не успел он отпить и половины, как на улице загромыхала поповская повозка. Мелькнула

за окнами и проехала, не остановившись. Сердце Инки так и упало. Его прямо в жар бросило. Он встал и начал расплачиваться.

— Слышь, Инка, а запаса ты толстым полушубком? — спросил его корчмарь.

— А на что он мне?

— Ты ведь небось насчет выборов заявился? Вот завтра, как замкнут тебя в холодную да войдет туда Петко с толстым дрючком — тут бы тебе полушубок в самый раз пригодился.

Инка ничего не ответил. Вышел из корчмы и остановился на площади, не зная, что делать дальше.

— Вот это обмизурились! — проговорил он про себя и решительно зашагал к дубовым воротам попа Трошана. Нажал щеколду, но калитка не шелохнулась — она была заперта изнутри.

Сам не свой, понурый пришел Инка домой, присел на табурет у постели брата и все ему рассказал. Больной уставился на закопченные балки потолка, долго думал и сказал:

— Кровь из носу, а бюллетени с поповского двора надо вызволить. Да только как? Ступай-ка покличь двоюродного брата — он скажет. У него котелок варит что надо.

Двоюродный брат прибежал в башмаках на босу ногу, наспех накинув на плечи кожух. И, едва переступив порог, принялся браниться на чем свет стоит:

— А мать их так... Задержали, гады, мою подводку с дровами. Распрягли волов у околицы. Завтра вечером, говорят, как кончится голосование, тогда и приходи за дровами. Почем мы знаем, что ты там

под дрова напихал. Небось из лесу, едешь! Битый час обыскивали. Бюллетени ищут.

— Бюллетени, браток, у попа, да только как их извлечь оттуда?

Уразумев, что к чему, двоюродный брат хлопнул себя по коленям. Лукавые его глаза заблестели.

— Чего ж лучше-то! — воскликнул он. — Нынче ночью возьмем да и позовем попа сюда. Попов и докторов дозволено будить в полночь-заполночь. Сделай, мол, такую милость, отец Трошан, больной у нас. Ну, как окачурится без святого-то причастия?

По спине больного поползли мурашки.

— Инка это дельце и обтяпает, — продолжал двоюродный брат. — Сейчас поп небось только-только разделся и сел ужинать. Ты, Инка, скажешь ему так: скорей, отец Трошан, брат у меня помирает! Причаститься хочет. Покуда поп будет напяливать рясу да натягивать ноговицы, ты бюллетени из телеги и вынешь.

Пропели уже первые петухи, когда Инка стал колотить камнем в ворота попа Трошана. Поп вышел на крыльцо в одном исподнем.

— Кто там? — крикнул он.

— Это я, Инка, сын пастуха Радоя.

— Чего надо?

— Открой, тогда скажу.

Поп сердито пробормотал что-то и отодвинул тяжелый засов, которым были заложены ворота.

Инка жалобно заскулил:

— Брат у меня кончается, богу душу отдает.

— Ну и что? — строго спросил поп.

— Причаститься хочет.

— С чего это он надумал? Ведь он, никак, тому богу молится, которого Карлом Марсом звать.

— Да уж не знаю, кому он там молится, а только лежит человек на смертном одре... Обидно ему помирать без причастия. Пойдем, отец Трошан!

Поп почесал в потылице.

— Пойти, что ли,— проговорил он.— Погоди маленько, покада я соберусь.

И вернулся в дом. Тут Инка неслышно, словно хорек, скользнул под навес, где стояла телега. Принялся лихорадочно шарить в сене...

Между тем в доме пастуха двоюродный брат уже зажег свечу в изголовье больного. Когда поп начал совершать над ним молитву, больной озорно подмигнул двоюродному брату, а когда поднес к его рту ложечку с причастием, облизал губы — до того показалось вкусно, и прошептал:

— Мало...

— Что? — спросил поп, отдергивая ложечку.

— Малость полегчало,— слабым голосом ответил больной.

— Спасибо тебе, святой отец. Никогда не забудем твоей услуги,— сказал, провожая попа, двоюродный брат.

Всю ночь напролет Инка с двоюродным братом сновали по селу: перебирались через плетни, потихоньку стучались в оклеенные бумагой окна, разносили красные бюллетени. Натруженные крестьянские руки брали их с трепетом, словно искорки неумирающего огня. А те дурни знай торчали у околицы, дрожа от холода и тараща глаза в темноту. Усы и брови их заиндевели на морозе.

Днем все шло так, словно ничего и не было. Выборы проходили тихо и мирно. Только кмет диву давался: никогда столько народу не приходило голосовать. Что-то тут было нечисто. Другой раз силком не затащишь в темную комнатку, а сейчас валом валют и всяк норовит первым пролезть.

Вечером, когда начали вскрывать конверты, стол перед счетчиками так и заалел. Кмет бросил свирепый взгляд на сына и громко засопел. Синяя жила, пересекавшая его лоб, вздулась. Поп Трошан, узнав, за кого отдал народ свои голоса, еще крепче запер на засов ворота и погасил лампу. А на улице перед общиной шумела веселая толпа. Инкин двоюродный брат проталкивался к дверям, высоко над головой размахивая длинной, выкрашенной в красный цвет метлою.

— Дорогу! Дорогу красной метле!

— А что ты с ней делать будешь? — спрашивала молодежь.

— Вымету вон из народной общины прежних управителей вместе с тараканами!

Дружный смех звенел в вечерней тишине.



ЗАЩИТНИК НАРОДА

*Он, Чавдар, дружину эту
двадцать лет водил по свету,
и страшна была дружина
всем изменникам и туркам.
А страдальцы укрывались
под крылом у еговоды...¹*

Христо Ботев.

оезд был переполнен солдатами-отпускниками. Они возвращались на юг, к Завою на Черне и Каймакчалану, где смерть продолжала размахивать косой. Там гибли сыны болгарского народа — их рвали англо-французские снаряды, пронзали пули, сметали эпидемии и голод. Стоял ноябрь 1917 года. Двери большей части вагонов были открыты настежь. На деревьях, растущих вдоль железнодорожного полотна, сидели нахолившиеся мокрые вороны. Солдаты, втиснутые, словно скот, в теплушки, накрывшись брезентом, смотрели на оголенные поля, молча прощались с нивами, по которым брели, бросая семена, унылые молодухи и дети едва управлялись с тяжелыми сохами. На остановках к эшелону устремлялись десятки новых солдат с тяжелыми ранцами за плечами. Они как будто торопились поскорее добраться до мясорубки, опасаясь упустить свое место в очереди. За ними, спотыкаясь, бежали жены с заплаканными лицами; детишки,

¹ Перевод Л. Мартынова.

шмыгая носами, широко раскрытыми глазенками глядели на воинов в заплатанных шинелях, свесивших из дверей вагонов ноги в подкованных сапогах.

Во всем составе был только один пассажирский вагон. Он предназначался специально для офицеров, и солдатский сапог не имел права ступить туда.

Перед полустанком, окруженным пожелтевшими липами, машинист затормозил поезд так резко, что вагоны с грохотом стали наскакивать один на другой. Из комнаты ожидания выскочил солдат с тяжелым ранцем и, прихрамывая, побежал к первому вагону. Следом за ним спешила преждевременно состарившаяся женщина в пестром переднике и черном платке, из-под которого спускались длинные косы. Ее ввалившиеся красивые глаза были заплаканы. Она с трудом волочила две большие, плотно набитые сумки.

— Не найдется ли местечка и для меня? — спросил солдат тех, что, свесив ноги, сидели в дверях.

— Нету, браток. И куда ты, хромоногий, полез? Иди в конец состава!

— Да беги же туда, говорю тебе, там свободно!

Солдат заковылял так быстро, как только мог. Жена тенью следовала за ним. Она останавливалась возле каждого вагона и упрашивала:

— Уступили бы ему место, а? Хромой ведь. Глянь-те на него. Ах, господи, только б успеть!

— Беги назад, в пассажирский! Еле тащишься, браток! От англичан небось как заяц бы пропустил. Поторопись! — крикнул солдат с трубкой, смахивавший на бродягу.

Кондуктор дал сигнал отправления. Ему ответил свисток паровоза. Женщина закричала.

— Скорее, Венко, беги!

Раненый, напрягая последние силы, взобрался на подножку пассажирского вагона в тот момент, когда эшелон уже тронулся. Жена, на ходу передав ему сумки, еще долго бежала рядом с вагоном. Она не успела даже заплакать. И лишь когда последний вагон прогромыхал мимо нее, словно ударив ее железной рукой по лицу, женщина закрыла лицо передником и зарыдала.

Солдат прошел в коридор, остановился у окна возле первого купе и снял ранец. Опустив его на пол, положил рядом сумки и стал смотреть в окно. Крупные дождевые капли сеткой затянули стекло. Смутно виднелись нивы, которые он когда-то пахал и жал. Деревья бежали назад и, казалось, махали ему оголенными ветвями, посылая свое напутствие. К горлу солдата подкатился комок. Солдат отвернулся от окна и заглянул в купе. Там сидел один человек — красивый молодой мужчина с темными вьющимися волосами, черной, как смоль, бородой и большими блестящими глазами. Штатский.

Встретившись взглядом с солдатом, он потянулся к ручке, открыл дверь и позвал:

— Товарищ, входи, не стой в коридоре, затолкают.

«Чудной человек,— подумал солдат,— назвал меня товарищем»,— но потащил сумки в купе. Пассажир помог ему устроиться.

— Из окна заметил тебя,— сказал он.— Сильно хромаешь. Почему ты не лежал еще в госпитале?

— Выписали. Мест, говорят, нету. Привезли тяжелораненых, а нас — тех, кто поздоровей, вышвырнули.

— Куда едешь?

— Искать ветра в поле... у Завоя на Черне. Не знаю, как и доберусь на одной-то ноге.

— Много багажа везешь с собой, братец.

— Это не мой. Рота-то чуть не вся — земляки. Встретят, так все в руки и будут смотреть. Голодный народ, ничего не поделаешь. Гостинцы от жен. Мрет наш брат в окопах с голодухи.

— Наш брат мрет с голоду, а правительство еще и против России пушки повернуло. Мало им одного фронта...

В этот момент в коридоре появился очкастый лысый военный с золотыми погонами. Он внимательно оглядел сидящих в купе и медленно пошел дальше.

Солдат вздрогнул: полковник!

— Ну, сейчас вылечу отсюда пробкой...

Не успел солдат договорить, как полковник вернулся, рванул со злостью дверь и крикнул:

— Солдат!

Раненый вскочил и отдал честь.

— Слушаюсь, господин полковник!

— Ты знаешь, что этот вагон не для тебя?

— Так точно, знаю, господин полк...

— Тогда что ты здесь делаешь?

— В других вагонах не было мест, господин полковник.

— Он ранен, с трудом двигается, а состав действительно переполнен. Здесь есть свободное место, пускай останется, — вмешался штатский.

— Это не ваше дело! А ты на первой же остановке — марш отсюда. Слышишь?

— Слушаюсь, господин полковник!

С треском задвинув дверь, полковник зашагал к своему купе.

Как только поезд замедлил ход, солдат снова взвалил на плечи ранец, снял с полок сумки и, горько усмехнувшись, сказал:

— Выгнали меня из рая. Для них мы не люди. А не выполнишь приказа — в трибунал угодишь.

Пассажир помог солдату добраться до соседнего вагона и устроил его там на тормозной площадке. Руки у него дрожали от возмущения.

Когда поезд тронулся, полковник снова появился возле купе, решив проверить, исполнено ли его приказание. Черноглазый молодой человек, сидевший один, поднялся ему навстречу.

— Вы совершили недостойный поступок, господин полковник.

— Что?! — вскрикнул полковник.

— Повторяю: вы совершили недостойный поступок. Вышвырнули из полупустого вагона раненого болгарского солдата.

— Понимаете ли вы, что такое военные законы?

— Кроме ваших, военных законов, есть еще другие, человеческие, в которых вы, очевидно, не разбираетесь. Этот несчастный хромой солдат — жертва вашего безумия; вместо того чтоб сеять хлеб или хотя бы остаться в госпитале до полного выздоровления, он снова спешит на фронт, а вы даже не позволяете ему провести несколько часов в тепле. Вы просто вытолкали его отсюда!

— Кто вы такой, что позволяете себе разговаривать со мной таким тоном?

— Я — депутат Народного собрания.

— Имя?

— Георгий Димитров, член партии тесняков.

— Куда едете?

— Я не обязан вам докладывать.

— Солдатский бунт намерены поднять! Я вас еще проучу!

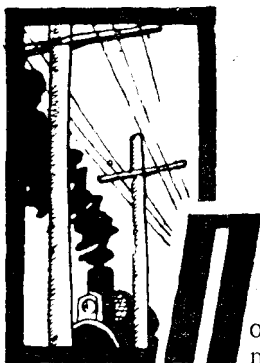
— Не вам учить меня, но тот, кого вы вышвырнули, не забудет вас никогда!

Из соседних купе стали выглядывать офицеры. Полковник круто повернулся и, покраснев как рак, со свирепым видом зашагал по коридору.

В этом поезде, следовавшем в 1917 году на Южный фронт, встретились трое. Один — представитель тех, кто, по выражению Антона Страшимирова, позднее «резал свой народ так, как и турок его не резал». Другой — труженик, отец тех ребят, что спустя четверть века взялись за оружие и гайдуцкими тропами Ботева и Левского ушли в горы. Третий был один из величайших мужей нашей эпохи, неустрашимый борец за правду и коммунизм. В тот дождливый день он ехал на Южный фронт, чтобы рассказать болгарским солдатам о первых зарницах Великой русской Октябрьской революции. За описанное нами заступничество он был осужден на три года тюремного заключения...

Моросил холодный ноябрьский дождь. Вагоны толкали друг друга, словно овцы, подгоняемые озлобленным пастухом.

ПОП АНДРЕЙ



«Эй,
повесить пона!
Этот красный поп
без креста,
без молитвы
ляжет в гроб!»
У столба телеграфного
был он поставлен.
Подожел палач.
«Капитан!
Веревка готова».
Вдали — темный контур
Балкан.
И небо сурово.
Поп стоял у столба,
как огромный утес,
как гранит¹.

Гео Милев

Повстанец, стоявший на часах у дверей Главного революционного штаба, нажал ручку, открыл дверь и вошел.

Руководитель восстания сидел, склонившись, с красным карандашом в руке над расстеленной на столе большой картой. Сосредоточенно, внимательно изучал ход боевых действий.

— Товарищ Димитров,— тихо произнес часовой,— товарищ Димитров... сладу с ним нет, лезет и все тут.

— Кто?

— Поп какой-то.

— Какой еще поп? — удивленно спросил Димитров и положил карандаш на карту.

— Повстанец из села Медковец.

— Поп? Повстанец? Пускай войдет.

Поп Андрей с шумом переступил через порог и, протянув Димитрову руку, пробасил:

¹ Перевод М. Павловой.

— Я ему говорю: да пропусти ты меня, парень, а он переговоры разводит. Поп Андрей Игнатиев из села Медковец, повстанец! — представился он.

Димитров пожал ему руку и сказал:

— Присаживайся, отче.

Оглядел его с головы до пят.

Камилавка. Раскрасневшееся, потное лицо, смуглое, с лихо закрученными усами, борода всклокочена, побелела от дорожной пыли. Длинная суконная ряса подпоясана кавалерийской саблей. Даже ресницы побелели от пыли. Только глаза горят из-под густых сросшихся бровей. Сверкают, точно раскаленные угли. Не человек — огонь.

Поп уселся, достал из кармана огромный платок и принялся вытирать свой высокий лоб.

— Ну, как там у вас, в Медковце? — спросил Димитров.

— В Медковце-то мы живо управились. Вышибли гидру из седла. Народ подняли. Над селом красное знамя реет. А здесь как?

— Сегодня в три часа Берковица тоже перешла в наши руки. Революционные войска госят врага к Петрохану. Две дружины — Фердинандская и Белимельская — двинулись через Крапчане, через Белимел и Липен на Врацу. Наши доставили припрятанное габровчанами оружие. И теперь силы у нас окрепли. Мы располагаем десятью тысячами красных бойцов в одном только Фердинанде. Разослали в голодные горные села обозы с хлебом.

— А Лом? — нетерпеливо перебил поп.

— Ты был в Ломе?

— Был.

— Расскажи,— попросил Димитров, впиваясь в гостя тревожным взглядом.

— Да что ж рассказывать... Вчера атаковали мы казарму. Весь город у нас, а казарма в руках противника. Набились туда битком вражины, душегубы вместе с женами да выкормышами своими — все до единого. Мы, медковцы и кривобарчане, ударили со стороны Штырбановой мельницы, да только захлебнулась наша атака.

— Почему? — воскликнул Димитров.

— Да потому что с голыми руками шли.

— Каким оружием вы располагаете?

— Да кто во что горазд. И карабины, и трехлинейки, и берданки. А кто не смог раздобыть себе винтовки, похватали топоры, секачи, железные вилы.

— А у неприятеля?

— У неприятеля на каждом углу по пулемету, знай косит да косит. Из каждой щели винтовка торчит. Пули на нас так градом и сыплются, гранатами швыряют. Да сверх того, вся казарма обнесена колючей проволокой.

— Что же вы предприняли дальше?

— Да ничего. Решили атаковать ночью. Условлено было так: как только ударит колокол голинской церкви — так все разом на казарму! Ждали мы, ждали — всю ночь глаз не сомкнули, а колокол молчит, словно онемел. Первые петухи пропели, вторые. Светать начало. Сорвалась наша атака. Потом-то мы уж узнали, как дело было. Тех, кто пополз к казарме, чтоб перерезать ножницами колючую проволоку — всех до одного положили из пулеметов. Там и лежат. И ничего сделать не можем.

Георгий Димитров помрачнел. Тень легла на его высокий лоб.

— Выходит, отче, надо отказаться от революции?

Поп Андрей вздрогнул, сорвал с головы камилавку и положил ее на карту.

— От великого дела,— медленно произнес он,— мы не откажемся. Раз уж поп Андрей вытащил свою саблю из ножен, он на попятный не пойдет!

«Ай да святой отец!» — подумал про себя Димитров и вслух спросил:

— А все в ваших селах примкнули к восстанию?

Поп покачал головой.

— По дороге к тебе видел я одного земляка: растелил мешок в тенечке и похрапывает. Мы революцию делаем, а он себе спит и в ус не дует. Эх, времени у меня не было, а то слез бы с коня да растолкал лежебоку.

— А ты почему оставил боевые позиции? — неожиданно спросил Димитров.

— Я делегат. Меня товарищи прислали за пушкой. Сломая голову скакал сюда через поле. Дайте нам вашу пушку, и мы разнесем в пух и прах эту казарму...

— Мы отправили пушку в Берковицу.

— Берковица уже взята. Отдайте приказ, чтоб как можно скорее вернули пушку. Меня народ за нею послал. Я без нее не уеду. Она мне заместо попадьи будет.

Димитров усмехнулся. Впервые за все эти тревожные и великие дни мимолетная улыбка озарила его суровое лицо.

— Отец Андрей,— сказал он и ткнул красным карандашом в одну из черных точек на карте,— враг

здесь, в Бойчиновцах. Сегодня ночью мы расчистим железную дорогу на Лом. Как только семафор покажет, что путь свободен,— бери пушку и возвращайся к своим.

Димитров поднялся: разговор был окончен.

Поп Андрей просиял. Черная борода заколыхалась. Вздохновенный до глубины души, шагнул он к народному вождю.

— Товарищ Димитров!

— Слушаю, отче!

— Позволь мне, старому медковскому попу, от всего сердца, как родного сына, обнять тебя. Я нынче ведь тоже был на митинге. Прискакал в тот самый момент, когда ты речь держал перед восставшим народом. Слушал я тебя, слушал и сказал себе: вот оно, поп! Искра брошена. Не спать, не есть, не звать усталости, не складывать оружия до тех пор, пока не сломим власть царя, генералов и банкиров. Отныне для меня нету пути назад! — торжественно произнес он.

И, раскинув огромные свои руки, поп Андрей заключил Димитрова в объятия, крепко прижал к груди и с жаром поцеловал в лоб. Потом сгреб со стола свою камилавку.

— Не поминай лихом, сынок, коли что! — воскликнул он, повернулся и выскочил вон из комнаты так же стремительно, как ворвался в нее.

Что за необычный поезд вышел из Бойчиновцев и плывет по желтому кукурузному морю к Мырчеву? Впереди, мерно постукивая, катится открытая платформа. На ней установлена запыленная горная

пушка, чье дуло, точно огромное темное око, оглядывает даль. Около орудия — два пулемета. Паровоз, пыхтя, сердито и нетерпеливо толкает платформу вперед и тащит за собой товарный вагон, битком набитый вооруженными людьми. Состав везет повстанческий отряд попа Андрея и Кирилла Митева. Эти люди, обросшие бородами, с обветренными лицами, кто в кепках, кто в папах, с готовыми к бою винтовками на коленях, эти люди — бойцы-повстанцы. Они едут на штурм Ломской казармы. Весь день вели они неравный бой с многочисленным неприятелем, засевшим в Бойчиновцах. Отчаянно бились до тех пор, пока наконец не принудили солдат Шуменского батальона скинуть рубашки да поднять их вверх вместо белого флага. Что за молодец Христо Михайлов! Все знали, что он настоящий коммунист, но никто не подозревал в нем заправского артиллериста. Как наставил он эту берковицкую пушку, да как начал палить — любодорого! Солдаты поливали повстанцев огнем четырех пушек и восьми пулеметов, но Христо с такой точностью посылал снаряды по всем огневым точкам, что вскоре заставил их замолчать. Отовсюду то и дело слышались одобрительные возгласы:

— Так их, Христо!

— Крепче бей, товарищ Михайлов!

— Долго не продержатся!

Окрыленные, под несмолкающее ура, понеслись цепи повстанцев в атаку. Впереди, в самых первых рядах атакующих, развевалась ряса медковского попа. Ветер трепал его длинную бороду, глаза попа Андрея метали молнии. Грозно сверкала сабля, которой он размахивал высоко над головой, увлекая за собой

всех криком «ура-а-а!», вылетавшим из охрипшей глотки.

Шуменский батальон сдался, но его командир успел улизнуть. Удрал, словно заяц, исчез в кукурузе. Три орудия, четыре пулемета и свыше трехсот винтовок перешли в руки революционеров.

И вот теперь поп Андрей, усталый, еще опаленный жарким вихрем боя, сидит на открытой платформе, свесив ноги. Едет на север.

Ему придали двадцать человек из славной Лопушанской дружины. Ничего, что так мало. С такими людьми и в огонь не страшно броситься. Бойцы Георгия Димитрова — настоящие львы.

Поезд долго пытел, пробираясь через поля пожелтевшей, необранной кукурузы, и наконец остановился в Долно Церовене. Из аппаратной выскочил дежурный с красной повязкой на рукаве. Поп встал.

— Куда следуете, товарищи? — спросил дежурный.

— На свадьбу в Лом, — процедил поп Андрей сквозь зубы.

— Жизнь надоела, что ли?

— Эт-то почему? — смерил его поп взглядом.

— Потому что Лом пал.

— То-есть как это пал? — вскричал долгополый командир повстанцев.

— Сдали Лом. Сегодня, пока у вас там шла перестрелка под Бойчиновцами, со стороны Дуная тоже загрохотали пушки. В ломском порту высадились артиллерия из Видина. Правительственные войска вынудили восставших оставить город. Оттуда вернулись наши церовенские коммунисты. Страшные вещи рас-

сказывают. Ломские палачи неистовствуют. Чинят расправу на месте, без суда и следствия. На улицах Лома, в Моминброде и Дылгошевцах рвутся снаряды. Целые кварталы в огне.

— А повстанцы где же? — заорал поп Андрей.

— В кукурузных полях. Попрытались. Что еще оставалось?

Поп Андрей оглянулся — из прицепленного сзади вагона повыскакивали лопушанцы. Стояли и слушали словно в воду опущенные. Где-то далеко в тронутой осенним пеплом равнине раздавались глухие орудийные раскаты. Их грохот проносился над полями и затихал за вершинами Вереницы. Властно и ободряюще прозвучали слова попа.

— Выше голову, товарищи! Лишь только юнаки-повстанцы слышат голос нашей пушки, они подымутся и вновь вернутся в наши ряды. Ну-ка, малый, пропусти наш состав.— И, устремив вперед орлиный взгляд, приказал машинисту: «На кровавых ломских палачей — ходу!»

В лесистом гайдуцком логу у села Брусарцы грозная попадья отца Андрея снова заговорила. На опушке, где когда-то был монастырь, собрались повстанческие командиры. Вихрь боя вновь воспламенил сердца лопушанцев. И когда конники Кабзы ударили по правому флангу врангелевцев и лавиной пронеслись через село Киселево, поп Андрей выхватил из ножен свою саблю, заорал во всю мочь и опять увлек за собой всех пеших бойцов. Завидев обнаженные кавалерийские клинки, наемные бандиты пустились наутек, волоча за собой орудия, пулеметы, и вскоре сгинули в бескрайней Ломской равнине.

Но тут из Бойчиновцев прискакал запыхавшийся нарочный с приказом: попу Андрею немедленно покинуть Брусарский фронт и вернуться с оружием назад, так как со стороны Врацы наступают большие силы противника.

— Еду! — вскричал поп. — А вы, ребята, крепче держитесь, куда я вернусь! До свиданья!

И паровоз помчал платформу опять к Медковцу. Повстанцы долго смотрели вслед удалявшейся пушке, славно потрудившейся для дела революции, — она овладела Берковицей, прогнала неприятеля за Петрохан и заставила смолкнуть царские орудия у Бойчиновцев. Словно высеченный из черного мрамора, прямой, грозный и бесстрашный, стиснув кулаки, стоял на платформе медковский поп. Когда поезд скрылся за поворотом и незабываемая эта картина исчезла из виду, юнаки-лопушанцы впервые за все время понуро опустили головы. Тяжело стало у них на душе. Кто-то уныло проговорил:

— Нету больше с нами бравой попадьи отца Андрея...

В четверг поп Андрей навел свою пушку на Медковец. Последний снаряд он послал по медковским мироедам и душегубам. Прежде чем бросить оружие, он наклонился к нему и, сняв камилавку, поцеловал его умолкшее жерло. Молчаливый и печальный, зашагал он Габровницким оврагом к своему селу. А в пятницу вечером враги схватили его неподалеку от Медковца, когда он перелезал через ограду сельской мельницы. Связали ему могучие руки и велели:

— Иди!

В воскресенье 30 сентября 1923 года глашатай мед-

ковской общинной управы обошел с барабаном село и огласил приказ военного коменданта: всем жителям явиться на станцию, где будет повешен поп-бунтовщик.

Понуро потянулись по улицам мужчины и женщины, старики и дети.

С болью в сердце, с печалью в глазах шли они проститься с человеком, который первым встал под знамя великого народного восстания и последним покинул неравный бой. И они увидели его — привязанного к фонарному столбу перед самой станцией. Палач с ног до головы опутал его веревкой, накрепко притянув к столбу. Ноги отца Андрея висели в воздухе. Ступни не доставали до земли. Только кончики пальцев едва касались горячей от солнца дорожной пыли.

С всклокоченной бородой и спутанными волосами, гордо подняв голову, устремив взгляд вдаль, этот мученик и народный герой, стиснув зубы, мужественно переносил глумления, издевки и удары, которыми осыпали его палачи. Те, кто еще вчера дрожали при одном его имени и в панике прятались куда попало, заслышав грохот его пушки, теперь хлестали его ветвями терновника, приподнимаясь на цыпочки, чтоб дотянуться до лица, осыпали его площадной бранью, били кольями, выдернутыми из плетней. А он молчал. И грозным было это молчание. Алая струйка крови сбегала от носа к губам.

Матери крепче прижимали детей к груди. С побелевшими губами, с дрожью в коленях, подходили к месту казни слабые духом, а люди сильные старались встретиться с мужественным взглядом приговоренного.

На площади у станции палачи установили виселицу для попа Андрея. Приволокли стол и табурет, поставили у одного из телеграфных столбов, высоко на столбе укрепили веревку, сделали петлю. Отвязали от фонаря свою жертву. Ноги у попа Андрея затекли, и он повалился на землю, но тут же встал и твердыми шагами направился к виселице. Руки его были скручены за спиной. Прохладный сентябрьский ветерок метнулся ему навстречу, ласково коснулся лба, нежно шевельнул растрепанные волосы.

Это была последняя ласка в его жизни. Его поставили на стол, развязали руки. Поп обвел прощальным взглядом далекие поля, сады Медковца, тысячную толпу народа. Женщины поднесли к глазам фартики, слышались всхлипывания.

Какой-то фельдфебель с толстой шеей и широкими нашивками на погонах стал у стола, широко расставив ноги, и крикнул:

— Говори, поп!

— Что говорить? — глухо спросил поп Андрей.

— Кто были те, что шли за тобой?

— Со мной был весь народ! — громко воскликнул повстанец, и глаза у него сверкнули.

— Назови имена, тебя ждет виселица!

— Сегодня вы меня повесите, но завтра повесят вас! Приберегите веревку для себя, убийцы!

— Молчать! — взревел один из царских офицеров, замахнулся саблей, изо всех сил ударил попа Андрея и крикнул палачу: — Чего ждешь? Накидывай петлю!

— Становись на табурет, поп! — невнятно пробормотал палач. Руки у него дрожали.

Поп Андрей ступил на табурет. Палач взялся за петлю, и руки его задрожали еще сильнее.

— Меня вешаешь, а сам дрожишь! — проговорил поп Андрей, выхватил петлю из его рук и надел ее себе на шею. Сам оттолкнул табурет и повис. Изверги схватили нижний конец веревки и натянули ее.

Женщины и дети испустили душераздирающий крик. Чей-то громкий голос взлетел над толпой:

— Настоящий апостол! Левский!

— Кто посмел? — заорал сиплым голосом тот самый офицер, который ударил саблей попа Андрея.

Он обвел взглядом многолюдную толпу, но встретил такую обжигающую ненависть, что мурашки поползли у него по спине.

Налетел ветер, поднял густую пыль. Зашелестели сухие листья кукурузы.



ГОСТЬ

Командующий фронтом обернулся к вошедшему в его рабочий кабинет полковнику и сказал:

— Товарищ полковник, я вызвал вас вот по какому делу: завтра в одиннадцать утра состоится торжественное открытие памятника, сооруженного болгарями в честь наших бойцов, павших за свободу Болгарии. Поручаю вам от имени Красной Армии передать болгарам горячий привет и сердечную благодарность. Ваш самолет вылетает из Констанцы в восемь тридцать. В десять тридцать вы приземлитесь на аэродроме небольшого городка у границы Болгарии, откуда советские войска начали свое наступление против немецко-фашистских армий, оккупировавших болгарскую землю.

— Есть, товарищ маршал! — Полковник Петр Михайлов вытянулся и взял под козырек. Он выслушал приказание, и глаза его засияли. Сердце радостно заколотилось. Голос звучал взволнованно.

Командующий встал.

— Счастливого пути, Петр Михайлович! Вам предстоит вновь ступить на родную землю. Рад за вас.

— Благодарю, Федор Иванович, от всего сердца благодарю. Вы заботитесь о нас, как родной отец.

И, пожав маршалу руку — руку, которая двигала на запад войска всего южного фронта, полковник снова откозырял, повернулся и быстрым шагом вышел из кабинета.

Под крылом стремительно летящего самолета проплывает ровная добруджанская земля. Она похожа на старое одеяло, сшитое из маленьких квадратных лоскутков. Там и сям поднимают серебристую пыль запоздавшие молотилки. Золотятся высокие холмы соломы. В сухих ложбинах приютились села. По белым дорогам мчатся грузовики. Вдоль реки растянулась длинная артиллерийская колонна. Где-то здесь проходит граница между румынской и болгарской землей. Все болгары из северных сел переселились на юг. С болью покидали они веками обжитые гнезда. В Черне один румын рассказывал ему, что женщины, прежде чем навсегда оставить родные места, тщательно подмели дворы, прибрали в домах, побелили стены, до блеска протерли паклей оконные стекла, испекли белые хлебы, положили на стол, в каждый хлеб воткнули по свечке, поцеловали распахнутые настежь двери и только тогда двинулись в путь-дорогу. Огороды и виноградники внизу походили на маленькие синие озера. Какие румяные персики зреют среди виноградных лоз! Похожи на крымские. Самолет снизился и на бреющем полете устремился вдоль великой славянской реки, в которой плещутся тени темных ивовых рощ.

Стаей птиц белеют маленькие избушки, примостившиеся на высоком сыпучем берегу. Сердце полковника дрогнуло. «Наши», — прошептал он. Летчик повел самолет против течения реки. Пассажир жадно вглядывался в каждый уголок земли. Вот подсолнухи. Здесь земля родит такие подсолнухи — головки со стол величиной. У айвы ветви под тяжестью плодов согнулись, наверно, до самой земли. Мерно, как веретено, жужжит мотор самолета. Далеко ли до Козлодуйского берега, где Ботев вместе со всей своей четой опустился на колени, чтоб поцеловать родную землю? Как хотелось полковнику Михайлову по примеру легендарного воеводы пасть на колени и прильнуть к этой милой сердцу земле! Двадцать один год прошел с того дня, как он расстался с ней. Был он в ту пору словно молодое деревце, вырванное из родимого леса. Буйные кудри его были тогда черны, а сейчас густо тронуты сединой. Как это говаривал мельник, дед Нейко? Ах, да! «Мельница муку мелет, годы голову белят». Он ушел из села в драных сандалиях на босу ногу, в гимназической куртке, перешитой из отцовской солдатской шинели. Вот удивится-то мать, когда он предстанет перед ней в этих высоких, до блеска начищенных сапогах, с золотыми погонами на плечах и пятиконечной звездой на фуражке... Совсем, должно быть, старенькая стала, бедняжка. Поет ли она еще по-прежнему вечерами, когда садится с прялкой у очага? Пела она всегда тихонечко, словно комарик пищит. Вот пирамиды тростника, похожие на негритянские хижины. В придунайских селах из сахарного тростника варят черную, как деготь, патоку. А сколько арбузов уродилось! Нет, это не арбузы, это, наверно, белые тыквы.

Восстание охватило села, словно пожар, запылавший в сухом лесу. Дело было осенью — как раз готовились кукурузу ломать. Вечерело. Мать вышла из кладовки, она просеивала там муку, и волосы у нее были совсем белые.

— Ну-ка, Пешо,— сказала она,— ступай-ка, сынок, перевези арбузы с бахчи. Я нынче утром приволокла на себе мешок, так чуть не надорвалась. Тяжеленные, не унесешь. Их там видимо-невидимо, что арбузов, что дынь. А уж спелые — потрескались все. Боюсь, птицы склюют. Снимай все подряд да вези домой. Чего добру пропадать? А я пока ощипаю цыпленочка да чорбу сварю. Покуда вернешься — как раз и поспеет. Хлеб я уже замесила. Только смотри, особенно-то не возись, надо бы нынче пораньше лечь, завтра с утра за кукурузу примемся. Покуда всех дел не переделаем, я тебя в школу не пущу. Отец наш совсем запропал в своей каменоломне, об доме и думать забыл. Завтра, как поедem на Заячью гряду, завезем ему пяточек арбузов. Он тоже небось умаялся целое лето камни таскать, да что поделаешь? Весь заработок для тебя откладывает. Ученым человеком хочет сделать. А по мне сидел бы ты дома. Да разве вас, мужиков, переспоришь? Уж коли вы что задумаете, землю носом рыть будете, а на своем поставите. Ох, сынок, плохие я вести слышала. Ты, смотри, не пускай волов в Татарский лес. Жена лесника нынче сказывала, что там кишмя кишит людьми и все при оружии. И что бы им там делать, чего задумали? Берегись, сынок! Ты ведь у меня единственный. Отцепил бы ты с куртки эту

звездочку. И так под подозрением ходишь. Не видишь разве, как кмет на тебя косится, разрази его гром! Ступай, сынок. А как накидаешь в телегу арбузов — так сразу назад. Пожалуй, волов-то и не распрягай. Да не забудь нарвать кислого винограду для чорбы.

Пешо приладил к телеге высокие грядки, запряг волов и поехал. Оси телеги скрипели. Он забыл смазать их дегтем. Дорога тогда была желтая, сплошь усыпанная соломой после недавней молотьбы. Над невспаханным жнивьем, над желтыми полями проса тучей носились голуби. Он вспомнил тихий шепот кукурузы, вечернюю песнь кузнечиков и огненные шары подсолнухов, жадно впитывавших в себя последние лучи солнца, прежде чем поникнуть и заснуть. Бахча была со всех сторон окружена сахарным тростником. Обсыпанные белой пылью арбузы напоминали русые девичьи головки. Будто улеглись рядком и уснули на грядке. От Татарского леса тянуло прохладой. Пешо распряг волов. Сорвал первый попавшийся арбуз, вынул свой маленький ножик (он до сих пор его помнит: с черной костяной ручкой), срезал верхушку и принялся счищать корку, как счищают кожуру с яблока. Арбуз оказался спелым. Но не успел он поднести ко рту первый кусок, как неожиданно-негаданно из лесу выскочили трое каких-то людей и направили на него дула своих ружей.

— Руки вверх! — раздался громкий мужской голос. Пешо выронил арбуз и поднял руки.

— Ты кто такой? — спросил тот же голос.

— Я это я, а вот вы кто такие будете? — повернулся к ним лицом Петко.

— Да это, никак, ты, Пешо? Что ты тут дела-

ешь? — вдруг узнал его один из троих. — Товарищи, это мой одноклассник Петр Михайлов, комсомольский секретарь гимназии. Ты-то нам как раз и нужен. Что же это вы? Где ваш секретарь партийной организации? Мы ищем его повсюду. С самого утра послали за ним одного из наших, а он словно сквозь землю провалился. Целый день пытаемся установить связь. А ты — арбузы лопаешь. Началась революция, болгарский народ поднялся на борьбу, красное знамя реет над городами и селами, а вы по бахчам шляетесь.

— Ждем приказа. Наши люди готовы. Секретарь поехал в город — разузнать, что там, и еще не вернулся.

— Тогда ты поможешь нам сделать то, ради чего мы сюда пришли. Это, что ли, Татарский лес?

— Он самый.

— Здесь где-то спрятано оружие. Народным дружинам оно позарез нужно. Палками врага не одолеть. Где винтовки?

— Это вы насчет тех винтовок, которые кмет утаил от Международной контрольной комиссии?

— Вот именно.

— Так это и я знаю. Бай Васил, наш секретарь, весной водил меня в лес, показал то место и сказал: «Надо и тебе, Пешо, знать, где мы их припрятали, а то вдруг разразится революция, а меня в селе нет».

— Где же они?

— В одном укромном местечке, «Медвежья берлога» называется. Раньше они были еще где-то, но наши партийцы перепрятали. Теперь в пещере лежат. Восемьдесят три штуки — совсем новехонькие!

— А патроны?
— Нету.
— Экая досада! Пошли, браток, с нами!
— А телега? А волю как же?
— Подождут здесь, пока мы революцию закончим.
И арбузы тоже потом есть будем.

Тут Пешо понял: началось! Началось нечто великое и страшное. За плечами у него словно выросли крылья. Как ненужную обветшалую одежку страхнул он с себя весь груз мелких деревенских забот о кукурузе, скотине, арбузах и смело шагнул в пламя борьбы, навстречу свету нового дня.

Ночью винтовки перетасили к большаку, погрузили на две подводы. Никогда не забыть ему той минуты, когда пальцы сжали новенький карабин и кровь закипела в жилах. Это было 23 сентября 1923 года. Самый великий день в его жизни. Повстанческая дружина быстро росла. Походной колонной двинулись к городу. Шли крестьяне — безусые юнцы, взрослые мужчины и седобородые старцы. Они шли, вооруженные винтовками без патронов, топорами, пастушьими посохами, но глаза их горели невиданной отвагой. А Мишка из села Соколино размахивал начиненным порохом заржавленным черногорским револьвером. Красные и желтые стяги развевались над дружиной. Где же это присоединились к ним тогда товарищи из Соколина? У монастыря? Нет, не там. Соколинцы влились в дружину на поляне у векового дуба. Вел их тот самый хромой учитель, который потом, во время штурма казармы, всех увлек за собой. Он выбежал вперед и, размахивая своей палкой, громко крикнул: «За мной, товарищи!» — и бросился в атаку. Пуля сразила его на

ступенях лестницы. Он упал, широко раскинув руки, но палки своей не выпустил. 24 сентября прибыли вожди восстания. Он навсегда запомнил пламенный взгляд Георгия Димитрова. Рядом с ним — Васил Коларов. Запомнил и высоченную фигуру, и всклокоченную бороду медковского попа Андрея. Поп ходил в своей развевающейся рясе среди повстанцев и здоровался со всеми подряд за руку. А какого-то знакомого паренька сгреб в объятия и поцеловал в лоб. «А ты что тут делаешь, отче?» — спросил его паренек. — «За пушкой, за вашей пушкой приехал, Кирчо!» — ответил поп и торопливо зашагал к штабу. Потом дошел слух, что попа Андрея повесили на телеграфном столбе. Медковские чорбаджии, скрутив толщенной веревкой его могучее тело, привязали его к столбу так, чтобы ноги не доставали до земли. И прежде чем повесить, рвали его бороду, ветвями терновника хлестали по лицу, били кулаками, но бесстрашный поп встретил смерть, не дрогнув... А где же был последний бой? На Криводольских полях. Ранним утром революционные дружины вихрем налетели на врага и вышибли его с расположенных на холмах позиций. Оттуда им были видны прибывавшие на станцию поезда, из которых высаживались правительственные войска. После полудня в тылу у восставших показались всадники с саблями наголо. Пешо залег за каменную глыбу и стрелял, куда не кончились патроны. Тогда началось отступление. Изрешеченное пулями красное знамя с вышитым на нем серпом и молотом заколыхалось и поплыло к границе. Повстанцы отступили в буковые заросли, через несколько суток ночью переправились через границу. Сандалии у Пешо

прохудились, размокли от росы, покрывавшей долину, которой они проходили чуть свет. Небо затянуло тучами. Над родной землею шел дождь. Дождевые капли, точно слезы, стекали с листьев груши, под которой они с Мишкой укрылись. «Слезы по тем, кто пал в борьбе», — подумалось ему. Комок подступил к горлу. Огонь сражений опалил его крылья, но омытая дождем звезда дочка по-прежнему сверкала у самого сердца. Горько ему было покидать друзей — и тех, кто сложили головы в бою, и тех, кто томится в тюрьмах; горько покидать родное село и ту девушку с русой головкой, которая никогда уж больше не коснется робкой и нежной рукой его рубахи, там, где бьется сердце; горько расставаться с матерью, которой никогда теперь не выплакать слез. Печаль омрачила его душу и оставила его лишь через много дней, когда ступил он на великую Советскую землю. Как замороженный любовался он светом московских огней. В первые же дни после приезда привели его в огромный зал на какое-то собрание. На трибуну поднялся высокий сухощавый человек, с щеткой жестких волос — точь-в-точь такой, каким он знал его по портретам, — Максим Горький. Слова великого писателя, словно электрический ток, пронизали его сердце. Никогда не забыть его голос... В те годы Марусенька была очень похожа на ту русоголовую девушку, что ласково прикладывала руку к его рубашке — там, где бьется сердце. Маруся была смелой девушкой. Вечерами пропадала в одном из московских аэроклубов — училась на летчицу. Прыгала с парашютом с огромной высоты. Она родила ему двух мальчишек и девочку. Какими орлами выросли его сыновья! Сейчас они преследуют врага по пятам,

форсируют широкие реки Польши и будут ждать отца в Берлине. Возмужали, наверно, выросли. Старший назван Михаилом в честь деда, каменотеса. Брови у него густые, вразлет, а глаза синие. Как у матери. Прежде он летал в эскадрилье Дмитрия Глинки, того самого Глинки, который придумал «Кубанскую этажерку». Участвовал в тех крупных воздушных боях, в ходе которых немцы потеряли огромное количество самолетов и навсегда очистили воздушное пространство над Кубанью. Михаил получил уже золотую звезду. А младший — ох, и боевой же парень! — у Тимофея сейчас, с которым вместе когда-то в академии учились. Далеко пошел Тимофей. Двигает теперь свои дивизии к столице Чехословакии. Как быстро выросли его однокашники! Великая эпоха подняла их на своих сильных плечах. Они командуют миллионами людей, которые уже вышвырнули германца со своей земли. А ему самому — снилось ли ему когда-нибудь, что он станет полковником самой могучей армии мира?..

Интересно, засохла ли та лоза у них перед домом? По вечерам отец любил посидеть под ней на табурете, посасывая сигарку...

Самолет пошел на посадку.

* * *

— Поехали, бабушка! — Марко Маслинка остановил свою лошаденку как раз у тополя, что растет во дворе бабушки Гены. — Становись вот сюда. Дай-ка руку, подсоблю! Да не эту, другую!

— Смотри, Марко, как бы лошадь не дернула — а то еще убьешь ненароком. Я тебя тогда...

— Не бойся. Лезь наверх.

Бабушка Гена поставила правую ногу на ступицу и, покуда Марко втаскивал ее в телегу, беспомощно размахивала левой рукой.

— Видала? Вот и втащил. Ну, садись теперь рядом со мной на сено. Вчера кмет говорит: «Отвези бабушку, пускай посмотрит на памятник. К самому памятнику доставь, а денег с нее ничего не бери. Она вдова бай Михала, а он за народное дело пострадал». А я ему и говорю: «Какой разговор? Кого же тогда везти, если не ее?» Ох, и выбелила же ты, бабушка, свою хату! Должно, гостя ждешь?

— Побелить побелили, да только не я. Тодорка, вишь, надумала. Пускай, говорит, чистенькая стоит, а ну, как брат постучится в ворота? Ох, Марко, неужто доведется мне дожить, увидеть моего сыночка? Все глаза по нем выплакала, вся душенька истосковалась. Ну, поехали!

Маслинка тронул лошаденку, и телега, погромыхая, покатила по пыльной деревенской дороге.

— Сколько же лет прошло с тех пор, как Пешо ушел из села? — спросил возница.

— Да вот считай: двадцать один стукнуло. В последний класс гимназии перешел. Так и стоит у меня перед глазами, родимый. Так и вижу его с красной звездочкой на груди. Сколько раз говорила ему: сыми ты ее, жизни из-за нее решишься. А он только смеется и по плечу меня гладит: «Ты обо мне не беспокойся, мама...» Так все и говорил. Не помню, сказывала я тебе, как мы с ним расстались, иль нет? Было это как раз в ту осень, когда наши восстание подняли. Послала я Пешо на бахчу, за арбузами, зарезала цыпленка,

поставила в чугушке варить. Ну, жду, вот-вот хлопнут ворота, заскрипит телега, выглядываю в окошко, а его все нет и нет. Тодорка так прямо на коленях у меня и уснула. Пропели первые петухи, вторые, а Пешо все не едет. О, господи, думаю, что ж это с моим дитем произошло? Уложила Тодорку в постель, накинула платок и пошла на бахчу искать. Покуда дошла, уж и светать начало. Подошла к бахче, нашла волов — пасутся, жуют пырей, а Пешо — и след простыл. Принялась я его звать. Кричала, кричала, покуда не охрипла — нету моего Пешо, да и только. Куда он мог подеваться? А Пешо-то наш, оказывается, с повстанцами ушел, да только я-то этого не знала. Запрягла я волов, пригнала телегу домой. Пошла прямо в общину, к кмету. У нас тогда в кметах ходил тот самый, которого после Кровопийцей народ окрестил... Рассказала ему: так, мол, и так. А он как заорет:

— Улетела, значит, птичка? Ну ничего, поймаем, подрежем крылышки! Так, Гена, и знай. А муженек твой куда запропал? Может, и он в Татарский лес подался?

— Муж мой в каменоломне, — отвечаю. — А ты почему спрашиваешь? Не знаешь, что ли, где он? Господи, кому же пожаловаться? Кому горе выплакать?

Пришлось мне одной кукурузу ломать. Тодорку замкнула в доме, безо всякого присмотра. А как вернулась вечером, соседи рассказывают, видели моего Михала, руки назад скручены, двое жандармов гонят. Он, горемычный, пеши, а они — верхами, и винтовки прямо в спину ему наставили. Господи, думаю, да по ком же мне вперед плакать? По мужу или по сыну? И только тогда чуть полегчало на сердце, когда как-то ночью

постучался в мое окошко какой-то незнакомый человек. «Велели мне, говорит, тетка Гена, передать тебе, что Пешо твой перешел через границу, что живой он и невредимый. Не убивайся по нем». Кто был тот человек и кто его послал, — так я и не разобрала. Михал мой вернулся через три месяца. Оправдать его суд оправдал, да только искалечили его звери лютые. Легкое ему повредили. Живи как хошь. Все грудью маялся. Как закашляется — сплюнет в ладонь, и от меня прячет. Думал, сердешный, не знаю я, что с ним. О каменоломне и думать уж было нечего. Вскоре слег он и на другую осень угас. Осиротели мы с Тодоркой, одни остались.

— А Петр не давал разве о себе знать из России?

— Всего три письма пришло от него за все эти двадцать лет. И каждый раз чья-то рука тайком постучится в окошко, сунет письмо и исчезнет. В первом письме Пешо писал, что закончил курс учения и вышел в красные командиры. Во втором отписал, что жена родила ему второго сына, а старший наречен в честь деда и очень на него похож. В третье письмо вложил немного денег и сообщал, что скоро свидимся. Письма эти мы с Тодоркой уж так-то прятали, так дрожали, как бы об них кто не проведал. Эх, Марко, знал бы ты, каково у меня на сердце. Жив ли сынок мой или погиб в бою? Много народу загубил немец. В России, говорят, все как есть города и села пожгли, а сколько народу положили — и не счесть. Теперь зато пришел их черед. В прошлый месяц, как услыхала я — пушки на границе палят, — так от радости и задрожала. Стекло в окошке звенит. С того дня каждый день слушаю, а только ничего больше не слышать. А ты как, не слыхал?

— Нет. Погнали их братушки здоровенным дрючком. А пушки, что ты слыхала, «катюши» называются. Страшное дело, бабушка Гена. Земля от них ходуном ходит. Повышибали-то волку клыки, бежит теперь, хвост поджал, не знает, в какую дыру спрятаться. А наши в городе взялись и поставили памятник в честь красных бойцов, что на границе погибли. Большущий памятник, бабушка! Вот там и увидишь, какие они из себя — русские бойцы. Дивлюсь я, как это до сих пор ни один из них через наше село не прошел. Н-но, кляча,— прикрикнул он на лошаденку.— Спишь на ходу! Слышь, самолет жужжит! Теперь-то нам ни к чему останавливать телегу да по кустам прятаться. Эти стальные птицы — свои, советские, для нас с тобой не опасные. Пускай немцы от них прячутся.

Самолет с грохотом пронесся над ними. Марко выпрямился в телеге и приветственно замахал шапкой. Бабушка Гена вздрогнула и поглядела вслед мощной птице, на крыльях которой сияли красные звезды.

— Такие же в точности, как у Пешо,— проговорила старушка, толкая локтем возницу, который не мог оторвать от самолета глаз.

— Ты про что?

— Про звездочки. Погоняй, Марко, не ровен час запоздаем! Да ты чего остановился?

На большой площади у памятника народу собралось — не счесть. Марко распряг лошаденку на старом постоялом дворе, где всегда останавливались приезжие крестьяне, помог бабушке Гене слезть с телеги, отряхнул солому с суконных своих штанов, вытащил из кармана круглое зеркальце, погляделся, пригладил

вихры, будто люди собрались на него смотреть, а не на памятник, и сказал:

— Теперь все! Пошли, бабушка.

Они поспешно присоединились к толпе и оказались как раз позади группы партизан, спустившихся из лесов Врышки. Бабушка Гена привстала на цыпочки, но ей все равно ничего не было видно. Марко оглянулся по сторонам, заметил неподалеку у ограды большущий камень, приволок и встал на него.

— Все как есть видать! — произнес он, очень довольный собой. — И солдата из белого камня, и венки, и знамена, и болгарских бойцов. Ага, вот и братушки! Ох и молодцы же парни! И у всех до одного звездочки на пилотках.

— А еще что видишь? — нетерпеливо спросила бабушка Гена.

— А еще вижу у самого памятника каких-то незнакомых людей. Не иначе, министры. Наши, народные министры, из Софии. И с ними не то генерал, не то полковник — с золотыми погонами. Сдается мне, советский генерал, ну да посмотрим. А вон тот, что сейчас руку поднял — тише, мол, говорить хочет, — это председатель городского комитета Отечественного фронта. Мой знакомый. Видала бы ты, бабушка, какой тощий — кожа да кости. Чуть не всю жизнь по тюрьмам сидел. Тебе слышно чего-нибудь, бабушка Гена?

— Ничего не слышу, — ответила старушка, напрягая слух.

— Далековато мы стоим, но все же слышно. Говорит, что открывает памятник, воздвигнутый в честь сыновей народа-освободителя, который во второй

— раз снимает с нас окovy. Говорит... да будет, ребята, будет кричать «ура», ничего же не слышно!

Словно порыв степного ветра разорвало тишину площади громовое «ура».

— Слушай дальше, бабушка. Кончил он. Дает слово советскому — то ли генерал он, то ли полковник. Сам маршал Толбухин его прислал на наше торжество. Глянь, подошел к солдатам, здоровается. Остановился перед советскими бойцами. Слышишь, как братушки отвечают на его приветствие? Теперь к нашим подошел... А сейчас сюда идет!

— Слезь-ка, дай мне на него глянуть с твоего места! — взмолилась бабушка Гена, дергая его за рукав.

Марко нехотя сошел с камня — что делать, не мог же он отказать бабушке Гене. Старушка поднялась на камень и впиалась глазами в рослого мужчину, который быстрым шагом приблизился к шеренге партизан и остановился как раз против нее. Он обвел взглядом ряды парней в кепках, в тяжелых подкованных башмаках, с автоматами на груди. Потом оглядел стоявшую за ними толпу. И тут глаза его встретились с ее глазами. Бабушка Гена обомлела. Сердце ее замерло. Ноги подкосились.

— Сынок! — беззвучно прошептали губы.

Полковник узнал ее сразу и безошибочно — так ягненок, отлученный от матери, инстинктивно узнает ее среди целой отары. Узнал по тому, как сжалось у него сердце; узнал по ее глубоко ввалившимся глазам. Самым дорогим глазам на свете. Но вместо того, чтобы кинуться к ней сквозь ряды партизан и заключить в свои объятия, он выпрямился, взял под козырек и громко крикнул:

— Здравствуйте, товарищи партизаны, мужественные сыны свободного болгарского народа!

Голос его зазвенел в ушах старой женщины. Голова у нее закружилась.

Дружно ответили партизаны.

— Он! — вскрикнула бабушка Гена, обернувшись к Марко.

— Кто?

— Пешо. Сын...

— Дай посмотреть на него! — Марко подпрыгнул, но советский полковник уже прошел дальше...

А потом все завертелось, словно в каком-то сне. Полковник Петр Михайлов и его старенькая сухонькая мать, в полинявшем платке и шерстяном сарафане с прилипшими соломинками из телеги Марко, сели в сверкающий на солнце большой автомобиль. Словно корабль, плыл он по желтому морю кукурузы, увозя дорогого гостя к родному дому. Рука полковника гладила голову старушки, а глаза глядели и не могли наглядеться на сады, бахчи и деревья родного края.

— Мама, вон груша над Нойковой мельницей. А куда же девалась сама мельница?

— А ты разве не знаешь? Наводнением ее снесло. Ты ушел осенью, а на другую весну у нас наводнение приключилось. Некому было помочь мне отогнать овец на Верхний край. До одной утопли, все оттого, что тебя не было. Наказывала я тебе, чтоб поскорей возвращался, да только ты не послушался.

— Немножко задержался я, мама, но все-таки, видишь, вернулся.

— Немножко... Двадцать один год ждала тебя.

— Чорба-то поди остыла..

— А ты помнишь? До чего славным мальчонкой был, родимый ты мой. Теперь совсем взрослый стал, а все такой же. Я только глянула на тебя — и сразу узнала. Только звездочку носишь на другом месте.

— А как Тодорка?

— Нипочем ее не узнаешь. Ведь она тогда еще по полу ползала. А теперь замужем — за сыном кузнеца Пеню. Муж ее с нашими частями ушел. Разве удержишь? Такой же, как ты. Ребеночек у них. Единственная наша отрада.

Завидев брата, Тодорка так и ахнула. Слезы градом покатились по ее загорелым щекам. Малыш на четвереньках подполз к гостю. Ухватился ручонками за его сапог, засопел, встал на ноги и, задрав вверх головку, уставился на него.

Полковник схватил его на руки, поднял, прижал к груди.

— Родной ты мой! Ну вылитый мой Мишо, когда был маленьким.

Все село сбежалось поглядеть на своего прославленного земляка. Пришли его сверстники, товарищи по партии. Тяжкий труд и годы борьбы состарили их. Всех до одного. С тех пор, как стоит на земле село Глухаре, не запомнит оно такого радостного дня. Когда поздней ночью гости разошлись, Петр Михайлов вынес из дому табурет, уселся на крылечке, закурил и загляделся на маленький садик за лозой, где мелькали светлячки.

— Ну точь-в-точь как отец, — сказала бабушка Гена дочери. — И тот, бывало, вечером, как вернется из камсноломни, усядется на табурет и знай сидит покуривает. Постели ему помягче! И наברי кувшин сту-

денной воды. Когда он еще в школу ходил, я всегда ему на ночь кувшин с водой ставила.

На следующий день огромная стальная птица, с красными пятиконечными звездами на крыльях, низко пронеслась над селом Глухаре. Все село высыпало на площадь. Махали шапками, кричали ура. Глухарцы знали, кто летит в самолете. Огромная птица сделала над селом три круга, едва не коснулась верхушки тополя во дворе бабушки Гены и взяла курс на восток. И вскоре исчезла в дымчатом осеннем небе.

ГОЛУБЬ В КОЛОДЦЕ



*До последнего вздоха, товарищ,
он думал о людях:
О тебе, кто трудиться сегодня
пришел на завод,
О жнеце с обожженными солнцем
плечами и грудью —
Был воистину дорог ему трудовой
наш народ.*

Давид Овадия

как начал великий мастер строить большой мост, чтоб связать им два берега, два мира, товарищ мой! На этом берегу — горе людское, на том — счастье. И всем хотелось поскорей на тот берег. Строил мастер мост, строил, достроил до половины, и кончились у него камень, дерево да железо. Кликнул тогда мастер клич, и загудел его голос, как глас трубный, во всех уголках нашей земли:

— Друзья мои, жертвуйте всем, чем можете, — и достроим мост!

Весь народ услышал призыв мастера, поднялся как один. Пастухи погнали стада с гор, пахари выгребли золотое зерно из амбаров, молодичи сняли с себя монисты, девушки принесли свои браслеты. Всякий спешил отдать все, что у него было, чтобы закончить мост.

Но где-то на окраине затерявшегося в горах села, в приземистом домишке, крытом позеленевшими плитами, жила бедная женщина с тремя сыновьями-младцами. Камень сожмут — вода польется. Ходили

они на чужие поля работать, тяжелым трудом добывая свой хлеб. Услышали братья клич мастера, пришли к матери и спросили:

— Скажи, мать, чем мы можем помочь мастеру?

Мать была женщина мудрая и научила их уму-разуму. В тот же день собрались в путь молодцы, пришли на большой мост и предстали перед озабоченным строителем.

— А вы,— спросил он,— что принесли мне, братья, из далеких краев?

— Мы, товарищ Димитров,— ответил старший брат,— ничего тебе не принесли, потому что мы голы и босы, но у нас есть шесть крепких рук. Камень сожжем — вода потечет. Возьми наши руки, товарищ Димитров, достроим большой мост.

— Вы мне принесли самое большое сокровище! — похвалил мастер, и сердце его наполнилось большой радостью.

Митю Голубь замолчал.

— Хорошая сказка,— тихо промолвил мальчик, мечтательно устремив взгляд на утреннюю звезду, мерцавшую над верхушками акаций.

Колодезные мастера — их было двое — сидели на крышке колодца. Лошаденка с лохматой гривой и длинным хвостом, вертевшая колесо и добывавшая воду с тридцатиметровой глубины, дремала стоя. Митю потянулся и расправил плечи.

— В какую рань мы сегодня поднялись,— сказал он.— В колодце-то еще темно, хоть глаз выколи. А разбудил меня баран. Как начал стучать рогами в дверь — сердитый! Просился на поляну. Встал, выпустил и больше не заснул. Теперь давай-ка посмо-

трим, что положила нам в сумку тетя Добринка. А, яичко! Еще одно. До чего хорошая у меня жена. Угождает она мне, заботится о своем муже. Держи яйцо!

Мальчик взял яйцо, аккуратно разбил его о ведро и стал чистить. Голубь достал буханку хлеба, прижал ее к груди, вытащил нож из-за онучи и отрезал два ломтя.

— Горбушку тебе, Райчо, у тебя зубы, как у волчонка, а мне этот ломоть, помягче. Если хочешь, и лук есть.

— Нет! — сказал Райчо и, отрицательно помотав головой, взял хлеб и стал не спеша есть, подставляя ладонь под подбородок, чтобы не уронить на землю ни крошки.

— А по мне так не вкусно, — сказал Голубь и в два приема проглотил яйцо. Ломоть так же быстро исчез в его пасти. Светлые усы его встали дыбом, как иглы у ежа. — Стукни меня кулаком по спине. Сильнее!

— Подавился, что ли? — спросил мальчик и заколотил его по спине. — Мастер, а тебя когда-нибудь били по-настоящему?

— Ой, и не раз. Дед у меня был хромой, и когда я, бывало, чего-нибудь набедокурю, бросал в меня палкой, но никогда не попадал.

— Почему?

— Потому что подслеповат был. А кулак Дончо бил меня воловьей жилой. Очень больно. Ты этого ничего не знаешь, потому что не был батраком. У Дончо на лбу виднелась большая синяя жила. А глаза были вытаращенные, как у жабы, большие и жадные.

— Сколько лет ты у него на хуторе работал?

— Да, почитай, лет восемь пришел в Чардаклию, у меня белый пушок на губе, а колоски как колоски пшеницы. Одно то, что я забыл закрыть овчарку, да и высосали все молоко случиться, живой ведь человек. Дончо был не человек. Связав, повалил наземь и начал стегать, ревел, что после три месяца не выдержит — надрывался, а есть он давал. Хлеб вырывал из рук за ложку возьмусь. «Разинь рот, того и гляди, весь хутор проглотят. Ты и представить себе не можешь. Я его деньги не считал, да золотых у него было. После, как вол. От зари до зари. Вывел с этого осла. Когда начали легу клал. Однажды Мучка, родственником и работал за тяжелый сноп. Я как раз Колья на грядках были остожил, жил я и закинул сноп, но развалился, и кол вонзился, ткнул ладонь насквозь. Мамка Мучка оторвал от моей рубашки, вязал мне рану. Вернулся я в лагерь, увидев меня, взбеленил себе руку поранил, чтобы не шла синяя жила на лбу его. «Убирайся отсюда вон! Чтоб

коза. Что бы пили наши земляки, если бы я ее отсюда не вытащил? Козлятиной, знаешь, как скверно воняет. В прошлом году, правда, прижало меня камнями в Ючорманском колодце, но, видно, суждено мне было еще по белу свету походить.

— Расскажи, как это случилось?

— Как случилось? Колодец там очень глубокий, в два раза глубже этого. Никто не помнит, когда его вырыли. Камни позеленели, сруб выложен из пористого известняка. Сказали нам, что он загрязнен. Ведро черпает только тину. Как посмотришь сверху, дно величиной с монетку кажется и блестит. Посмотрим, в чем там дело, говорю, и как-то утром стал спускаться на дно. Залез в ведро, а брат раскручивает веревку. Посреди колодца ведро раскачалось, и — бух о каменную кладку. Отломился большой камень и с грохотом упал вниз. «Э,— подумал я,— начало неважное. Кладка, значит, рушится, не держится больше». А брат спускает меня все ниже и ниже. Спустился я на дно. Темнотища. Зажег свечу. Измерил шестом глубину — тина по грудь. Начал выгребать черпаком. Наполнил ведро и дернул веревку. Ведро пошло вверх и как раскачалось, как стало бить по камням. Кладка и посыпалась. Камни с грохотом полетели вниз. Я прижался к стене. На меня падал огромный камень, ну прямо скала. «Конец, погиб ты, Голубь!» — мелькнуло у меня в голове, и перед глазами завертелись огненные круги. Но, мальчик мой, не конец это был. Только потом понял я, что произошло. Вначале отломилась часть стены, величиной с дверь. Нижний ее конец воткнулся в тину, а верхний уперся в стену, над моей головой. Вроде шалаш получился каменный. Остальные камни по

этой плите уж барабанили и совсем меня завалили. Когда все утихло, донесся до меня голос брата, еле слышный:

— Митё, братец, ты живой?

— Живой! Живой! — кричал я что было сил.

Тогда брат вскочил на кобылу по кличке Бабка Руса, которая вертела колодезное колесо, и помчался за помощью. Хотя и старенькая была эта Бабка Руса, но быстроногая. Кого же звать на помощь? Равнина большая, конца-краю не видно, и ни души кругом. На мое счастье навстречу брату по Силистренской дороге показался секретарь городского комитета партии на мотоцикле. Остановил его брат и рассказал, что случилось. Митю нашего, говорит, значит, Голубя, завалило в Ючорманском колодце. Секретарь за голову схватился, а потом спрашивает:

— А жив он?

— Жив, жив, отзывается из-под камней.

— Вот бедняга! Возвращайся скорее назад и не подпускай никого к колодцу. Чтобы никто не лазил туда и ведро не трогал, а то остальные камни обрушатся и человека погубят. Ждите помощи!

И повернул мотоцикл к городу. Что он там в городе делал, не знаю. Только на другой день, на рассвете, на поляну у колодца спустилась с неба железная птица, из тех, что гудят в облаках. Из нее вышли семь перникских шахтеров. Мои спасители. Привезли с собой железные тросы, крючки, кирки и фонари.

— А что же ты делал целый день и целую ночь?

— Ждал, мальчик, по пояс в тине, ждал, чтоб пришли спасители, подняли мою надгробную плиту.

Спустились два шахтера, осмотрели обвалившиеся камни и, засучив рукава, начали осторожно вытаскивать камень за камнем. А Бабка Руса вертела колесо, и она, сердечная, помогала. Я услышал их, хоть они работали легко и бесшумно. Сердце радостно забилося. Я снова закричал, как перепел:

— Жив! Жив!

К полудню тяжелыми молотками разбили мое надгробие. Когда я ступил в ведро, у меня подкосились ноги. Мне сделалось дурно, но я быстро пришел в себя. Наверху меня ждала тётка Добринка, растрепанная, обезумевшая от страха: всю ночь она, бедняжка, не сомкнула глаз. И зайчата мои запрыгали вокруг меня, руки мне целуют. Любят меня мои ребяташки.

— А кто послал самолет с шахтерами? — спросил мальчик.

— Лично товарищ Георгий Димитров. Для меня. Настоящий самолет. Крылья огромные. Как посмотришь, аж дух захватывает. Блестит на зеленой поляне, словно из серебра выкован. Тогда я понял, что на нашей земле теперь есть люди, которые думают о рабочем человеке. И дорожат его жизнью. Ты что на меня уставился? Не смотри, что я какой-то колодезник и копаюсь, как крот, под землей.

— Но как же товарищ Георгий Димитров узнал, что ты в колодце?

— Вот так и узнал. Приложил ухо к земле, услышал мой крик о помощи и поднял шахтеров: «Спешите на помощь Митю Голубю! Митю мой друг, рабочий». Теперь тебе понятно? Ну, мне пора спускаться, на дне

уже светло. Вода в этом колодце мутная, а нужно, чтобы она была ясная, как слеза, потому что пьют ее наши кооператоры, которые работают на народной земле и кормят всех отменными караваемы. Иди запрягай лошадку!

Мальчик встал и, задумавшись, зашагал к лошаденке с лохматой гривой.

Воробьи весело чирикали и никак не могли наговориться с молодыми листьями тополя.



ВОЛЧЬЯ ТРОПА

е бойся, человече, иди сюда! — по-
дозвал меня дед Жото, старый ча-
бан из Радуй.

— Убери этого зверя, — ответил я и крепко стиснул дубинку, мою помощницу и защитницу.

— Да он ничего тебе не сделает! Пошли! — Взмахнув пастушьим посохом, старик завернул овец к ореховой рощице, где меж кустов пробивались молодые зеленые побеги. — Проваливайте в лес! Где вас черти носят — шляетесь по голой поляне!

Овцы кинулись в лесок и зашуршали ветвями, а чабан подошел ко мне, протянул руку. Огромный пес, который по-хозяйски разлегся на сухой, согретой солнцем траве и дремал, открыл один глаз, небрежно глянул на меня, успокоенно моргнул и снова закрыл его. Я пожал протянутую руку.

— Добро пожаловать, сынок! Ты что, струхнул? Признаться.

— Боюсь, когда собаки не лают, потому что они кидаются неожиданно.

— Мой Страшила идет открыто навстречу врагу. Он не боится никого на свете и никогда не нападает сзади. Это не пес, а сущий лев. Но сердце у него доброе. Как он любит ягнят и детей! Прямо дрожит над ними. Садись на мой плащ!

— Как живешь, дедушка Жото? Возьми-ка папироску. — Я протянул ему кисет.

— Табаком не балуюсь. Он мне глаза жжет. Говорили мне, что ты собираешь в наших краях разных там букашек и мушек да целебные травы. Зачем ты их собираешь? Уже две недели, как я тебя ищу, расспросить хочу, куда ты пропал. Прежде-то, как жив еще был мой конь, заезжал я в город, там мы с тобой виделись. Много у вас там в стеклянных шкафах всяких букашек, на булавки наколотых. Охота мне поехать да поглядеть змей в банках и разных лесных зверей, да уж неумоготу мне. Износились, сынок, мои ноженьки. Не хотят они больше таскать дедушку Жото. Подай им машину. А я вот никак не решу, из какого государства ее выписать.

— Так у тебя ведь конь был?

— Был. И нет его. От страха помер.

— Как это от страха?

— Да уж давно дело было. Видишь, в каком месте я гнездо себе свил — здесь волчья тропа пролегает, а я поставил тут свою кошару, словно корчмарь на караванном пути. Большая забота у меня с этой волчьей тропой... Да разве ты не помнишь моего коня? Прыгал он что твой усач. С ним птиц можно было на лету ловить. С самой весны до глубокой осени, пока не начнет падать снег, он, бывало, пасется наверху на горных полянах, носится среди белых фиалок. Тех самых, что

цветут только на Любаше. Целые поля белых фиалок. Конь у меня был молодой, буйный. Все глаза косил туда, вниз, где ходят в ярме деревенские тощие кобылки. Поэтому, когда я ездил из кошары в Радуй, у него вырастали крылья. Однажды зимой в наших краях появился волк-одиночка. Не буду тебе рассказывать, сколько бед он натворил: овец зарезал без счету и даже двум волам брюхо вспорол. Это был страшный зверь: другие волки, когда задерут овцу, не могут ее унести, волокут по снегу. А этот — вскинет ее себе на спину, и поминай как звали! Так вот, дело было к вечеру. На дворе холодно. Я отправился в Радуй. Волк подстерегал меня у мосточка через Росинку. Я задумался и не заметил его. Вдруг, когда мы приблизились к мосту, конь мой вздыбился и чуть-чуть не сбросил меня наземь. Я поглядел и что же увидел, как ты думаешь? Впереди два глаза, брат, горящие как угли. По ту сторону моста сидел на корточках громадный зверь, будто примерз, и глядел не на коня, а прямо мне в глаза, потому что чуял, кто его главный враг. Кровь застыла у меня в жилах. А в голове быстро завертелось: если я поверну назад, он меня настигнет в три прыжка, если брошусь вниз по реке — мне из ивняка живым не вылезти. И я решил идти прямо на волка, будь что будет! Конь у меня был послушный. Я крепко стиснул поводья и пришпорил его. Он снова вздыбился. Я только крикнул: «Гей!» — и мой сильный конь навалился прямо на зверя. Я услышал, как хрустнул конский хребет. Это продолжалось всего миг, и я не успел даже заметить, каким образом волк оказался справа, у дуплистого пня вербы. Конь понес. Не знаю, как я удержался в седле. Через село я пролетел словно

угорелый. А когда я добрался до дома и остановился перед конюшней, конь потряхнул головой и обернулся, чтобы посмотреть, не идет ли зверь следом. И лишь когда понял, что его нет, весь поник. Он вспотел, тяжело дышал и дрожал, да так, что вздрагивала грива. Обо мне уж и не спрашивай. После этого конь заболел, как видно, от усталости и страха, а может, его загубило то, что у него хрустнул хребет, кто знает! Так или иначе, пропал мой славный конь, перестал есть и в какие-нибудь три дня сгорел. Я зарыл его в песке подле Росинки. Не хватило у меня духа содрать с него кожу. Пока я его хоронил, пес стоял понурый на берегу и глядел на меня по-человечьи. Были они с конем большие друзья. Очень один другого любил. Эй, Страшила, поверни-ка овец, вишь, они опять залезли в терновник!

Пес поднялся. Ростом он оказался с хорошего осла. Это была овчарка с шерстью, отливавшей медью, и с длинным хвостом, который волочился по траве. На нем был железный ошейник с острыми шипами. Большие умные глаза блестели. Собака побежала к лесочку и вскоре собрала отару.

— Да, что же хотел я тебе еще рассказать? А, вспомнил! Волк не в силах был одолеть один на один дедушку Жото, но спустя две недели он сквозь щель пролез ко мне в овчарню и задрал семь овец. А самую крупную потащил в лес. Дело было на заре. Я его выследил, схватил топор, выскочил наружу, да как начну орать — ты мой голос знаешь, — лес от него задрожал. Все село поднялось, но волк уже перемахнул через Росинку и мчался к горам. Утром встал я,

и все мне немило. Вдруг, откуда ни возьмись, мой пес. Увидев его, я так и закипел.

— Негодяй! — начал я его стыдить, — где шляешься целую ночь! Пока ты гоняешься за сучками, волк передушил моих овец. Он сгубил твоего лучшего дружка — коня, а ты ротозейничаешь! Смотри!

И я показал волчьи следы в снегу. Пес взглянул на меня виновато и обиженно, а потом наклонил голову, обнюхал следы и овечью кровь, открыл пасть, пролаял один раз и кинулся по волчьим следам, через плетни, через речку, вверх по берегу, к горам — и пропал. Не было его три дня и две ночи. «Погиб и мой пес!» — подумал я, и сердце у меня сжалось. Но послушай, как было дело. Обо всем узнал я от горцев с Любаша. Знаешь ты тот крутой утес, где во время оно самая красивая девушка в деревне сказала парням: «Пойду замуж за того из вас, кто сильнее всех и кто, не останавливаясь и не переводя дыхания, донесет меня на руках до вершины!» Схватил ее тот, кто был сильнее всех, и понес ее по кручам Любаша. Легко ли ему было, нет ли, — только он ее донес, но едва достиг самой вершины, где растут белые фиалки, упал в изнеможении и проговорил еле слышным голосом: «Дай мне водицы, умираю!» Поглядела девушка туда, сюда, да где взять воды на горной вершине? А парень отдает богу душу. В отчаянии заломила девица руки и уронила три слезинки. И от них брызнули три ключа. Я к тому тебе это рассказываю, что на этом самом месте, где бьют ключи, мой славный пес настиг волка. Преследовал он его три дня и две ночи. Перво-наперво он отыскал его в ложбинке

под пастушьими шалашами. Только волк собрался пожрать овцу, как наш его застиг. Волк снова вскинул овцу на спину и помчался к Кортенскому лесу. Пастухи заметили его, подняли шум и спустили на него собак. Они видели, что мой пес бежал впереди всех. Когда добрались до леса, волк кинулся туда, а мой Страшила — за ним. Другие-то собаки не осмелились войти в лес. Что случилось там — знает один буковый лес, но на третий день, когда лесничий Христо взобрался на Любаш, чтобы напиться воды из горного ключа, он застал там моего пса. Пес лежал весь в крови, а немного повыше валялся в снегу волк, страшный, с перегрызенным горлом, а подле него овечка со вспоротым брюхом, но еще не обглоданная. Значит, здесь и произошла последняя битва между волком и собакой. По следам лесничий понял, что волк пришел раньше и начал рвать овцу. Пес прибежал позднее, и волк не учуял его, потому что ветер дул в сторону собаки. Пес мой подкрался и бросился на него. И оба огромных зверя, словно заправские борцы, так вот и схватились: бились передними лапами, присев на задние и лязгая зубами. Надо тебе сказать, что когда дерутся волк с собакой, из пастей у них сыплются искры. Вот так оно и случилось, что славный мой пес — он у меня откормленный и сильный — поборол волка и перегрыз ему глотку. Лесничего пес не знал и, когда тот появился, с трудом встал на ноги и поплелся вниз к Радую. Вернулся он только на третий день к вечеру, еле живой от усталости, весь в крови. Ничего не хотел есть. Лег на солому подле овец и не шевельнулся всю ночь и еще целый день. А потом вылакал полную деревянную миску

сыворотки и пришел в себя. Ничего не сказал мне, да я по глазам понял, что он хорошо поработал.

Чабан замолчал и долго глядел на ореховую рощицу, где заливалась во все горло какая-то птаха.

— Да, будь он человеком,— продолжал Жото в раздумье,— он потребовал бы награды за такие заслуги, но он ведь только скромный пес, ничего не просит. Ему надо лишь полхлеба из моей сумки да полголовки брынзы из миски. Страшила, иди сюда, давай есть! Вот погляди, что сейчас будет.

Дедушка Жото, вытащив из сумки каравай, разломил его пополам, затем приподнял крышку миски ножом и разрезал брынзу на две равные части. Брынзу он положил сверху каждого ломтя хлеба.

— Выбирай! — сказал он псу,— чтобы потом не жаловался, что я дал тебе меньше.

Страшила уже смотрел на еду, радостно махая хвостом. Он оглядел порции, выбрал одну из них, поднял правую лапу и подвинул к себе свою долю. Брынзу он тут же проглотил, а хлеб ел медленно, смакуя. Потом облизнулся, даже не взглянул на порцию деда Жото, возвратился на свое место и улегся, обернувшись к ореховой рощице, куда снова скрылись овцы.



ИВАН ЧЕРНЫЙ

*Скрипачи подступают,
Песни новые играют.*

Народная песня

, братец ты мой, решил смастерить Ивану Черному скрипку, каких до сей поры не делывал. Ведь ты небось видел на ярмарках обручальные кольца, литые из бронзы и позолоченные? Такими были мои прежние скрипки. Новая будет из чистого золота! Яворовое дерево я уже приготовил, сейчас оно сохнет. Подожду еще малость, пускай прогреется на солнышке. Мы его с Иваном в Гайдуцком долу срубили. Иван мне сказал: «Я это дерево знаю, много ночей я слушал его голос. Листья его шелестят, как ручей, что пробирается сквозь некошеную траву». Ветер никогда не ломал его ветвей, буря не пригибала его к земле. Древесина его золотом отливает. Деку я сделаю из пиринской пихты, гриф будет из заморского черного дерева, кобылка из дерева груши, что на межах растет, а смычок — из граба. Голос у той скрипки будет волшебный...

Вечер. Опаловые воды Золотой Панеги стали темно-зелеными. Подсолнечники повесили головы. Мельничное колесо остановилось: кто-то закрыл шлюз. В тихой воде послышался плеск рыбок. За ивами

заворковала горлинка. Она горячо призывала своего дружка вернуться в гнездо.

— Нет Ивана нынче вечером, и не придет он. Носится с бригадой по селам. Подковы завтра будет ковать, серпы клепать, топоры точить. Весь день в кузнице машет руками, дубасит железо. Руки у него обожженные, черные. Глаза — как синяя сталь. Тебе бы посмотреть на него! Не могу понять, как можно такой ручищей добывать из скрипки неслыханные звуки. Он великий скрипач! Уже наседает на меня: «Начинай, говорит, делать скрипку, рука моя стосковалась по ней!» В этой корчме он уж бог знает сколько лет играет возчикам, что едут по большой дороге, запоздалым прохожим, лесорубам и цыганам, которые кочуют вокруг панежских сел.

Раз с большой дороги зашли в корчму двое мужчин и девушка. Глаза у этой девушки — миндалины. А хозяин как раз нажарил сковородку панежских окуней. Пригласили мы гостей к нашему столу, выпили. Иван снял свою скрипку вон с того гвоздя, что у печной трубы, — он всегда держал ее там, — и провёл смычком по струнам. У девушки глаза стали что угли! И она запела. Братец ты мой, у меня сердце перевернулось! А когда Иван заиграл рученицу, наши мельники, ворочающие жернова на нижней мельничке, пошли подпрыгивать, как рыбы на песке, до балок подлетали. Пыль поднялась. У печки дремал девяностолетний старик — и тот проснулся, глянул на девушку, ахнул и пустился в пляс. Оттащить его потом от девушки не могли. Надо тебе сказать, что от прежней Ивановой скрипки у людей слезы к глазам подступали. Голос у нее был, как у женщины, когда она

плачет над дорогой могилой. Говорили, будто скрипка эта была «кремонка». Но я сомневаюсь. Потом уж мне сказали, что старинные кремонские мастера вырезали изнутри на скрипке начальные буквы слов Иезус Гоминум Сальватор. Тогда я этого не знал, а то проверил бы, кремонка она или не кремонка. Иван купил ее на Златодольской ярмарке, у одного слепца. Попробовал он ее сначала, а слепец, как услышал его, рот разинул. «Продаешь скрипку?» — спросил наш Иван. «Она не продается, но тебе отдам ее, потому что еще не слыхал такого скрипача. Ты чем занимаешься?» — «Я кузнец, дедушка». — «Чудное дело! — сказал старик. — Я возьму с тебя за нее пять золотых. Береги ее, как зеницу ока! Если бы ты трижды наполнил ее золотыми, то и то оказалось бы меньше того, что она стоит».

— Где же сейчас эта скрипка? — спросил я старого мастера.

— Иван разбил ее. Ударил вон об ту закоптелую балку на потолке, в щепки разнес.

— Что ж он, пьян был?

— Еще что скажешь! Ивана Черного никто не видал пьяным. Я тебе расскажу, как дело было. Случилось это в ту пору, когда разбойники притесняли наш народ и уже начали с него чуть не шкуру сдирать. В этих местах был один околийский начальник; как оглашенный носился он в автомобиле по дорогам, давил скотину, обдавал людей тучами пыли, волком смотрел на молодежь и сыпал угрозами. Мы его прозвали Кирджалией. Как-то вечером сидим мы с Иваном вот тут, за этим самым столом, и ведем разговор о тех бесстрашных парнях, которые ушли в горы и

которых этот разбойник преследовал в буковых зарослях. Весь тот день слышалась стрельба и рвались гранаты. Мы не знали, что происходит. Но вот кто-то хлопнул дверью. Глядим — Кирджалия. Мутными, усталыми глазами окинул он корчму, подошел к прилавку и сказал негромко:

— Прикончили их... Хозяин, нацеди вина да поджарь колбасы! Эти люди голодны, как волки. Им надо хорошенько поесть и выпить.

Кирджалию сопровождало пять волков в человеческом образе. Они сняли с плеч винтовки и прислонили их к стене, как раз под скрипкой. Все село замерло во тьме. Нигде ни огонька. Перед Иваном стоял графинчик ракии, но он не притронулся к нему. Он сидел молчаливый и холодными глазами смотрел на Кирджалию, который опрокидывал в свою глотку стакан за стаканом, и на жандармов, чавкавших, как скотина, словно они не людей ходили убивать, а вернулись с охоты на куропаток. Напившись, Кирджалия повернулся к печке и увидел скрипку.

— Кто здесь играет? Ты, что ли?

— Не я, там скрипач сидит,— показал корчмарь.

— Вон тот медведь, черный такой? Слушай, Топтыгин, возьми скрипку и поиграй моим орлам!

Иван Черный смотрел на него не шевелясь.

— Живо! — крикнул Кирджалия.

Иван поднялся и проговорил тихим, дрожащим голосом:

— Я не играю тем, у кого руки в крови!

— Будешь играть, медведь лохматый, и попляшешь еще! Хозяин, подай ему скрипку!

Хозяин снял скрипку, подал ее Ивану и начал уговаривать:

— Иван, поиграй уж им! Не упрямясь! Не убудет же тебя оттого, что им поиграешь!

Иван протянул руку, взял свою скрипку, выпрямился и двинулся к волкам, не сводя глаз с Кирджалии. Подойдя к ним, он размахнулся, трахнул изо всех сил скрипкой о балку и разбил ее на мелкие кусочки.

— Я тебе покажу, сволочь! — вскочил Кирджалия и выхватил револьвер. — Со мной так не шутят!

Но пока он наводил револьвер, Иван, как лев, ринулся на зверя, толкнул его в грудь и повалил наземь. Затем, окинув взглядом ошеломленных жандармов, схватил одну из винтовок, спокойно вышел в открытую дверь и потонул в темноте. В кузнице мы его больше не видели, но слышали о нем, когда в Злом долу пошел под откос целый немецкий поезд, груженный орудиями, когда поднялись села.

Один за другим молодые парни уходили в горы. Мы думали, что партизаны скрываются где-то за тридевять земель, а оказалось, что они были рядом, в Гайдуцком долу. Под этим самым явором, который мы сейчас срубили, у них была выкопана землянка. Кирджалия ревел как бесноватый. На другой день избил меня в участке. Сломал мне левую ключицу. Много народу перебил он в ту пору...

Когда Иван спустился с гор, мы решили выбрать его в сельские старосты, но он не захотел.

— Не по мне это дело, — сказал он, — мне дай подковы ковать, точить лемеха, серпы клепать! Теперь наша земля будет родить хлеб только для трудового

народа. И кузнецы нужны, чтобы ковать новый мир. А дед Неделчо смастерит мне новую скрипку с ясным голосом. Та, старая, была на плаксивую женщину похожа.

Я сделаю скрипку. У нее будет волшебный голос. Иван станет на ней играть и воспевать юношей, павших в балканских ущельях за свободу народную, юношей, чьи тела растаскали по скалам орлы. Иван Черный сложит новую песню о тех славных людях, что закладывают основы святой народной республики, о тех, кто прокладывает в горах дороги и тоннели, строит плотины и водохранилища, чтобы в засуху влаги хватало для последнего корешочка и чтоб вся земля была залита электрическим светом. Заиграет моя скрипка мастерам, которые строят мосты и дороги, тем, кто запахивает межи и дружно работает на общей земле, тем, кто тклет ткани, добывает уголь, пишет книги о новом человеке. Кузнец Иван ждет меня.

— В тот вечер, когда я разбил кремонку, я поклялся не браться за смычок, пока не настанет светлый день. Сейчас рука моя истосковалась по смычку. Дед Неделчо, начинай!.. Душа моя словно бочонок, в котором бродит молодое вино.

Так говорит мне Иван. Как только дерево высохнет, сделаю из него скрипку, каких доселе не делывал. Для нашего Ивана Черного...

Мастер Неделчо взглянул на меня. Глаза его сияли.



ГРАНИТ

тот поздний осенний вечер туман стелился низко над землей, окутывая разбегенные пыльные дороги, опустевшие поля, подернутые багрящем леса, селенья. Вдоль большака там и сям высились темные силуэты деревьев. Словно стражи-великаны, зорко вглядывались они в призрачный караван, шаги которого раздавались во мгле, и, напрягая слух, ловили перезвон колокольчиков, нескончаемую песню немазанных колес, тяжелую поступь скота, людской говор. Белые волы были совсем невидимы, лишь черные мокрые их рога покачивались в молочных клубках тумана. Хозяева их в ямурлуках и остроконечных башлыках медленно шагали рядом. Они были похожи на сказочных гномов. Покрытые рядом, доверху нагруженные подводы плыли во тьме, словно бочонки на невидимых колесах.

— Стой! Забирай влево! — хрипло прокричал вожак каравана. — Где-то тут в той стороне Поройница, самая чистая из всех горных речек.

Караван свернул с дороги, заскрипели оси и дышла, и топот воловьих копыт заглох в шелесте влажной,

но уже отцветшей травы. Возчики быстро распрягли волов, бросили им сена, накинули на них домотканые попоны и, отвязав от грядок телег сумки с провизией, сгрудились вокруг вожака, который, присев на корточки у пенька, высекал кремнем огонь из огнива, чтобы запалить горсть сухого сена.

— Чего усталились, ступайте вниз к Поройнице, тащите хворосту. Только смотрите, посуше! — крикнул он возницам. Те нехотя повиновались и исчезли в тумане.

Вскоре затрещал костер и осветил загорелые лица семерых гончаров, их морщинистые лбы, невеселые глаза, русые, обвисшие книзу усы. Гончары возвращались с равнины в горы. Возили в нижние села кувшины, расписные миски, горшки, крынки, а теперь везли к себе мешки с зерном, полученные там в обмен на изделия из глины.

— Ну и туман! Волы во тьме-то все ноги посбивали, — проговорил самый старей из них, дед Рою. — Должно, поздно уже.

— Где-то внизу петухи пропели, видно, село недалеко.

— Тут не одно, а целых два. Локвица и Слепче. Я-то их знаю. Доводилось бывать в молодые годы. Был там один кузнец, Димо звали. Не знаю, жив ли еще. Ну и мастер! Так коней подкует, что копыта полетят, а подковы целы останутся. Дайте-ка сюда таган да котелок, картошки наварим! Костер уже вон разгорелся.

Приладив котелок над треножником, старик продолжал:

— Ну и шутник же был этот Димо! «Женился я, говорит, взял за себя красавицу из красавиц. Привя-

жи ее на мосту, так прохожие веревку украдут, а на нее не позарятся». А так крутого праву был человек. Кузница у него, что оружейная мастерская. Чего там только не было: на стенах старинные пистолеты, солдатские сабли, ятаганы, штыки от старых ружей, кинжалы с костяными рукоятками. Ручищи у самого громадные. Богатырь-болгарин. Так грохал молотом по железу, что раз даже наковальня треснула. Был у него сын. Стоит, бывало, в уголке, тянет за цепь, мехи раздувает, смотрит тебе в глаза и улыбается. Ласковая такая душа. Совсем еще малец, всего четыре годочка, должно, от роду, а туда же, отцу помогает. Рожца закопченная, в кожаном переднике — ну, заправский кузнец. Этакий ангелочек, родившийся пенароком в цыганском таборе. Не знаю уж почему, а только крепко он мне запомнился. «Больно мал у тебя помощник-то», — говорю я раз кузнецу. «Мал-то мал, а все пускай к труду приучается, потому — кто не работает, заржавеет, как вон та мотыга!» — И он кивнул на старую, брошенную мотыгу, всю источенную ржавчиной. А Поройница — она как раз промеж обоих сел протекает. Только она и отделяет их друг от дружки. А уж форель в ней под камнями прячется — вот такущая! — И дед Рою показал рукой. — С локоть.

Вода в котелке закипела, картофелины запрыгали в веселом хоро. Высоко над пеленой тумана тревожно и тоскливо прокричала стая невидимых птиц, спускавшихся с холодных горных вершин к теплым оврагам равнины. Гончары посмотрели вверх, отыскивая глазами крылатых странников, которые так же, как и они, застигнутые ночью, плутали во тьме в поисках

ночлега. Невдалеке слышались тихие шаги — кто-то осторожно, словно кошка, пробирался меж телегами.

— Эй, кто там? — вскочили на ноги двое гончаров.

— Да это я, я.

— Кто такой?

— Здешний я.

— Чего рыщешь промеж телег? Иди-ка к костру, поглядим, что ты за птица!

Ночной гость опасливо приблизился, встал у костра и стал внимательно, одного за другим, разглядывать закутанных в башлыки людей. Он был худой, высокий, обросший бородой, с ввалившимися глазами. Штаны подпоясаны ремнем. Без пиджака, в одной рубаше — несмотря на сырую, влажную ночь. На правой руке — смятая черная повязка. Виновато улыбнувшись, он стянул с головы кепку со сломанным козырьком.

— Мир честной компании! — сказал он и протянул ногу к огню, чтоб согреться.

— Что это тебя носит в такую темень? — спросил дед Рюк. — Чего не спишь?

— Не от добра по лесу ночью мыкаюсь. Вол у меня потерялся. Весь вечер мотаюсь, никак не найду. Запутался в тумане. Я на поле ездил, дерево собрался срубить — уж больно пахать мешает. Пока корчевал — пустил волов попасться в Гырмидол. Повалил я, значит, дерево, обрубил ветви, расколол ствол железным клином и, покуда грузил его на телегу, — глядь, чертов этот туман и спустился. Стал искать своих волов, ну как сквозь землю провалились. Туда, сюда кинулся, Белого нашел — лежит себе, дремлет у Куршумена

родника, а вот Черного — ну, нигде нету! Уж такая нравная скотина — никакого с ней сладу! Не попадался ли он вам, братцы, где по дороге?

Дед Рою деревянной ложкой достал из котелка сварившиеся картофелины и вывалил их на траву. Гончары взяли по картофелине.

— Бери и ты. Не ел небось?

— Не до того мне. Душа не на месте. А ну, как в горы уйдет — ведь задерут волки. Невезучий я.

— А ты чего с черной повязкой? По ком это? — спросил старик.

— Дочка у меня померла, как раз в канун Малой Пречистой. Нежданная беда грянула в моем доме. Хозяйственная девчушка была, смышленная, смиренная, словно ягненок. Не пощадила ее тяжелая хворь. Много народу унесла смерть в нашем селе. У нас, братцы мои, вода плохая. Вот в чем заковыка-то. Колдцы старые, а в летнюю пору что кошек, кур, да крыс в них топчет — страсть! Нынче осенью и начнись от грязной воды какая-то страшная болезнь. И всех прежде в мой дом постучалась. Сколько народу покосила. А теперь молодежь рукава закатала — надумала водопровод копать, ледяную воду из Поройницы добыть да в каждом дворе чешму поставить. Дай-то бог! — закончил он и протянул к костру другую ногу.

— А ты откуда сам-то? Из Локвицы или из Слепче? — спросил дед Рою.

— Нету больше таких сел.

— Как это «нету»? Перебрались куда?

— Да нет, тут они, только нынче это не два села, а одно. Объединились мы. Из двух сел одно сделали

и называли его Гранит. Большие дела затеял у нас народ. Здорово размахнулись.

— А вон там, в нижнем селе, был один кузнец, Димо звали. Жив он еще?

— Какое там, убили его семнадцать лет назад, в тот самый год, когда в горах выпал крупный град и Поройница снесла все мосты. Передрались тогда между собой села — наше и Слепче. Нашими верховодил Хаджи Драган, а нижними — кузнец Димо. Что крови пролито было! Схватились они в Гырмидольском овраге. Вы мимо него не проезжали? Там лес — дубы да кизил. И кизил белый и крупный, что твой орех. Знатную ракию у нас варят из того кизила. Вот из-за этого-то леса, которым раньше владел один турецкий бей, и шел с незапамятных времен промеж двумя селами спор. Наш, значит, Хаджи Драган, все таскал слепчан по судам, что ни день приводил адвокатов да лжесвидетелей выставлял. Он червонцами воевал — у него их много было, а кузнец Димо — тот ножи точил да рычал, ровно лютый зверь. И вот как-то в праздник, нализавшись вдосталь кизиловой ракии, слепчане похватили в Димовой кузнице топоры, ножи, ятаганы и кинулись рубить спорный лес. Тут и наши взъярились. Бросились за оружием, похватили, какое кому под руку попало. Да как сошлись в Гырмидоле, как ударили друг на друга! Четверых на месте прикончили. И первым уложили Димо. Сын Хаджи Драгана всадил ему кинжал в спину, вот оно как. Отсидел за это семь лет в тюрьме, потом выпустили. Такие, братцы, дела!

Гость умолк и присел на корточках у костра. Гончары степенно счищали с картофелин кожуру и обматывали их в деревянные солонки.

— А с сынишкой Димовым что стало? — спросил дед Рою.

— Да разве вы ничего о нем не слыхали? Сын кузнеца Димо покоится под большим памятником, который выстроили у каменного моста через Поройницу. Как же это вы, по всему свету ездите, а об нем ничего, выходит, не слышали? Чудно! Ведь сын кузнеца-то и объединил оба наших села. С той поры, как пролилась кровь, народ тут словно озверел. По ночам парни из одного села переправлялись через Поройницу, поджигали у соседей копны на гумне да сарай, девушкам ворота дегтем мазали. Ох и люди же... Над Куршуменым родником было три грушевых дерева. Хорошие на них груши росли! А слепчане взяли да и срубили их, так просто, на зло. Ну, наши в отместку запрудили весной Поройницу, отвели воду и пустили ее на Слепче. Чуть всех там не потопили. После смерти Димо целых три года на дверях его кузницы замок висел, но потом Ристо, сынок его, заступил на отцово место. Этот нравом весь в мать пошел — улыбочивый да стыдливый, ровно девушка. Кинжалы да ятаганы он из отцовской кузни повыбрасывал и принялся ковать серпы да мотыги. Дальше — больше, стал он браться за работу и потоньше: браслеты для девчат мастерил, перстни обручальные, да и в часах толк знал. Никто сроду от него худого слова не слышал. Мухи, как говорится, не обидит. По ночам книжки читал. Вот потому-то все мы только диву дались, когда узнали, что в горы, в буковые леса, ушла дружина — восемьдесят три юнака,

половина парней из нашего села, половина из Слепче. И кто б вы думали их повел? Ристо — сын Димо. Партизанская кличка его была — Гранит. Впервые за долгие годы пошли вместе молодые ребята из двух враждующих сел — объединило их его знамя. Душителю народа сгубили его молодую жизнь где-то близ Клисурского монастыря. И кузницу сожгли. Когда наши привезли его останки — оба села от мала до велика собрались на похороны. Тогда-то и порешили мы, и клятву дали на его могиле — вовек боле не враждовать, объединить оба села в одно и наречь это село Гранитом. А по весне построили мост, что связывает оба села, и памятник поставили. Такие-то дела, братцы!

Гранитчанин умолк. Гончары задумчиво смотрели на догоравший костер. Вдруг гость встрепенулся.

— А вот, братцы, что вы мне посоветуете? — неожиданно проговорил он. — Отдавать ли мне свою землю или не отдавать? Есть у меня участок — маленький, да удаленький, такой урожай дает — по сию пору не знаю, как это хлеб прикупать, своего от жатвы до жатвы хватает. А наша молодежь затеяла всю землю вместе в общее поле собрать. Они у нас и общую пекарню строить начали. Теперь, говорят, бабам не придется дома хлеб печь, прямо из общей пекарни каравай получать будут. В других селах, слышать, такие пекарни уже имеются. А мне все же боязно за свою землю. Как по-вашему, братцы, а?

— Ты сам должен решить, — покачал головой дед Рою. — А если сам рассудить не можешь, спроси у того, кто лежит под памятником, он тебе верный совет даст.

Гранитчанин посмотрел на деда Рою своими ввалившимися глазами, озадаченно заморгал и напряженно задумался, силясь сообразить, что тот хотел сказать. И вдруг все понял.

— Ты прав! — сказал он и поднялся. — Ну, что ж, на том прощайте, а я пойду. Ума не приложу, куда могла подеваться эта скотина!

— Может, уж давно домой вернулась, сходил бы поглядел.

— И то! А мне и невдомек. Может, и впрямь на мое счастье — приду домой, а она там. Ну, пойду! — сказал он, повернулся и мгновенно исчез в тумане.



НАШЕНСКИЕ РЕБЯТА

Кругом, куда ни взглянешь, равнина задыхается от зноя. Земля жаждет дождя. Сухо шелестят сожженные солнцем кукурузные листья. В истоптанном жнивье ни единой зеленой травинки. Пыль в колеях горяча, как пепел из только что прогоревшей печи. На придорожных кустах дрожат дымчатые листья. Одинокая птичка с тихим щебетанием носится на ослабевших крыльях над пересохшим руслом реки. Только просо на бахче деда Ивана все выше тянет свои метелки, и зернышки его зарумяниваются. Дед Иван Смок сидит у шалаша, широко расставив ноги, без шляпы, в расстегнутой рубашке, с засученными рукавами и плетет из лозы корзинку. Позади, под тенью груши, стоит старая разбитая таратайка. К правому ее колесу привязана огромная овчарка. Она лежит, опустив голову на передние лапы, и тяжело дышит, высунув язык. Слева стоит осел Смока со спутанными ногами. Он тянется к бахче, усеянной мраморными арбузами, покрытыми серебряной пылью, и тащит за собой таратайку вместе с собакой. У самых ног Смока в глубокой яме

копошится что-то живое. Время от времени старик бросает туда арбузные корки. «Что-то живое» встречает их ликующим хрюканьем. Вдоль плетей большая дорога. Она пересекает жаркую равнину и ползет к прохладным горам. По дороге бежит откормленная гнедая лошадка, быстро перебирая запыленными копытами, похожими на белые сапожки. Она тащит за собой размазанную тележку, и та скрипит, повизгивает и поет на все голоса. В тележке дремлет, покачиваясь, человек в заштопанной, пропотевшей рубаше и почерневшей соломенной шляпе без ленты.

— Тпру-у! — закричал дед Иван лошадке, когда тележка поравнялась с его шалашом.

Возчик вздрогнул.

— Слазы! — приказал Смок.

Возчик почесал затылок, сдвинул назад шляпу и неохотно слез с тележки.

— Рассказывай, Маринчо, что нового?

— Не спрашивай, дед Иван!

— А что случилось?

— Душа болит. Даром прошло у меня лето. Думал: как все люди, обработаю свой огородик. Взялся за дело, посадил всего понемножку. Смастерил водочерпалку. Всю весну из огорода не вылезал. Как дите родное был для меня каждый стебелек. На глазах росли. А когда зацвели они и стали плоды завязывать, я сказал себе: прощай, бедность! Каждый день буду теперь возить в город по тележке с овощами, а горожане так и будут на них налетать. Починил тележку — перетянул шины на передних колесах, новое днище смастерил. И вот, дед Иван, до Петрова дня речушка журчала и радовала мое сердце. Но когда

кончились дожди и вода начала убывать, словно схватил меня кто за горло. Ты знаешь, какой в верхнем селе народ — жадные, люди скверные, только о себе думают. Взяли да и запрудили речку и отвели ее к своему селу. А я остался как рыба на берегу. Им-то что — им теперь только и жить, а мы хоть ложись да помирай. Жернова на мельнице остановились. Рыба в ручье передохла, и мой огородик поник и зачах. Вчера вечером поп Матей мимо шел — решил в мельничном омуте искупаться. Выпил красного винца, закусил вареной курочкой, разгорячился и пошел к реке. Но вернулся прямо-таки в отчаянии. «Ну и ну, говорит, негде бороду намочить. А жарница какая!»

— Я, дед Иван, думал в этом году, как сколочу немного деньжонок, построить себе домишко. У старогото подпорки совсем прогнили. Если зима будет снежная, он еще как-нибудь ночью завалит нас. Жена дрожит от страха. Одна надежда была на огород, да и та была, что кусочек льда в кулаке. Разжал я кулак и вижу, что пусто. Вот они мои новости.

— Возьми арбуз в шалаше и нарежь. Только сначала дай мне прутик, ручку для корзины сделать.

Маринчо подал прутик, на коленях забрался в шалаш и выкатил оттуда холодный арбуз с макушкой, похожей на звезду. Нарезал его, подал первый кусок Смоку, а во второй впился сам.

Где-то далеко в горах прокатились три глухих удара. Маринчо положил арбуз и прислушался.

— Гремит, — сказал дед Иван, — пошли в наступление на скалы. Валяются камни, как ополченцы.

Всерьез строят, не на шутку. Много народу в горы потянулось. Опустили села. Вчера мимо меня прошли ребята из Мечкюра. Со знаменем впереди, с кирками и лопатами на плечах, с песнями. Бахчу мою пообчи-стили, тридцать семь арбузов срезали. А потом их старший запустил руку в карман и отсчитал мне три бумажки. «Ребята,— сказал я им,— вы идете бороться с горами, за народ, за землю, которая вся от жары растрескалась, и чтоб я с вас деньги за арбузы брал? Не будет этого». — «Задаром не возьмем,— говорит старший,— не примешь деньги, вернем арбузы!» — Пришлось взять. Что с ними поделаешь: нашенские ребята.

— А им-то платят?

— Да нет, работают задаром. Впервые в жизни такое вижу.

— Мне не понятно, что они там в горах делают и почему стреляют, как из пушек? Много раз соби-рался как-нибудь вечером на собрание сходить, вникнуть, что там такое, но до сих пор не сумел — работа одо-лела.

— Что они там делают? Озеро в горах устраи-вают. Большущее озеро. Там, где сливаются воды трех рек, прежде чем обрушиться им вниз, в Каменный проход, народ решил поставить стену и запрудить реку. Вся вода от талого снега соберется в одном ме-сте и будет ждать команды. Когда настанет засуха и земля потрескается от жары, озеро откроют и при-кажут воде: «Айда, лейся в равнину! Да не забудь заглянуть в огородик Маринчо и на бахчу деда Ива-на». Если бы я, Маринчо, был в твоих годах, не рас-кисал бы, как клен в теплой воде, а был бы там

наверху, с этими ребятами. Понравился арбуз? Срежь себе еще.

— Хватит,— сказал Маринчо, собрал арбузные корки и пошел к тележке.

— Куда несешь корки? — спросил дед Иван.

— Домой, курам...

— Положи. Арбузом я угощаю, а корки не даю. У меня три души на довольствии — пес привязанный, да осел, да поросенок в карцере.

— Ну, что ж,— согласился Маринчо, вытер лоб ладонью, сел в тележку, и лошадь проворно застучала белыми сапожками по пыльной дороге.

— Эй, сынок, полегче, задавишь! — сворачивая с дороги, крикнула сгорбленная старушка в черном платке, с сумкой через плечо. — Ох, матушки, на колючку напоролась,— заохала она и нагнулась, чтобы вытащить колючку.

— А, это ты, Неделя, пойдика сюда на минутку,— позвал ее дед Иван.

— Спешу, дед.

— Куда еще?

— В монастырь, к Святой Троице. Внучек мой захворал. Тяжелая хворь его одолела. Колодец-то у нас засорился — на Ильин день оттуда дохлую курицу вытащили, а позавчера крысу, здоровущую, как кошка. Другой воды-то нет, вот и травимся все. Полдеревни переболело.

— А в монастырь-то зачем идешь?

— За святой водой. Отец игумен каждую неделю оmyвает мощи великих мучеников. Попрошу, чтоб отлил мне пузырек той водицы. Как попьет ее мой птенчик, авось выздоровеет.

— А что у тебя в мешке-то?

— Набрала груш для отца игумена. Ну, прощай!

— Поклонись ему от меня и скажи, что все его при нем будет, так и передай. Дед Иван, мол, что ему обещал, то он и получит.

Откуда-то со стороны высохшего русла реки неожиданно выскочил Петко Беля. Босой, растрепанный, небритый, с большими, как у кабана, желтыми зубами. Бросился бегом через бахчу, зацепился ногой за плетъ.

— Эй ты, куда плетъ тащишь? Медведь!

— Я его на дне морском найду! — зарычал Петко. — Распорю ему брюхо и отлуплю вот этим поясом, как буйволицу в капусте.

— Кого?

— Шайтана!

— А что он тебе сделал?

— Как что? Ты ведь знаешь ручеек у Куршумена родника. Я, как и весь народ, три дня и три ночи ждал, чтобы пустить немного воды в свою кукурузу. Там и вода-то чуть капает. А ведь я сам седьмой, чем мне всех кормить? Отвел вчера вечером воду, пустил ее в свое поле. Очередь моя была до первых петухов. Как открыл кран, вытянулся рядом и, сам не знаю, как задремал. А он, дьявол его возьми... взял да и отвел воду, и пустил ее в свое поле. Когда я прочухался, пели трети петухи, и моя очередь прошла. Ну как же дед Иван, такого человека не резать? Скажи мне только, он в рощу побежал или в раkitник шмыгнул?

Дед Иван вытащил нож из деревянных ножен и сказал:

— Держи!

— Зачем он мне? — спросил, озадаченно посмотрев на острый нож, Петко Беля.

— Зарежь арбуз и освежись, а то уж очень ты распалился.

— Не нужны мне твои арбузы, — махнул рукой взбешенный Петко, — я ищу Шайтана и найду его хоть на дне морском. В порошок его сотру.

И побежал к лесу.

— С ума спятил! — сказал ему вслед дед Иван, глядя на его оборванную спину, и взял прутик, чтобы доплести корзину.

Солнце уже коснулось горных вершин. Прохладный вечерний ветер шевелил метелками проса. Мертвая сухая трава ожила и зашелестела. Дед Иван взял новую корзинку и начал ее разглядывать.

— Замечательная корзинка! — раздался чей-то голос за спиной старика.

Он вздрогнул и обернулся. Перед ним стоял коренастый мужик с длинными русыми усами и хитрыми кощачьими глазками. Штаны у него были порваны на коленях, ботинки надеты на босу ногу. На шее — белый галстук. За плечом на палке сумка.

— Кто ты такой? — спросил дед Иван незнакомца. — Словно из-под земли вырос.

— Я бездомный и голодный, брожу по божьему миру.

— Добро пожаловать. Если голоден — вон там арбузы, — указал рукой дед Иван, не глядя на бахчу.

— Арбузы не ем.

— Почему?

— Потому что арбузы красные и напоминают мне о крови сына божия, распятого на кресте ради нашего спасения. Дыни у тебя есть?

— Как не быть. Выбери себе спелую.

— А этот зверь? — указал гость глазами на собаку.

— Он привязан. Не бойся.

Бродяга вошел в бахчу и нагнулся над плетями. Долго возился там. Вернулся с дынькой, величиной с яблоко.

— А что, разве там нет побольше? — спросил его дед Смок. — Отрежь себе другую!

— А мне и этой хватит. Пусть остается другим людям да птишкам небесным.

Неизвестный расположился на траве, достал из мешка нож с костяной ручкой, кусок черствого хлеба и деревянную коробочку с солью. Разрезал дыню, очистил ее от семян, посолил, облизал пальцы и принялся за еду.

— Что это там, под землей? — спросил он, прислушиваясь.

— Это мой поросенок. Выкопал ему ямку, чтобы не бегал много. Носится как сумасшедший по стерне, роет бахчу, как крот, а мне за ним не угнаться. Вот я и загнал его туда.

— Вот оно, в чем дело. А как народ живет в ваших краях? — спросил странник.

— Как живет? Да плохо. Как ужи в огне. Засуха губит. Все воду ждут.

— Воды ждут? Никогда ее здесь не будет, ибо господь бог замкнул небеса. Люди пошли по путям неправедным и за это будут наказаны.

Дед Иван посмотрел на гостя исподлобья.

— Смотрю я на тебя и удивляюсь. Не пойму, что ты за человек. По одежде вижу, что не здешний. Чем занимаешься?

— Хожу по белу свету, спасаю погибшие души. А ты? Чем ты занимаешься?

— Был кузнецом, а теперь ушел в отставку. Делал турецкие гвозди для подков, как машина их пек. Много коней подковал. Вся фракийская кавалерия прошла через мои руки. Бабы на меня заглядывались. Ты не смотри, что я такой,—завижу бабу, как петух запрыгаю, хоть мне и семьдесят семь. Господи, прости меня грешного! — сказал про себя старик, и спросил: — А ты в бога веруешь?

— По пяти часов в день выстаиваю на коленях и молюсь. Потому и штаны у меня рваные, и колени потому видно. Прежде не верил, но одна ясновидящая, что на бобах гадала, вернула мне веру. Встретил я ее в одной корчме. Человек шестьдесят перед горенкой ждали, какое будущее она им предскажет. Три часа проторчал на ногах. Наконец она вышла, взглянула на меня и ввела в горенку, а сама легла на кровать и вся затряслась. Я схватил ее за руки и за ноги. Словно электрический ток прошел через меня. А она ослабевшим голосом промолвила: «Прошу вас, не мучайте меня!»

И узнал я тогда от нее, что праведен перед богом, что буду знаменит по всей земле, что буду говорить на языках неведомых, проповедью изгонять беса и ловить ядовитых змей. И спросил я ее: «Когда?» А она мне: «Когда войдет в тебя дух святой. Православные церкви — сатанинские сборища, а мы, как

первые христиане, не поклоняемся сатане». И вошел в меня дух святой в селе Вырбица, около Плевны, однажды, когда я спал, в половине четвертого. И почувствовал я неземное блаженство. Уста мои заговорили на неведомых языках. Я запрыгал от радости. Господь бог объявил мне, что первое чудо произойдет в будущем году — мертвец восстанет при мне из гроба. От Болгарии избрано два апостола. Один из них сейчас в параличе. Но он поднимется и уведет болгарский народ с несправедного пути.

— А другой? Кто же другой?

— Другой... — странник блаженно улыбнулся. Взгляд его говорил: аз есмь. — Он будет апостолом всей земли, обойдет Индию, Японию, Тибет. Его будут сжигать на костре, но господь бог превратит огонь в прохладную росу. Когда он пойдет вдоль Красного моря, среди арабских народов начнутся волнения. А на Филиппинах апостол всей земли лично встретится с богом.

Темнело. Дед Иван встал, порылся в плетях, срезал три треснувших от солнца маленьких арбуза и кинул их — один собаке, другой ослу, третий в яму. Поросенок радостно захрюкал. Собака с хрустом съела арбуз и принялась облизываться. Осел проглотил его целиком.

— Чудеса, впервые вижу, чтобы собака ела арбуз. Ночью она у тебя на привязи?

— На ночь отвязываю, но нынче, если останешься, будет на привязи.

— Останусь. Вижу, что ты добрый человек, хотя и говорил ты вольно о женщинах. Нехорошие это были слова. И нехорошо поступаешь, что держишь

поросенка в яме. Живую тварь нельзя мучить. Грех на душу берешь, старче.

— Знаю,— сказал дед Иван,— я потому и обещал поросенка монастырю, отдам его во имя спасения души...

И, вытащив из мешочка черный хлеб и луковицу, не торопясь приступил к ужину.

Закусив, хозяин и гость улеглись прямо на траве, у шалаша, любуясь небом, усыпанным мириадами мерцающих звезд.

— Целыми днями,— промолвил странник,— они там сокрушают гору. А по какому праву? Гора сотворена богом, а они ее рушат. Воду хотят запрудить. С незапамятных времен она течет вниз, а они хотят ее остановить. Божий свет кишит грешниками...

«Чудной человек, святой человек»,— подумал дед Иван, и веки его сомкнулись.

Стрекотание сверчков убаюкало его...

Около полуночи таратайка зашкрипела, и над головой деда Ивана залаяла собака. Старик проснулся и приподнялся. Овчарка рвалась с цепи и громко лаяла. Смок спросонья протер глаза и прислушался. Кто-то бежал через бахчу, и в руках у бегущего отчаянно визжал поросенок.

— Пропал мой поросенок! — сказал старик и вскочил. Отвязал собаку и крикнул:

— Возьми!

Овчарка, ошетинившись, кинулась в ночную тьму, догнала вора и повалила на землю...

Утром со стороны села показалась Маринчова тележка. На тележке новый бочонок.

— Тпру-у! — закричал дед Иван Смок. — Расскажи, что нового, Маринчо.

— Есть новости, дед Иван. И я еду в горы. Стену строить, озеро делать. Нет другого спасения. Назначили меня водовозом. Источник там неподалеку. Буду возить воду для ребят, которые строят плотину.

— В добрый час, сынок! Только у меня к тебе будет большая просьба.

— Говори, дед Иван.

— Возьми с собой и моего поросенка! Ночью мы с псом еле отбили его у одного святого. Отвези его ребятам. Скажи им, вот, мол, вам дар от старого кузнеца деда Ивана Смока. Что с ними поделаешь — нашенские ребята...



БАЙ РОЖЕН КАМЕНОВ

Как осел уперся бай Рожен: «Нет и нет!» Три раза ходил к нему председатель, пытался уговорить его.

— Бай Рожен, до твоей межи дошли, ты крайний, дальше — лес. А когда и твоя земля вольется в общую народную ниву, протянем мы борозду от Среднего луга до Осеновой пустоши. Как свеча, прямая она будет. За большое дело мы взялись. Сто двадцать человек у нас уже есть — согласишься, будешь сто двадцать первым.

— Не согласный я! — отрезал Рожен Каменов. — Не отдам ниву деда Камена!

— Все твои братья вошли в кооператив.

— Ну и на здоровье! На другое у моих братьев ума не хватит. Потом опомнятся, да поздно будет. Да и сказать тебе по правде, Иван, я уж и так много отдал — сын погиб. Оставьте мне хотя бы землю. Уж лучше душу заберите.

— Как хочешь, — сказал председатель, — мы приглашаем добровольцев, никого насильно не тащим. Воля твоя. Подумай до завтра. Если надумаешь, —

скажи вовремя, пока мы не перебросили трактор в низину.

— Перебрасывайте, ребята, поскорее убирайте эту проклятую трещотку, я и так из-за нее чуть не оглох. У меня два старых мотора — пашут и молчат. И семью кормят. Матейко! — повернулся он к заросшей кустарником меже. — Давай, веди волов. Запрягать будем! Где ты там? Опять на грушу забрался?

Председатель махнул рукой и направился к сеялке, бросавшей первые зерна в чернозем обширного кооперативного поля. Дядя Рожен прошел мимо старой груши, усыпавшей землю мелкими листочками, словно золотыми монетками, и начал уставлять соху. Матейко пригнал двух старых-престарых волов — черного, когда-то буйного, со сломанным рогом, и белого добряка, всю жизнь покорно шедшего по борозде.

— Дедушка, я с груши видел — еще один трактор идет. Ох, дедушка, они так землю насквозь пробуравят!

— Пусть себе головы перепашут. Берись за цепи и тяни волов вперед.

Волы неторопливо поплелись за маленьким вожаком. Он засучил штаны, ноги его намокли от утренней росы. Чудесно блестели опавшие с груши листья. Соха вонзилась в рыхлый чернозем и смешала червонцы с землей. Дойдя до другого конца поля, бай Рожен обернулся назад, посмотрел на борозду и сказал:

— Видишь, Матейко, какую глубокую борозду провел твой дед?

— Ну да, глубокая. Ты бы посмотрел, как трактор пашет — ахнешь. Почему ты, дедушка, не отдашь

свою землю? Работали бы вместе со всеми, а то отбиваешься от стада, как паршивая овца.

— Что ты сказал? А ну-ка, повтори! Вот отлуплю тебя палкой, увидишь тогда у меня паршивую овцу. Убирайся отсюда, гайдучье племя! Не нуждаюсь я в твоей помощи!

Мальчик бросил цепи, отошел за грушу, прижался лбом к растрескавшейся коре, и слезы градом полились у него из глаз. Он плакал неслышно, только плечи вздрагивали. С тех пор как погиб на фронте его отец, сирота научился плакать одиноко и беззвучно, чтобы не расстраивать мать.

Бай Рожен прикрикнул на волов, прошел две-три борозды, взглянул на мальчугана, и жалость хлынула в его сердце. Он остановился посреди поля, затем подошел к Матейко, погладил его русую головку.

— Не плачь, сынок, будет. В другой раз не будешь говорить такие слова деду. Зачем ты меня огорчаешь? Это поле я берегу, не даю его волкам сожрать, потому что хочу его тебе оставить. Видишь, сколько опавших листьев на земле — столько же золотых червонцев под землей. Клад на этом поле зарыт. Большой клад, с незапамятных времен. Авось улыбнется тебе счастье — найдешь его. Пойдем теперь за сохой и потолкуем. А после полудня испечем тыкву. Пошли!

Вечером в корчме Кыртицы бай Рожен опрокинул три стопки виноградной водки. Кривица начал его подзуживать:

— Ты подожди, увидишь, что еще будет. Какие они работники: половину съедят на корню, остальное разворуют. А застрянет их трещотка, никто ее не сможет в ход пустить. Так и заржавеет в какой-нибудь

меже. Не отдавай свою землю! Что ты хочешь от этих дикарей, что из лесу пришли? Выпей-ка еще одну!

Выпал первый снег. Засыпал озимые. Старики снова собрались у очагов в продымленных корчмах, а молодые кооператоры крепко взялись за дело. Открыли вечернюю школу. Устроили слесарную мастерскую. Притащили откуда-то еще два трактора, разобрали их. Зазвенели железные молотки. Семьдесят три парня с кирками и лопатами начали копать канал от Стремы до Среднего луга. От зари и до самой темноты копали они, — снег заносил их, от мороза пухли руки, но в глазах у них горел чудесный огонь. И они поспели, поспели еще до того, как подул теплый ветер. Из горных сел позвали каменщиков — выложить камнем и цементом путь для прозрачных вод Стремы.

— Сумасшедшие, — говорил Кыртица бай Рожену. Сколько денег на ветер выбросили. Замучили народ. Огороды, вишь, на Среднем лугу разведут. Пустое дело. Придется им кушаки подтягивать.

Весенние ветры быстро высушили сырую землю. Снова на кооперативных полях загудели тракторы — на этот раз четыре штуки. Кооператоры сняли с парников стеклянные рамы и стали высаживать рассаду ранних овощей. Двести декаров земли засеяли австралийскими арбузами — семена у них с просяное зернышко. Через бахчи и огороды прорыли канавы. Девушки вышли полоть сорняки на народной ниве. Зеленые просторы звенели песнями. Хотя дождя не было, хлеба поднялись сочные — трактор глубоко взрыхлил землю, и она набухла от влаги, еще когда

таял снег. Сухой ветер опалил землю бай Рожена. Колоски начали желтеть.

— Обманули меня братья. Взяли себе хорошую землю, а меня вытолкали на край. Дал бы бог дождя, не то погибла моя пшеничка!

Когда наступила летняя жара и земля растрескалась, кооператоры пустили воду из Стремы по выкопанным каналам, и она залила весь Средний луг. Напоили огороды, полили арбузы, дали воды кукурузе; четырьмя электронасосами подняли воду вверх, и она хлынула в виноградники. Женщины крестились:

— Такого чуда свет не видывал — вода по холмам пошла.

Потянулись караваны телег, заваленных красными помидорами, перцем, картошкой, бобами. Пожелтели дыни. Колосья на орошенном поле быстро наливались. А у бай Рожена колосья были с муху величиной, арбузы на его бахче зацвели, но завязи не дали — корни стали сохнуть, земля жаждала влаги.

Только подошло время возить снопы, как пал однорогий Роженов вол. Издох от старости. Кооператоры свезли с поля снопы, сложили их на краю села. Привезли две молотилки. А жалкие крестцы бай Рожена так и стояли в осиротевшем поле у опушки леса. Бай Рожен не знал, что и делать. Первым делом стал молить Кыртицу одолжить ему денег.

— Нет у меня, Рожен, — заохал корчмарь. — Были бы, тебе бы первому дал, потом уж другим, да нету. В городе есть банк, сходи туда, попроси. Там люди хорошие. Они дадут тебе деньги взаймы. Но что касается поручительства — не проси. Я себе слово дал никому не подписывать.

Собрался бай Рожен — и в город. День прошел, два, три, не возвращается бай Рожен. Председатель кооператива позвал тракториста Димо и говорит ему:

— Запрягите пять-шесть телег с грядками да привезите снопы того бедняги, у которого вол издох. А то мы завтра пустим скотину на опушку леса пастись, — и пропали крестцы бай Рожена. Свезите их на общее гумно, но сложите отдельно.

Возчики как раз кончали складывать копну из тощих снопиков бай Рожена, когда сам бедняк появился на дороге из города — усталый, пропылившийся, в отчаянии. Что-то кольнуло его, когда он увидел маленькую кучку, притулившуюся, как собачонка, у подножья высокой скирды. Он узнал свой хлеб по куколю, которого немало было в снопах, и, вспыхнув от обиды, закричал:

— Что вы делаете? Кто вам позволил взять мой хлеб? И вам не совестно? Хотите слепого последнего глаза лишить!

— Не кричи, бай Рожен, — отозвался стоявший у копны Димо. — Кооперация не возьмет у тебя ни зернышка. Мы решили перевезти твой хлеб и обмолотить его на нашей молотилке, потому что вол у тебя издох. Готовь мешки, заберешь свой хлеб. А почему мы так поступили, хочешь ты знать? В память о твоём сыне. Хороший он был человек. Будь он жив, шел бы теперь вместе с нами. Вот так, бай Рожен.

Пристыженный Рожен Каменов попятился, забормотал что-то и, не сказав ничего в ответ, поплелся в село. В ушах у него звучали слова Димо: «Будь он жив, шел бы теперь вместе с нами...»

Осенние дожди размягчили высохшую землю. По

выжженным межам прорастала молодая трава. Груша вновь засыпала червонцами то поле, что на опушке леса. Начался сев. Солнце поднялось уже высоко, а бай Рожен не торопился запрягать. Неподалеку на кооперативном поле победно шумел трактор. Когда Димо добрался до межи бай Рожена, взволнованный старик подошел к нему и проговорил, задыхаясь:

— Режь, Димо, гони по моей ниве, отдаю ее!

Плуг врезался в затвердевшую межу. Одинокая нива дрогнула, как молодница, что заждалась своего хозяина.

— А как же клад, а, дедушка? — спросил Матейко.

— Клад, внучек, подальше зарыт, — в общем поле. Этим летом я понял, где он. Набери-ка дровишек в лесу, испечем тыкву для Димо. Ну, беги!



ЗЛАТУША

там, где говорливая горная речка пробила себе дорогу и вьется по самому дну глубокой Чертовой преисподни, инженеры соорудили водосток из бетона и камня. Над ним пройдет железная дорога. За рекой поднимается высокая гора — царство пастухов. Поезду не придется, тяжело отдуваясь, взбираться на горные кручи, он змейкой вползет в туннель, пронизет насквозь всю гору и вынырнет в котловине, где добывают каменный уголь. Молодежная бригада расположилась у подошвы горы. Разбили лагерь, нарыли землянок, подняли красный флаг. Целый день танцевали, пели, веселились, а как стемнело — протрубил горн, и все разошлись по землянкам. Затих большой лагерь. На другой день с самого утра члены бригады, вооружившись кирками, лопатами, ломами и ручными тачками, ринулись на штурм горы. Три дня подряд от зари до зари рыли, зарывались, словно кроты, в мягкий грунт, и по обе стороны котлована выросли холмы свежевыкопанной земли. На четвертый день

наткнулись на скалу. Гора стала грудью против них — непробойной каменной грудью — и крикнула:

— Хватит! Теперь — прочь отсюда!

Окрестные крестьяне пришли поглазеть, что затеяла молодежь, и, увидев, как кирки долбят скалу, закачали головами:

— Да вы, никак, спятили, ребята? Ведь эта гора вся из кремня. Испокон веку приходят сюда из нижних деревень, выламывают кремни для цепов. Рукам человека не под силу такую гору пробить. Когда уезжать собираетесь?

А дед Стойне, как услышал, что молодежь напоролась на скалу, поднес по стопке ракии всем, кто сидел в корчме, и сказал:

— Завтра отступятся. И успокоится наше Кремиково. Самый лучший лужок у меня отхватили. Втемяшилось им в голову, чтоб железной дороге как раз там пройти. Что бы им чуток левей взять да обогнуть мою землю — небось их не убыло бы. Обижают бедноту. Отбирают у тебя луг и не спрашивают: нужна она тебе, эта железная дорога, или нет? А, может, мне она и ни к чему вовсе? Но теперь вижу: есть еще господь бог на небе. Упрутся они, как бараны, головой в камень, пообломают рога, да и вернутся туда, откуда прибыли. Помнишь, Дойчин, ты тоже, было время, на мой луг зарился. Только уж больно ты мало за него давал, облапошить хотел. А вот теперь мы с тобой, пожалуй, поладим. Денег с тебя ничего не возьму. Ставь графинчик — и луг твой. Ну, за ваше здоровье!

Но ребята из бригады не обломали себе рогов. Приволокли два мотора, напоили их бензином, протянули к туннелю резиновые шланги, электрическими

дрелями просверлили скалу и набили отверстия взрывчаткой. Затряслась кремень-гора от страшных взрывов, зазвенели в домах оконные стекла, вспугнутые птицы выпорхнули из гнезд. Бабушка Златуша зажгла лампадку и перекрестилась. Упорные молодые строители выволакивали из зияющего чрева туннеля груды взорванного камня. Кремень в их руках рассыпался песком.

Вскоре строители скрылись в туннеле. Ударил барабан в Кремикове, пошел по селу глашатай: требуются рабочие руки, чтобы завалить Чертову преисподню землей да камнями и сравнять оба берега. И тогда по ровному полотну пройдет железная дорога. Желающие добровольно потрудиться для новой железной дороги пускай записываются. Записались все парни и девушки из Кремикова — до единого. Взвалили на плечи кирки и лопаты, выкатили из сараев тачки и с развевающимися знаменами двинулись к ущелью. Бабушка Златуша смотрела им вслед, прикрыв от солнца глаза ладонью, и приговаривала:

— Ох, и молодцы же у нас ребята! Будь жив мой Ценко — он бы теперь впереди шел и знамя нес.

Она долго стояла, утирая фартуком слезы, пока колонна молодежи не свернула за овчарню Дойчина и не скрылась из виду. Песня их затерялась где-то в дебрях гор.

Вечером Маринка, дочка соседки Димитрички, вернулась вся опаленная солнцем и принялась рассказывать:

— Ох, бабушка Златуша, поработали мы сегодня на славу! Тачки с камнем возили, заваливали ущелье. Чертова преисподня весь день так и гудела от гро-

хота. Ох, и тяжеленный же этот кремьнь! Ладони вон все как есть в волдырях. Погляди. А хохоту сколько было! И песни все подряд перепели. Скоро загрохочут поезда мимо нашего села. Только вот жажда измучила. Река-то пересохла, одни лягушачьи лужи остались. Хорошо мы с собой груш захватили, съешь грушу — и вроде полегчает. А то уж и не знаю, как бы мы выдержали. Когда вернулись в село, ребята как кинутся к чешме и давай пить. От крана не оторвать.

Дед Стойне вернулся домой злющий-презлющий. Пнул ногой грабли, которые жена прислонила к стене, свирепо толкнул дверь и споткнулся на пороге.

— Без ножа зарезали! — крикнул он, швыряя на кровать шапку. — Не видать мне моего луга! И с той стороны горы рыть принялись. Еще тысячу человек туда пригнали. Роют, сукины дети, крошат камень почему зря. Гора ходуном ходит. А того не ведают, глупые, что сами себе могилу роют. Как дойдут они до середины, набьются туда, гора на них и обрушится. Ни один живым не уйдет. Помяни мое слово...

— Буде спьяну вздор-то молоть! Торчишь у Дойчина в корчме, а у нас вон ягненок потерялся — белый с черной отметинкой на лбу. Обыскалась я всюду, нету его и нет. Слышишь, как овца надрывается, горюет, бедняжка, по своему дитятку.

— И пускай надрывается! У меня у самого душа горит, словно ее на огне поджаривают.

— И куда он запропастился? Уж не забрел ли в какой овражек? Пойду-ка еще поищу.

— Нечего зря слоняться на ночь глядя. Его нынче вечером мясник уж в поминанье записал.

— Так ты, выходит, и ягненка продал?

— И его! — огрызнулся дед Стойне. — Все стадо продам. И дом, и овчарню, да и тебя туда же! А ты как думала? Уж не надеешься ли, что я оставлю свое добро этим голодранцам, которые сюда понаехали?

— Эх, отец, отец, погубит тебя бутылочка. Чего ты супротив народа идешь? Чего злобишься?

— Не твоего ума дело.

— Неужто не видишь, какое молодежь большое дело затеяла? Чудно мне, как ты этого в толк не возьмешь. Раньше ведь вроде не глупый мужик был, а с тех пор, как схоронили мы сына, будто тебя подменили, сам не свой стал...

— Ты мне об сыне не поминай! Слыхала? — снова повысил голос дед Стойне.

— Слышу, слышу. Не буду! — ответила бабушка Златуша и вышла из избы. Дверь хлопнула. Она прошла через темный двор, подошла к овчарне и присела на корыто, из которого поят скотину. Из овчарни послышалось блеянье овцы, звавшей своего беленького детеныша. Протяжный и жалобный зов ее вспугнул тишину ночи. Разбередил незажившую рану в материнском сердце. Бабушка Златуша уронила на грудь голову. Вспомнил он последний день жизни ее сына. Вернулся он с покоса до полудня, весь желтый, как сухоцвет. Бросил косу посреди двора и свалился на лавку.

— Помираю, мама! В животе словно разрывается что-то. Зови отца поскорее, везите меня в город... Ох, мамочки, до чего больно! Ох...

С тех пор, как стоит это проклятое село, ни разу не заглядывал сюда ни один врач. А коли кто тяжело захворает, зовут ворожей, и те колдуют над больным, наставляя воду на цветных камушках, куриных косточ-

ках, зеленых ракушках да улитках. Потом поят больного этим «целебным» снадобьем и утверждают, будто лучше того средства на свете нет, а уж кому писано на роду помереть, того никто не спасет.

Уложили они тогда сына на телегу и повезли в город. Дед Стойне нахлестывал кнутом одолженного у Дойчина коня, то и дело вытирая со лба испарину. Весь день и всю ночь тряслись по неровной каменистой дороге. Она сидела у изголовья сына и все прикладывала к его лбу мокрые тряпки. Губы у него обметало от жара. Бедняжка, он приподнимался время от времени и тихо стонал:

— Ох, доконает меня эта телега. Больно, мамочка! — А глаза смотрят на нее жалобно. В городе доктор накинудся на них, раскричался:

— Поздно привезли! Слишком поздно! И что, ей-богу, за люди! Целые сутки трясти такого больного в телеге! По железной дороге привезти не могли? Дикари!

— Нету у нас железной дороги,— стал оправдываться дед Стойне.

— «Нету». Знаю я вас. Дрожите над каждым грошом, куда не доведете человека до могилы. Несите больного!

Внести-то внесли. Но Ценко уже кончался...

По той же дороге везли они назад своего Ценко. Теперь он был уже безмолвен, спокоен, глаза навеки закрыты. Ему уже не было больно. Лоб холодный, как лед...

— Будь он жив, работал бы сейчас в молодежной бригаде, и старик не пропадал бы в корчме и не пропивал бы последнего,— проговорила старушка.

Овца снова жалобно и печально заблеяла. Бабушка Златуша повернулась в ту сторону и промолвила:

— Что сказать тебе, чем утешить? Знаю, каково у тебя на сердце, знаю...

Ночью привиделся старушке во сне сын ее Ценко. Будто возвращается он из очарни и ведет за собой на веревке белого ягненка. Ягненок блеет так жалобно, что сердце у нее разрывается от муки. «Отчего он блеет, сиротинушка?» — спрашивает бабушка Златуша. «Очень пить хочет. Весь день мы по иссохшему руслу идем, и нигде ни капли воды для него не найду», — отвечает Ценко. Бабушка Златуша побежала к чешме за водой, чтоб напоить бедного ягненка, но собака во дворе вдруг залилась лаем и разбудила ее.

Понутру, когда дед Стойне погнал стадо в луга, бабушка Златуша подмела, прибрала в доме и взвалила себе на плечи большую деревянную баклагу с водой.

— Ты куда это? — окликнула ее соседка Димитричка.

— Пойду погляжу, что там молодежь делает. Да заодно водички снесу.

— Рехнулась, старая! — буркнула Димитричка и стала загонять кур.

Повязанные белыми платками девчата выравняли лопатами железнодорожную насыпь. Работали они ловко, проворно и жужжали при этом, словно рой пчел. Завидев согнувшуюся под тяжестью огромной баклаги старушку, побросали работу, распрямили спины.

— Эй, бабушка Златуша! Тебе что здесь надо?

И как ты сумела вскарабкаться по такой крутой тропке?

— Пришла поглядеть, что вы тут делаете, да стуженой водицы вам из чешмы принесла. Знаю, как вам пить-то охота!

— Кто же тебе сказал?

— Птичка одна шепнула.

— Милая ты наша бабушка! Ради нас тащила на себе этакую тяжесть! А вода-то, вода! Отродясь такой вкусной не пила.

— Дай тебе бог здоровья, бабуся! — благословляли ее истомившиеся от жажды девушки, с наслаждением припадая к ледяной воде. Горлышко баклаги посысывало, точно ивовая дудка.

Старушка растроганно смотрела на девушек. Ишь как работают! Ровно пчелки. И ведь безо всякой платы стараются. Дивные дела творятся на свете. Сил не жалеют, для народа трудятся!

Когда баклага опустела, бабушка Златуша взвалила ее на плечи, вернулась в село, повертелась немножко по дому, залатала dedu Стойне рукав на полушубке, насыпала цыплетам проса и опять взялась за баклагу.

— А теперь — парням. Чем они девчат хуже!

Парни, свозившие на тачках землю к Чертовой преисподне, встретили водоношу дружным «ура».

И так повелось день за днем. Покуда не заровняли Чертовой преисподни, бабушка Златуша без устали носила своим подшефным воду. До полудня девушкам, после полудня — парням. Как коза, взбиралась она по обрывистой тропке и ни разу никто не слышал от нее ни стопа, ни жалобы. В списках моло-

дежной бригады села Кремиково ее имя значилось первым. Вскоре все о ней узнали. Бригадир той бригады, что работала на проходке туннеля, сказал ей:

— Вовек тебя не забуду, бабушка Златуша!

Наступила осень. Строители уложили вдоль огромной насыпи стальные рельсы, и первый поезд, промчавшись над Чертовой преисподней, с грохотом исчез в горном туннеле. Крестьяне из верхних сел спустились с гор, чтобы полюбоваться новой станцией, возведенной на полпути между двумя селами — Кремиковым и Волчьим долом. Ну и веселый был праздник! Семерых баранов зажарили на поляне перед станцией. Командир бригады, проложившей железную дорогу, произнес речь. Народ внимательно слушал его. Под конец он сказал:

— Братья и сестры, сейчас я скажу вам, как будет называться новая станция. Мы долго думали, как ее назвать, взвесили заслуги всех участников строительства и решили, чтобы эта красивая станция, сложенная из желтого камня и цементированная благословенным трудом народным, носила на вечные времена имя той бабушки, которая все лето таскала на себе воду от Кремиковской чешмы до Чертовой преисподни. «Златушей» будет называться эта станция. Да здравствует бабушка Златуша!

Бабушка Златуша разволновалась. Ноги у нее подкосились.

— Да вы что, ребята, сдурели? — сказала она, присела на какой-то камешек и заплакала.



МАРУШКА

азмахивая большой брезентовой сумкой, Тошка ловко соскочил на перрон, поправил фуражку и огляделся по сторонам: никто его не встречал. Странно. Не спеша двинулся он вдоль лип, обогнул станцию, оглядел безлюдную площадь, сваленные в беспорядке кадки и бочки из-под бензина. Ни души. Только осел с длинными обвислыми ушами лениво тянулся к зеленой тыкке, свисавшей с переплетенного колючками плетня. Тошка почесал в затылке и прикусил губу. Что же делать-то? Справа, возле отцепленного вагона, два человека осторожно катили большую мокрую бочку, подталкивая ее к открытым дверям вагона. Один из них при этом не выпускал из правой руки кнута.

— Скажите, товарищи,— подошел к ним Тошка,— нет ли здесь кого-нибудь из Каменца?

— Из Каменца? — отозвался тот, что с кнутом.— Да тамошний председатель был.

— А где же он?

— Сел в поезд и уехал. А тебе что, в Каменец?

— Ну да.

— Беги тогда скорей, догоняй. Вон председательская двуколка. Из Каменца.

И, выпрямившись, грузчик указал кнутом на маленькую повозку, медленно удалявшуюся по проселочной дороге, усыпанной красноватыми листьями груши.

Тошка буркнул «спасибо» и ринулся вслед за двуколкой. Но ему пришлось изрядно попотеть, пока он ее настиг, потому что лошадь уже трусила под гору. Возница в теплом полушубке с высоко поднятым воротником нахлестывал и без того быстро бежавшую лошадь.

— Эй, товарищ! — закричал приезжий. — Погоди маленько!

Товарищ натянул вожжи, остановил лошадь, обернулся, и Тошка, к великому своему удивлению, увидел загорелое девичье лицо с облупившейся на лбу кожей, большими озорными глазами, сросшимися бровями и ямочкой на правой щеке. Одна из заплетенных кос, свесившись через плечо, лежала на груди девушки поверх темно-синей шерстяной кофточки. Непокорная коса, перехваченная тоненькой красной ленточкой.

— Чего тебе? — спросила она, нетерпеливо взмахнув кнутом.

— Ты в Каменец?

— Так точно, в Каменец! — ответила девушка и смерила молодого человека внимательным взглядом. На вид неплох. Кепка чуть сдвинута набок, на солдатский манер. На синих грубошерстных брюках — заботливо отутюженная складка. Шерстяные носки — с пестрой каймой. А глаза...

— Нельзя ли и мне подсесть? — спросил Тошка.
— Тебе? В двуколку? Никак нет, товарищ прохожий.

— Но мне в Каменец надо.

— А это дело твое. Куда надо, туда и ступай. Ишь чего надумал — ко мне присоседиться. Да что я тебе, невеста, что ли? Что люди скажут, как увидят нас рядом? Поглядите, мол, кого наша свинарка себе подцепила!

— Ты разве свинарка?

— А почему бы и нет? Разве ходить за свиньями зазорно?

— Я этого вовсе не говорил, — тихо ответил Тошка.

— А ты за кого меня принял? За лесную русалку, что ль?

В глазах девушки вспыхнул насмешливый огонек.

— Ну, нельзя так нельзя, — примирительно проговорил Тошка и пошел было дальше.

— Послушай, — окликнула его девушка, — а ты к кому в Каменец-то едешь?

— Меня ваша героиня Марушка Карадобрева пригласила. Написала, что на станции меня встретят, да вот...

— Надула она тебя, либо так просто посмеялась. Она у нас шалавая — вечно сбрехнет чего-нибудь, не подумав, а потом сама кается. Ладно, раз ты к Марушке — садись, подвезу. А то, не ровен час, глаза выцарапает, она ведь такая! Впрочем, лучше мне помалкивать.

Тошка ступил на ось колеса, взобрался в двуколку и сел. Колено его коснулось колена девушки, но она толкнула его локтем в бок.

— А ну, отодвинься!

Парень повиновался, но при этом обиженно насунился. Отвернувшись от своей попутчицы, он молча поглядывал на придорожные деревья, за которыми расстилась бесконечная полоса огородов. Грядки с помидорами были похожи на заросли карликового леса.

— Ты говоришь: Марушка — героиня. Какая же она героиня? Выходит, не знаешь ты разницы между героями и просто орденоносцами. Марушка получила золотой Орден Труда, а вовсе не звездочку. Да добро бы еще по заслугам! Скажу тебе, но только чтоб это между нами осталось: Марушкино звено собрало по пятьсот восемьдесят килограммов зерна с декара по чистой случайности. Ей досталось самое плодородное поле, да еще тракторист Нейчо перед севом вспахал землю так, что она стала мягче пуха. Вкалывал парень, себя не жалел. Вот кого награждать-то следовало. Чужими руками легко жар загребать. Ты, брат, видать не больно в этих делах смыслишь. Да и добро б хоть девка была работающая, не так бы и обидно. А ведь ее, что называется, от подушки не оторвешь. Мать поутру чуть не за ноги с постели стаскивает. А как засядет перед зеркалом, так за три часа едва управится с «наглядной агитацией». Без этого ей никуда. Что греха таить: лицом-то наша Марушка не больно удалась.

— То есть как «не удалась»? — Тошка даже рот разинул от удивления.

— А ты думал, она писаная красавица? Лицо — что картошка облупленная. Видишь, у меня лоб? А у нее все лицо такое. И один глаз, если хочешь знать,

вставной. Как насчет второго, не знаю, но за один ручаюсь.

И, стегнув лошадь кнутом, девушка тихонько засмеялась, прикрывая рот ладонью.

— Странно,— произнес смущенный и озадаченный Тошка,— а мне совсем другое про нее рассказывали.

— Что тебе рассказывали?

— Что Марушка очень собой хороша.

— Обманули тебя. У нас народ побрехать любит. А ты и уши развесил. Неужто в нашей народной армии много таких, как ты?

— А ты почему знаешь, что я из армии?

— По ушам догадалась. Очень они у тебя красные и торчат. Должно, начальство не раз таскало.

Тошка не знал, как поступить: не то рассердиться и выскочить из двуколки, не то сидеть и слушать эту девчонку, которая мелет почему зря, что в голову взбредет. Ладно, пожалуй, лучше подождать — может, что еще о Марушке разузнает.

— А ты зачем к нашей Марушке собрался? Уж не приглянулась ли она тебе? — искоса взглянула на него собеседница.

— Я ее отродясь не видывал.

— До тебя тоже кое-кто приезжал в Каменец за шерстью, а уезжал стриженный.

— Что ты хочешь этим сказать?

— А ничего. Наша Марушка высоко забирает. И с чего бы? А как орден ей дали, совсем нос задрала. Люди для нее вроде козьяков каких. Но хотя ты-то как раз, может, ей и понравилась: ишь, какие у тебя уши красные.

И она залилась громким, веселым смехом. Косы

ее заплясали. А Тошка снова насупился. Впервые повстречалась ему такая. Озорная, задира... Но почему он на нее не сердится? Есть в ней что-то такое...

Дорога бежала теперь через каштановую рощу. Не видимые глазу птицы щебетали и резвились в кронах деревьев.

— Тпру-у! Стой! — откинулась назад девушка и туго натянула поводья. — Ну-ка слезай да распрягай лошадь! — приказала она своему спутнику.

Тошка неохотно поднялся, соскочил на землю и выпряг коня. С какой стати она вздумала им командовать?

— Что будем делать?

— В прятки играть. Велено мне попасть лошадь, а Марушка твоя подождет, ничего ей не сделается. Пускай коняка травку пощиплет. Погляди, какой красавец. Всем коням конь.

Конь, получив свободу, взмахнул хвостом и углубился в чащу. Девушка тоже соскочила на землю, протянула руку к ветке, сорвала несколько орешков, попробовала их раскусить, но не могла.

— Твердые! — сказала она и швырнула их в сторону. — Ох, до чего пить хочется! Вон там, за кустами, холодный родничок, да боязно мне идти с тобой в густой лес.

— Я людей не ем, — проговорил Тошка.

— В самом деле? Ну, тогда пошли. Я и забыла, что на простых свинарок, вроде меня, ты и внимания-то не обращаешь.

— Я ничего такого не говорил.

— Не говорил, да без того видно. Для тебя никого, кроме твоей Марушки, не существует.

— С чего ты взяла?

— Ах, значит, если случится встретить в лесу какую-нибудь этакую, то Марушку сразу по боку?

— Ты меня не знаешь!..— скрипнул зубами Тошка и отпустил веточку, которую отвел было в сторону, чтобы дать девушке пройти. Веточка хлестнула ее по лицу. Она метнула в своего спутника гневный взгляд, но промолчала.

Вот и родник. Девушка недолго думая опустилась на колени на влажную землю и принялась с жадностью пить. Одна ее коса соскользнула в воду. А Тошка, чтобы не выпачкать колени, подложил себе палых листьев.

— Береги, береги брючки-то,— сказала свинарка.— Марушка стирать не умеет.

Она села на зеленую травку под каштаном и вытянула свои стройные, обветренные ноги без чулок, в резиновых тапочках.

— Присаживайся,— пригласила она Тошку.

— Рядом с тобой? Только чур не толкаться,— сказал юноша, опускаясь на траву и прислоняясь к стволу дерева.

Солнце стояло высоко в небе. Лес был безмолвен и тих. Лишь еле слышно, точно ребенок в зыбке, лепетал родничок. С дерева падали зеленые колючие шарики, лопались, и из них выскакивали каштаны, похожие на глаза молодой свинарки.

— Ты давеча сказал, что я тебя не знаю. Что ж, тогда расскажи мне свою автобиографию, куда конь пасется.

— На что тебе моя автобиография?

— А я у нас в кооперативе вроде начальника отдела кадров. И с Марушкой мы, несмотря ни на что, в дружбе... Должна же я знать, что ты за человек. Только уговор: выкладывай, ничего не тая, все как есть, честь по чести.

Тошка почесал за ухом, призадумался.

— Рассказывай, братишка.— И она поглядела на него своими огромными глазами, в которых насмешливые огоньки уже погасли.— Очень я люблю, когда мне рассказывают что-нибудь хорошее, а листья над головой шелестят, шелестят...

«Братишка»... Как она хорошо это сказала! Это слово проникло в самое его сердце и притаилось там, как птенчик под крылышком матери. Не плохая, в сущности, девчонка, только забияка изрядная.

— Мне,— начал Тошка,— особенно хвалиться нечем. Но раз уж ты так настаиваешь, а делать нам все равно нечего,— что ж, отчего не рассказать.

И он заговорил. Поначалу слова с трудом слетали с языка, но мало-помалу он разошелся... Девушка слушала, опершись головой о ствол каштана, полукрыв глаза. Какие длинные у нее ресницы! Нависли, точно две крохотные стрехи, за которыми спрятались насмешливые ее глаза.

— Ты меня слушаешь? — вдруг спохватился парень.

— Слушаю,— тихо ответила девушка.— Что же дальше?

— А дальше мой старик не захотел вступать в кооператив. У него, видишь ли, забрали виноградник у Белого Камня и дали взамен другой. Не лучше, но и ничуть не хуже прежнего. Виноград уродился — что

надо. Но старик уперся: нет — и ни в какую. Так и не снял урожая. Пошли дожди, снег выпал — весь виноград у него снегом и замело. И отец запил. Вечером, бывало, до тех пор домой не явится, покуда из корчмы не вытолкают. Была у нас корова — продал, старая сеялка была — и той не стало. И луг наш у Азмака пропил. Только у нас и осталось, что ослик, на котором мы прежде возили виноград. Однажды смотрю — собирается отец в поле жать. Осли с собой прихватил. Поравнявшись с корчмой, завернул опрокинуть на ходу чарку. Но такой уж он человек — не пьет, не пьет, а начнет пить — удержу нет. Ну, выпил он, голова пошла кругом, забыл, куда и шел. А как деньги кончились, заложил осли, да и пропил. Нашел я его только после обеда — валяется посреди площади и ругается на чем свет стоит. Я чуть сквозь землю от стыда не провалился. Зло меня взяло, и решил я отомстить кооперативу, который довел его до такого сраму. В ту пору в новом кооперативном саду только-только покрылись листвой молодые яблоньки. И вот как-то темной ночью, когда шел дождь, взял я в руки дрючок, пробрался в сад и принялся крушить ни в чем не повинные деревца. Все их покалечил. А когда вернулся домой, спохватился, что меня могут опознать по железным подковкам на сапогах, оставившим отпечатки на мокрой земле. Отодрал клещами подковки и зашвырнул их подальше...

Девушка негодуяюще вздрогнула, но Тошка притворился, что не замечает ее возмущения.

— На другой день председатель кооператива бай Иван позвал меня и, едва я переступил через порог, приказал:

— А ну, Тошка, подыми ногу!

Я тотчас догадался, зачем ему понадобились мои подошвы и показал правый сапог. Он устоял на мой каблук, где уже не было и следов подковки, и озадаченно покачал головой.

— Чудеса, просто чудеса!

Провел я его таким образом и задумал натворить дел еще похлеще. Собрал целую банду мальчишек. Даже председателев сын Милчо был с нами заодно. Шатались ночами по улицам, дубасили палками по плетням и заборам, дразнили собак, орали во всю глотку, не давали людям спать. Одним словом, безобразничали вовсю. Однажды на посиделках разбили на лампе стекло и давай в потемках гоняться за девочками. Это переполнило чашу терпения. В тот же вечер шофер Колю и Вытю, ночной сторож кооператива, изловили нас, посадили в грузовик и повезли. Спрашиваем, куда они нас везут,— молчат. До рассвета ехали. Кругом тьма кромешная. Завезли нас в горы километров за шестьдесят от села. Высадили в глухом овраге. Ничего нам не сделали, пальцем никого не тронули. Колю развернул машину, а Вытю обратился к нам с такой речью:

— Вам,— говорит,— не место в нашем селе. Вам,— говорит,— больше подходит в лесу жить, среди зверей. Дерите здесь глотку, сколько влезет, затевайте потасовки с медведями!

Отругали они нас как следует и оставили. Растерянные, пошли мы по лесу куда глаза глядят. Ходили, ходили, а как животы подвело, повернули назад, к селу. Сраму не оберешься! Только на следующий день доплелись. На глаза людям показаться совестно—

каждый знал, откуда мы явились. А во мне злоба не унимается. За неделю до того случая ходил я к Азмаку рыбу удить. Рыбы я никакой не выудил, зато вытащил из воды такое, что меня даже страх взял: блестящая коробочка, не больше куска мыла величиной, с обрывком фитиля. Невзорвавшаяся толовая шашка: фитиль погас прежде, чем взрывчатое вещество успело воспламениться. Я тогда со злости себя не помнил и потому недолго думая решил взорвать новую кооперативную молотилку вместе с людьми, которые на ней работали. Брошу, значит, шашку в барабан, и когда молотилка заработает...

Девушка глубоко вздохнула, словно ее душило что-то, в волнении кусала губы. А Тошка, даже не взглянув на нее, продолжал:

— Ночью прокрался я на четвереньках на гумно, подполз к молотилке, бесшумно поднялся на ноги и только успел заложить шашку внутрь, как вдруг за моей спиной — бах! — грянул ружейный выстрел, и пуля просвистела над самой головой. Я — бежать, обезумел от страха. Но когда несся через поля, кепка у меня зацепилась за ветку сливового дерева и упала наземь. Подбирать ее я не стал, потому что Вытю мчался за мной по пятам с ружьем в руках. Еле-еле ноги унес. А прибежав домой, я первым делом выкопал из старого сундука кепку покойного брата. Она была точь-в-точь как моя. Отец много лет тому назад привез их нам с Кортенской ярмарки. Вытащил я эту кепку, положил в головы, лег. Лежу, а самого трясет, как в лихорадке, и сон не берет. Наутро вызывают меня в сельсовет. Там уже все собрались: председатель бай Иван, ночной сторож Вытю, еще

кой-какой народ. На столе — толовая шашка. У меня мурашки по спине забегали.

Бай Иван повернулся ко мне и говорит:

— Скажи, Тошка, ты ничего не терял?

Я мотнул головой:

— Ничего.

— А это? — показал он пальцем на шашку.

— А что это такое? — Я удивленно заморгал.

— Ты дураком не прикидывайся! Где твоя кепка, отвечай! — рявкнул председатель и вытащил из ящика стола мою кепку. — Твоя?

— Не моя, — соврал я, не моргнув глазом. — Моя дома.

Все растерянно переглянулись.

— Ступай-ка, Вытю, проверь, верно ли он говорит, — сказали мои следователи и молчали до тех пор, пока Вытю не вернулся с братниной кепкой в руках.

— Удивительное дело! — задумчиво пробормотал бай Иван и махнул рукой: — Пускай идет!

Но когда вечером встретились мы с ним у чешмы, он схватил меня обеими руками за плечи, тряхнул и процедил сквозь зубы:

— Слушай, убирайся-ка ты из села подобру-поздорову, пока я тебе все зубы не повыбивал.

Никогда не забуду, с какой ненавистью произнес он эти слова.

А осенью я и впрямь распрощался с родным селом — не потому, что испугался бай Ивана, а потому, что призвали меня в армию. Этот день был для меня очень тяжек. Для других наших призывников кооператив выделил подводы — нарядные, разукрашенные цветами. У лошадей на челках — красные звезды. До

самого Белого Камня провожали всех ребят их братья и сестры, а меня — никто. Отец поглядел на меня мутными глазами и едва ли понял, куда я иду. А мать у меня — я и забыл тебе сказать — давно в могиле. Никто не пожелал мне доброго пути, никто цветочка не подарил. И на подводе места для меня не нашлось. Шагал я один по размокшей дороге и думал: «Пропавший ты, Тошка, человек, если в целом селе не нашлось такой руки, которая бы тебе лепешку на дорогу замесила. Придется полизгать зубами, покуда не зачислят на довольствие». Когда я перевалил через Кара Орман и очутился в густом лесу, обида придавила мне душу тяжелее, чем туча, что ползла над землей. Внезапно мелькнула мысль: а не укрыться ли мне в лесу? С какой стати я буду служить в армии? С голоду небось и так не умру. Тут и грибов полно, и дикие яблони найдутся, а коли станет невмоготу — стащу ягненка из стада у горных пастухов, как волк. И двинулся я в глубь леса. Бреду между деревьями, словно дикий зверь. Увидел спелый кизил, наелся до отвала. Потом спустился в глубокий овраг. На дне — узенький ручеек, а вдоль него — нежная зеленая травка. Гляжу, на полянке — партизанская могила. Заботливо огорожена ветками ореха. На надгробном камне высечены имена двух бойцов, павших за свободу народа. Возле камня — свежие осенние астры, желтые, с крупной сердцевинкой и маленькими лепестками, похожими на пчелиные крылышки. Так и сверкают на солнце. Сердце у меня сжалось. Какой долгий путь должен был пройти тот, кто принес сюда эти астры, а для меня во всем селе сегодня утром ни одного цветочка не нашлось. Да и

чего ради станут девушки дарить цветы негодяю, который покалечил молодые яблоньки и пытался взорвать общественную молотилку вместе с людьми? Я невольно стащил с головы кепку и долго стоял у той могилы. Мысли роем кружились в пылающей голове. Куда я иду? С ума, что ль, спятил? Почему бы и мне не попытаться быть таким, как другие? Может, и из меня человек получится. Не боги горшки обжигают. Неужто я хуже других?

Поздней ночью добрался я до казармы. Там меня одели, накормили и принялись обтесывать да отшлифовывать. Поначалу я шарахался из стороны в сторону — то лез вон из кожи, чтобы всех обогнать, то плелся в самом хвосте. Взыскания сыпались на меня, как палочные удары на спину упрямого осла. Но мало-помалу я соскреб с себя ржавчину и зашагал в ногу с товарищами. Забыл свои прежние невзгоды. Правда, и здесь выпадали на мою долю тяжкие минуты. Я с трудом подавлял в себе горечь, когда мои товарищи получали из дому письма и с сияющими лицами читали их. В течение всего первого года службы никому не пришло в голову черкнуть мне хоть строчку. Тогда надумал я сам прислать себе письмо. Тайком, когда все спали, написал его, вложил в конверт и потихоньку опустил в почтовый ящик. Получил я это письмо, когда мы были на учении далеко в горах. Ребята удивлялись: выходит, и меня не забывают. Но письма я никому не показывал — сразу бы узнали мой почерк.

Девушка взяла Тошкину руку в свою и сжала ее. Тошка удивился: почему он не отнимет руки, почему

так приятно ему прикосновение теплой девичьей ладони?

— На второй год перевели меня служить на границу. Завоевал, значит, доверие, раз сочли меня достойным охранять Республику. Я даже в собственных глазах вырос.

— А дальше? — робко спросила свинarka.

— Старался изо всех сил. Не отлынивал. Не зря ел народный хлеб. Когда поймали мы диверсантов — была страшная гроза. Хлестал ледяной дождь. Пограничная река вздулась и бушевала. Чтоб добратсья до наблюдательного пункта, нам с товарищами пришлось переходить вброд вышедшую из берегов речку. Перейти-то перешли, но по грудь в воде и с трудом выбрались на берег. Суди сама, каково нам досталось. Целых восемь часов в дозоре — вымокшие до нитки. На рассвете дождь сменился снегом. Руки и ноги околоченели так, что мы уж их и не чувствовали. И тут показались диверсанты. Не буду тебе рассказывать, как мы их преследовали и как поймали. Скажу одно: когда доставили мы их на заставу и я протянул руку за кружкой горячего чаю, то не сумел удержать ее и вылил кипяток себе прямо на ноги. У меня после этого на ногах все ногти сошли. Ну, да это ничего! Пальцы быстро зажили. А спустя месяц получил я письмо от бай Ивана, нашего председателя. И денег мне прислал. Написал, что все наше село гордится мной. Прочел я это письмо и заплакал. А Марушка прислала мне вязаные рукавицы с маленькой запиской, в которой написала свое имя и название села.

— Тепло тебе было в тех рукавицах?

— Нет.

— Почему?

— Потому что я их не надевал. Храню, как память. Это ведь единственный подарок от милой моей Марушки. В тот самый день, как получил я рукавицы, и написал я ей первое письмо.

— И что же она ответила тебе?

— Она мне ответила...

И, глядя прямо перед собой, Тошка принялся подробно рассказывать о Марушкиных письмах. Упомянул о том, как однажды, войдя за чем-то в казарму, он заметил, что солдаты указывают на него пальцем, и узнал, что ему присвоено звание сержанта. Описал, как встретил его Иван-председатель, как принимали его в кооператив. Сказал о том, сколько винограда рассчитывает собрать в этом году его бригада, а также о том, как председатель обнял его (родной отец сроду так не обнимал) и перед всем честным народом, на собрании, объявил:

— Тошка теперь правая моя рука в кооперативе.

— ...Вот и вся моя автобиография,— закончил он и резко повернулся к девушке, но та, уронив руки на траву... спала глубоким сном. Грудь ее ровно поднималась и опускалась. Розовые обветренные губы слегка вздрагивали. Казалось, она и вправду погружена в глубокий сон, но на самом деле девушка только притворялась спящей.

— Уснула,— огорченно проговорил Тошка.— Я-то, дурень, распинаюсь, душу перед ней раскрываю, а она — ноль внимания.

Было уже темно, когда свиарка подвезла его к своему дому. Ее мать встретила гостя как родного

сына. Подала табуретку, усадила, а сама наклонилась над очагом и поставила разогреть кастрюлю, из которой торчали ножки сварившегося уже цыпленка. Свиная пошла вроде за Марушкой, но мать успела уже накрыть на стол, заправить чорбу, снять кастрюлю с огня, а девушка все не возвращалась.

Тошке стало не по себе. Старуха заохала:

— Куда девалась эта Марушка? Вот негодница! Застряла где-нибудь и позабыла о госте. Доченька, где ты, доченька?

— Иду, мама,— послышался голос свиной.

Дверь соседней комнаты отворилась, и на пороге показалась та самая девушка, которая привезла его сюда: приделась, прифрантилась, а в глазах все те же веселые, озорные огоньки.

— Так, значит, ты и есть Марушка? — Тошка даже опешил.

— Так точно, товарищ сержант! — ответила Марушка, щелкнув каблучками и вскинув руку ко лбу.



ТУННЕЛЬ ЗОВЕТ

Давай, Мехмедчик! — сказал Душко, склоняясь над тарелкой и погружая ложку в суп.

— Ты, Душко,— начал Мехмед Караосманов,— мой самый лучший друг. Джан аркадаш¹. Ты мне ближе родного брата. Тебе все могу сказать, знаю, что поймешь меня.

— Начальник знает, что ты решил?

— Сказал ему давеча.

— А он что?

— Ничего. Спросил: «Ты почему, Караосманов, хочешь нас покинуть?» — так он мне сказал, а я ему ответил: «Время пришло, товарищ начальник, расстаться». А он покачал головой: «Не пришло еще, говорит. На полпути мы, Мехмед. Пока не пробьем гору, не тронемся отсюда. Народ поручил нам пустить воду Черного озера через туннель на ту сторону горы, чтоб полноводной стала река, которая

¹ Дорогой друг (турецк.).

будет давать ток селам и поить миллионы корешков в равнине». — «Я это знаю, товарищ начальник», — говорю я ему. — «Тогда зачем уходишь? Может быть, тебя кто-нибудь обидел?» — «Никто не сказал мне худого слова». — «Или тебе хлеба не хватает, может, заработки малы?» — «За всю свою жизнь не ел такого хлеба, как здесь, и никогда не получал сразу столько денег, сколько мне выплатил вчера кассир». — «Тогда в чем же дело?» — удивился начальник. А я ему объяснил, что стосковался по дому, что туннель стал мне тесен, что бьюсь я как рыба об лед, что сон мне не в сон, и хлеб мне не сладок, да и работа не спорится.

— А он что? — поднял голову Душко от пустой уже тарелки и посмотрел на Мехмеда. — Ешь, ешь, а то суп остынет.

— Он отпустил меня. «Мы здесь никого насильно не держим. Кто не хочет работать с нами, пусть идет на другое место. В республике везде есть работа для тех, кто хочет трудиться». Хорошо сказал мне начальник. Он...

— Нет, ты мне скажи, — прервал его Душко, — что делать будешь?

— Я-то что делать буду? Не знаю, но пора и о себе подумать. Человек ведь я. Раньше всего на деньги, что я тут за два года скопил, думаю дом в порядок привести. Отгорожу овчарню и заполню ее белыми овцами с длинными хвостами, такими, которые по траве волочатся. На лбах у своих ягнят сделаю красные метки, чтобы все их отличали. А на шею барану повешу такой колокольчик, чтоб, как зазво-

нит, всему лесу стало б весело. И каждый, кто услышит, чтоб сказал: «Там пасется отара Мехмеда Карасманова!»

— Эх, Мехмедчик, неужели ты еще не понял, к чему сейчас стремятся люди? Народ из тысяч сел собрал свои отары в общие овчарни, а ты вдруг решил хозяином сыроварни заделаться, свое масло сбивать, свою брынзу варить, с бедняков шкуру драть. Вода течет вниз, а ты хочешь ее горстью запрудить и назад повернуть.

— Овчарня не мне нужна,—сказал, нахмурившись, Мехмед.

— А кому?

— Девушке моей.

— Какой девушке? Первый раз слышу.

— Есть у меня в селе девушка одна. Рубие ее зовут. Эх, Душко, красивей ее нет на свете! Вот поверь. Глаза как черешня спелая. Черные и горят. Мы с ней вместе росли. Летом в одной повозке под одним навесом объезжали равнинные села. Ее отец не умел делать такие паламарки, как мой, но был большим мастером по диканям. Колол кремни и не оставлял ни одной дикани неподкованной. Еще в те годы, когда мы засыпали в полях, у костров, на отцовских коленах, началась наша дружба с Рубие. Когда я подрос, отец отдал меня в чабаны к одному кулаку, а Рубие пошла к нему в батрачки. Никогда не забуду, как вечерами она бежала мне навстречу, брала в руки новорожденного ягненка и начинала его ласкать. А как я любовался ее руками, когда она доила овец. У кулака была большая отара, кадки в погребке ломились от брынзы, но в мою пастушью сумку бросали по

утрам только ломоть черствого хлеба да две головки лука. А когда волк утащил овцу из отары, хозяин до полусмерти избил меня кизиловой палкой. Мать заворачивала меня в овечьи шкуры, пока я не поправился. Ушел я от него и взялся за отцовское ремесло. Начал выдалбливать паламарки. Мастерил по сорок штук в день. Но спрос на них упал. Чудной народ! Жители равнины вовсе не берут, а в горных селах сколько найдешь жнецов, чтоб работали вручную? В то время слышал я про туннель. Перед отъездом не сумел повидаться с Рубие. Она уехала на сбор яблок в Куртово Конаре. Семнадцать лет ей тогда было, вытянулась — как тополь стройная! Хочешь верь, хочешь нет. Однажды, когда я спросил, к чему у нее сердце лежит, она мне сказала:

— Ничего мне не нужно, дай мне только овец доить да ягнят выхаживать.

Запомнил я эти слова. Подарю теперь Рубие целую овчарню с ягнятами. Пусть блеют с утра до вечера, пусть она им ленточки повязывает.

— Решил ее батрачкой сделать?

— Какой там еще батрачкой, — женюсь я на ней!

— Поздравляю, — вспыхнул Душко. — Мы тут, засучив рукава, горы ворочаем, дух некогда перевести, а наш бригадир вдруг снимается с места и отправляется свадьбу справлять. Если бы все по-твоему соображали, наш народ до сих пор ходил бы в царвулях, сидел бы вечерами при лучине и молотил бы кремневой диканей.

— Чего ты злишься, — смиренно сказал Мехмед, — что я тебе сделал? Пойдем лучше выпьем, угощу!

— Не хочу! — поднявшись, сказал Душко и начал стряхивать крошки с ватника.

— Ну, на прощанье?

— Сказал, не хочу. Не слышишь, колокол? Наша смена идет в туннель.

Душко быстро зашагал к туннелю и вскочил в последнюю вагонетку поезда, вползавшего, как ящерица, в каменную пещеру.

— Какой молодец Душко! — задумчиво покачал головой Мехмед. — Все ему удастся. Лопата как живая у него в руках. Быстрее всех нагружает вагонетки. Никто не умеет так закладывать взрывчатку и так мастерски ставить подпорки в туннеле. В прошлом году, когда начали рушиться пласты, кабы не он, нас бы всех камнями побило... Сколько раз предлагал я сделать его бригадиром!

На другое утро Мехмед Караосманов, вскинув на плечо мешок, в который он положил свои старые резиновые тапочки, рваные шаровары да чабанский пояс, тронулся в путь. Сам начальник участка пришел его проводить. Пенка, крановщица из Димитровграда, сейчас работавшая на подъемнике, как раз наполняла цистерну последней вагонетки водой. Она так и ахнула, узнав, что бригадир Мехмед, которого она обучила за зиму грамоте и игре в шахматы, покидает туннель. Ее лучистые глаза сразу померкли. Она прикусила губу и холодно протянула ему руку. Мехмед пожал руку, но в глаза ей взглянуть не решился. Душко, подавив досаду, обнял друга. Всем сердцем полюбил он Мехмеда. Два года плечом к плечу сражались они с горой. И койки их были рядом. Мехмед вскочил на площадку вагонетки. Пенка

открыла ей путь. Вагонетка пошла вниз, к пропасти. Мехмед смотрел наверх, на провожающих. Потом вдруг спохватился, снял фуражку и стал махать ею. И чем ниже он спускался, тем меньше становился. Посреди пути он разминулся со второй вагонеткой. А спустился в самый низ и показался провожающим величиной с воробышка.

— Уехал наш Мехмедчик! — вздохнула Пенка.— Увидим ли его еще?

— Неизвестно,— сказал инженер.— Тот, кто дышал воздухом нашего героического туннеля и пил нашу ледяную рильскую воду, никогда нас не забудет. Есть в наших местах такая пословица: «Парень, который отведал сазанов из Панеги, женится на девушке из Луковита».

— Он был работник что надо,— покачав головой, сказал Душко.— За два года опередил всех. В прошлом году, когда в туннеле был обвал, не знаю, что бы с нами стало, если бы он вовремя не поставил подпорки.

Подул осенний ветер, и с дикой груши, склонившейся над Пенкиной телефонной будкой, посыпались красные листья. Зябко передернув плечами, крановщица закуталась в кофух и сказала:

— Не пойму, чего это мне вдруг стало так холодно!

* * *

Два месяца прошло, четыре месяца прошло. Давно уже побелели горные вершины. Огромные орлы, часто садившиеся на голые скалы над Черным озером, куда-то исчезли. Бригада Душко продвинулась

еще дальше в глубь горы. Подземные взрывы продолжались. Крановщица Пенка, закутанная в мягкую теплую шаль, в кожаных, в валенках, которые ей прислали друзья из самой Москвы, по-прежнему спускала цистерну с водой и принимала вторую вагонетку, нагруженную мешками хлеба, корзинами яблок и динамитом для туннеля.

Однажды, когда нижняя вагонетка подошла уже к самому верху, Пенка по старой привычке наклонилась, чтобы посмотреть, чем нагрузили ее внизу. И увидела какого-то человека, который сидел, прислонившись к корзине, и болтал ногами.

«Кто это может быть? Ведь инженер строго-на-строго приказал никого не пускать на подъемник, потому что в тросе есть порванные проволочки. А если что случится, кто отвечать будет?»

— Эй,— крикнула сердито Пенка,— кто тебе решил садиться в вагонетку? Разве тебе не сказали, что это запрещено?

— Сказали,— ответил, восторженно, незнакомец и поднял голову.

Пенка ахнула, всплеснула руками, и ноги у нее подкосились.

— Мехмедчик! — воскликнула она. — Что ты здесь делаешь, Мехмедчик?

— Вернулся,— поднявшись, ответил Мехмед и ловко соскочил на землю.

— А как же невеста? — робко спросила Пенка.

— Невеста,— махнув рукой, сказал Мехмед,— бог с ней, с невестой. Ты на меня смотри.

— А чего мне на тебя смотреть? — надулась Пенка. — Ты мне сначала ответь, почему не дождался

грузовика и поднялся на вагонетке? Кто тебе разрешил?

— Мне сказали, что грузовик пойдет через два часа, а мне уж больно не терпелось. Какая смена в туннеле?

— Твоя, — ответила Пенка и неизвестно почему громко рассмеялась.

Зимний ветер, словно гигантской невидимой метлой, вымел с неба облака, и в чистой синеве показалась русая голова солнца. Пенка проследила взглядом за Мехмедом, шагавшим по заснеженной тропе к засыпанному сугробами бараку, где жили рабочие. Глаза ее заискрились, как только что нацеженное карабунарское вино. Она расстегнула кофух и сказала:

— Что-то жарко мне стало...

— Рассказывай, Мехмедчик, — подтолкнул его локтем Душко, когда они вечером улеглись в жарко натопленной комнате.

Мехмед заговорил шепотом, чтобы не разбудить спящих.

— В наши места уже возвратились аисты и ласточки. В лесу журчат прозрачные ручейки. Позавчера, загоня отару, я набрал букет подснежников для Пенки, но стесняюсь отдать. Прошу тебя, передай ей от меня.

— Ничего не понимаю.

— А чего тут понимать! Вернулся я в село, вижу — мать к брату перебралась. Брат об ней заботится, как с пасхальным яйчком носит. Старуха мне страсть обрадовалась, всплакнула и спрашивает, на-

долго ли я пришел. Отвечаю: «Навсегда». — «А что будешь здесь делать?» — говорит. «Чабанить, — отвечаю я ей, — заработал деньжонок, куплю отару». — «А кто же тебе будет овец доить?» — «Как кто? Рубие!» Тогда мама грустно покачала головой. «Опоздал ты, сынок! Птичка-то давно уже выпорхнула в открытое окно». Как сказала она мне эти слова, словно ножом по сердцу полоснула. Понимаешь, Душко, вступила моя Рубие в кооператив. Дояркой стала. Начал около нее увиваться какой-то звеньевой, и он ей тоже понравился. Сильно заболело у меня сердце, но, поразмыслив, сказал я себе: «Не виновата Рубие». Ведь я ей никогда о женитьбе не говорил. Стеснялся. Не знаю, почему, но я вдолбил себе в голову, что она должна была догадаться об этом по моим глазам. Считал ее самой умной девушкой. Но не судьба, видно.

Мехмед глубоко и тяжело вздохнул. Помолчав немного, он продолжал:

— С большой высоты я упал, оттого и ушибся больно. Недели три ходил сам не свой. Потом купил отару, ведь не могу я без работы. Как только потеплело, выгнал я овец в поле, но погано было у меня на душе. Тоска по горам этим начала меня одолевать. День и ночь только и думал о товарищах, которых оставил здесь, гадал, до какого места пробил туннель, по-прежнему ли наша бригада впереди других идет и с кем по вечерам Пенка играет в шахматы. Короче говоря, туннель звал меня. И я не устоял. Договорился с кооператорами, двадцать девятого продал им своих овец, а первого, как видишь,

снова рядом с тобой лежу. А кого бригадиром назначили?

— Меня,— еле слышно ответил Душко.

— Я всегда считал, что здесь, в горах, люди умные.

Кто-то сердито закричал, протянул руку и, щелкнув выключателем, погасил свет.

— Спокойной ночи, Мехмедчик! Я рад, что мы снова вместе.

— И я тоже! — ответил Мехмед. — Ты мой джан аркадаш.

АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ

Ангел Каралийчев, с ярким и самобытным талантом которого только что познакомился читатель этого сборника его избранных рассказов, принадлежит к старшему поколению современных болгарских писателей. За плечами Ангела Каралийчева — одного из крупнейших в болгарской литературе мастеров малой формы — лежит почти сорокалетний творческий путь, который был, по его собственному выражению, «неровным и очень тревожным». Свидетель и участник многих бурных событий болгарской истории, событий, которые до основания потрясли устои старой Болгарии и привели в конце концов к победе народа над враждебными ему силами, — Ангел Каралийчев, писатель и патриот, в своем творчестве черпал вдохновение в народной жизни и в болгарском фольклоре. Именно эта связь с народом помогала ему всегда оставаться верным демократическим традициям болгарской литературы, помогала находить дорогу к сердцам простых людей, своих соотечественников.

Ангел Каралийчев родился в 1902 году в бедной крестьянской семье в селе Стражица, недалеко от древней столицы Болгарии — города Тырново. Будущий писатель рос в атмосфере народной песни и сказки — множество их знала его мать. Тяжелый труд односельчан, постоянные материальные затруднения в

семье — такими запомнились Каралийчеву его детские годы. Начальное образование Ангел Каралийчев получил в родном селе, гимназию окончил в Тырнове. По окончании гимназии Каралийчев поступил на химический факультет так называемого Свободного университета и, уже будучи студентом-химиком, начал серьезно заниматься литературным творчеством. Вначале он пишет стихи, затем, с конца 1923 года, обращается к прозе.

Молодой поэт сотрудничает в боевом сатирическом журнале коммунистической партии «Червен смях» («Красный смех»), а после его закрытия монархо-фашистскими властями — в журнале «Новый путь», который был организован известным болгарским критиком-марксистом Г. Бакаловым после разгрома Сентябрьского народного антифашистского восстания 1923 года.

Вместе с поэтами Н. Фурнаджиевым и А. Разцветниковым Каралийчев в своих стихах гневно выступал против фашистских палачей, бичевал их кровавые изуверства. В 1925 году Каралийчев выпускает первую книгу прозаических произведений — сборник рассказов «Рожь».

В посвящении к сборнику Каралийчев писал: «Вам, мои черные братья, я хотел бы закинуть в души искру надежды. Пусть мерцает она и пусть ведет вас как вифлеемская звезда по кровавым нивам нашего сегодня к будущему, исполненному добра и красоты... Если бы у всех вас была одна рука, я горячо пожал бы ее. Я сказал бы вам: «Мужайтесь!»

Большая часть рассказов сборника «Рожь» — скорее их можно назвать стихотворениями в прозе — посвящена скорбной доле матерей, отцов, жен, невест борцов, павших в боях Сентябрьского восстания. В других рассказах писатель воспевает силу жизни, преодолевающую скорбь, поет подлинные гимны весне, красоте, любви.

Опубликование сборника «Рожь» в годы фашистского террора, которое было воспринято прогрессивной общественностью

Болгарин как акт гражданского мужества, явилось и значительным литературным событием, ввело молодого писателя в большую литературу.

Однако вскоре Каралийчев, Фурнаджиев, Разцветников и критик Цанев ушли из журнала «Новый путь» — это был по существу отход от революционного лагеря болгарской литературы. «После варфоломеевской резни и вакханалий болгарского фашизма некоторые представители нашей молодой прогрессивной литературы растерялись. Я был в их числе...» — писал позже Каралийчев об этом периоде.

В последующие годы Каралийчев закончил Свободный университет по дипломатическому отделению, служил в различных учреждениях. В течение более чем десяти лет он редактировал журнал «Кооперативна просвета», сотрудничал во многих других изданиях того времени.

Каралийчев много пишет — он выпускает сборники «Сокровище» (1927), «Рассказы» (1931), «Живой мир» (1932), «Серебряный сноп» (1935), «Вихрь» (1938), «Земля болгар» (1939), «Росенский каменный мост» (1941), «Птичка из глины» (1941) и др. В эти же годы выходит ряд его книг для детей и юношества.

Основной темой творчества Каралийчева конца 20—30-х гг. продолжает оставаться жизнь болгарского крестьянства, его тяжелый труд, но теперь писатель как бы рисует все пастелью, сглаживая социальные противоречия, обходя вопросы классовой борьбы. В этот период его творчеству не хватало больших живо- творных идей, хотя мастерство его как рассказчика с каждым годом росло. Одни из наиболее интересных рассказов этих лет навеяны образами болгарского фольклора, большим знатоком которого является Каралийчев. Элементы устного поэтического творчества органически входят в ткань его повествования. Народная баллада, летописная легенда, песня, сказка служат для

писателя, по его словам, «источником чистых плодоносных вдохновений».

После 9 сентября 1944 года — дня победы болгарского народа над фашизмом — Каралийчев принимает активное участие в строительстве новой, социалистической культуры народной Болгарии. С первых же дней народной власти он сотрудничает в газетах «Литературен фронт», «Отечествен фронт», затем «Работническо дело», публикует в них новые рассказы. Много труда он вкладывает в организацию и редактирование детской литературы. Затем Каралийчев становится сотрудником издательства «Болгарский писатель», где продолжает работать редактором и по сей день. Писатель ведет большое интересное издание «Русские народные сказки», которое должно ознакомить болгарских читателей с сокровищами русского фольклора.

В своем творчестве одним из первых среди болгарских писателей Каралийчев обращается к новой тематике, пишет рассказы, посвященные глубоким преобразованиям в жизни современной Болгарии, ломке крестьянской психологии, новым отношениям между людьми.

Уже в 1946 году выходит его сборник «Соколова нива», за ним следуют «Прекраснейшая земля» (1948), «Строители республики» (1950) и другие.

Писатель создает большой цикл рассказов из жизни Георгия Димитрова — они объединены в сборниках «Защитник народа» (1949) и «Наковальня или молот» (1954).

Нередко в эти годы Каралийчев обращается к болгарской истории, с документальной точностью воссоздавая в своих рассказах и очерках героические ее страницы — эпоху борьбы против турецкого ига, огненные годы русско-турецкой войны 1877—1878 годов и освобождения Болгарии, славные сентябрьские события 1923 года, период борьбы с фашизмом.

В 1956 году в Болгарии вышел большой однотомник избранных произведений Ангела Каралийчева, который в какой-то степени подвел итоги сложного и яркого творческого пути писателя.

Эта книга легла в основу настоящего издания, повторившего и порядок расположения рассказов, принятый в однотомнике,— порядок в основном хронологический, группирующий в то же время рассказы и по тематическому признаку — «внутри хронологии» объединены рассказы-легенды, исторические рассказы и т. д.

Характерными чертами творческой манеры Каралийчева являются глубокий лиризм, тонкая наблюдательность и умение видеть и слышать природу, красоту родной Болгарии, романтическая увлеченность своими героями. Проза Каралийчева отличается яркостью и точностью языка, щедрым использованием всех богатств языка народного, новизной художественных приемов и средств выражения. Все это закрепило за ним в болгарской литературе заслуженную славу поэта в прозе.

И. Шептунов

С Л О В А Р Ь

болгарских и турецких слов, встречающихся в тексте

А ба — крестьянская одежда из домотканой шерсти.

А н т е р и я — теплая верхняя крестьянская одежда.

А с к е р — турецкая армия; турецкий солдат.

Б а й — почтительное обращение к старшим; дядя.

Г а й д у к — повстанец.

Г у с л а — народный смычковый инструмент.

Д е к а р — мера земельной площади, принятая в Болгарии,
 $\frac{1}{10}$ часть гектара.

Д и к а н я — примитивная конная молотилка, доска с вбитыми
в нее кремнями.

Е л е к — безрукавка.

К а д и й — судья.

К а й м а к а м — уездный начальник.

К е х а я — сельский глашатай.

К м е т — сельский староста; городской голова.

К о н а к — здание городского или сельского управления, резиден-
ция турецкого правителя.

К и р д ж а л и я — турецкий разбойник.

М ю т е с а р и ф — правитель области.

О к а — мера веса (1,225 кг).

Околия — единица административного деления Болгарии; район, уезд.

Паламарка — деревянное приспособление, которым жницы захватывают колосья.

Ракья — сливовая или виноградная водка.

Рученица — болгарский национальный танец.

Самодива — персонаж болгарского фольклора, лесная фея или русалка.

Сокай — старинный женский головной убор.

Тесняки — члены партии тесных социалистов — революционного крыла болгарской социал-демократии.

Хаджи — паломник; мусульманин, посетивший Мекку или христианин, побывавший в Иерусалиме.

Хоро — народный хороводный танец.

Хорище — площадка, где танцуют хоро.

Царвули — крестьянская обувь из сыромятной кожи.

Черга — домотканое одеяло или ковер.

Чета — повстанческий отряд.

Чешма — заключенный в трубу источник, *обычно облицованный камнем.

Чорба — похлебка.

Чорбаджия — богатый человек, кулак; хозяин.

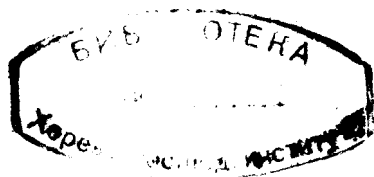
Юнак — герой, богатырь.

Ямурлук — грубый крестьянский плащ.

СОДЕРЖАНИЕ

Весна. Перевод М. Михелевич	3
Рожь. Перевод Е. Яхниной	11
Свинцовый родник. Перевод Е. Яхниной	17
Змей. Перевод М. Михелевич	24
На зов могилы. Перевод М. Михелевич	30
Монетка. Перевод М. Михелевич	38
Слепой гуслар. Перевод Е. Яхниной	48
Надежда дедушки Божила. Перевод М. Михелевич и Б. Ростова	57
Вихрь. Перевод Е. Яхниной	64
Черный ломоть. Перевод М. Михелевич	74
Росенский каменный мост. Перевод Е. Яхниной	81
Лживый мир. Перевод М. Михелевич	91
Иван Кралев. Перевод Б. Ростова	106
Хан Татар. Перевод Б. Ростова	119
Струна. Перевод Е. Яхниной	134
Каменная девушка. Перевод Е. Яхниной	144
Братья. Перевод Е. Яхниной	151
Лазар Душегуб. Перевод Б. Ростова	160
Однажды снежной ночью. Перевод Е. Яхниной	169
Мадарская легенда. Перевод Б. Ростова	180

Георгий Кратовец. Перевод Е. Яхниной	187
От Кыкрины до виселицы. Перевод М. Михелевич	197
Петко-воевода. Перевод Г. Молленгауэра и К. Яна- киева-Болиева	219
Друг за друга. Перевод Г. Молленгауэра и К. Яна- киева-Болиева	234
В былые времена. Перевод Б. Ростова	244
Защитник народа. Перевод Б. Диденко	252
Поп Андрей. Перевод Б. Ростова	258
Гость. Перевод Б. Ростова	270
Голубь в колодезе. Перевод Г. Молленгауэра и К. Янакиева-Болиева	289
Волчья тропа. Перевод Е. Яхниной	298
Иван Черный. Перевод Г. Займовского	305
Гранит. Перевод Б. Ростова	311
Нашенские ребята. Перевод Г. Молленгауэра и К. Янакиева-Болиева	320
Бай Рожен Каменов. Перевод Г. Молленгауэра и К. Янакиева-Болиева	332
Златуша. Перевод Б. Ростова	339
Марушка. Перевод М. Михелевич	348
Туннель зовет. Перевод Г. Молленгауэра и К. Яна- киева-Болиева	365
И. Шептунов. Ангел Каралийчев	375
Словарь болгарских и турецких слов	380



Ангел Каралийчев

ВЕСНА

*

Редактор *Н. Глен*

Художественный редактор *Д. Ермоленко*

Технический редактор *Т. Гончарова*

Корректор *Т. Козменко*

*

Сдано в набор 3/I 1961 г.

Подписано к печати 10/IV 1961 г.

Бумага 70×108¹/₃₂. 12 печ. л.=16,44 усл. печ. л.

13,88 уч.-изд. л. Тираж 29000 экз. Заказ № 22

Цена 57 коп.

Гослитиздат

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа,

Минск, Красная, 23.